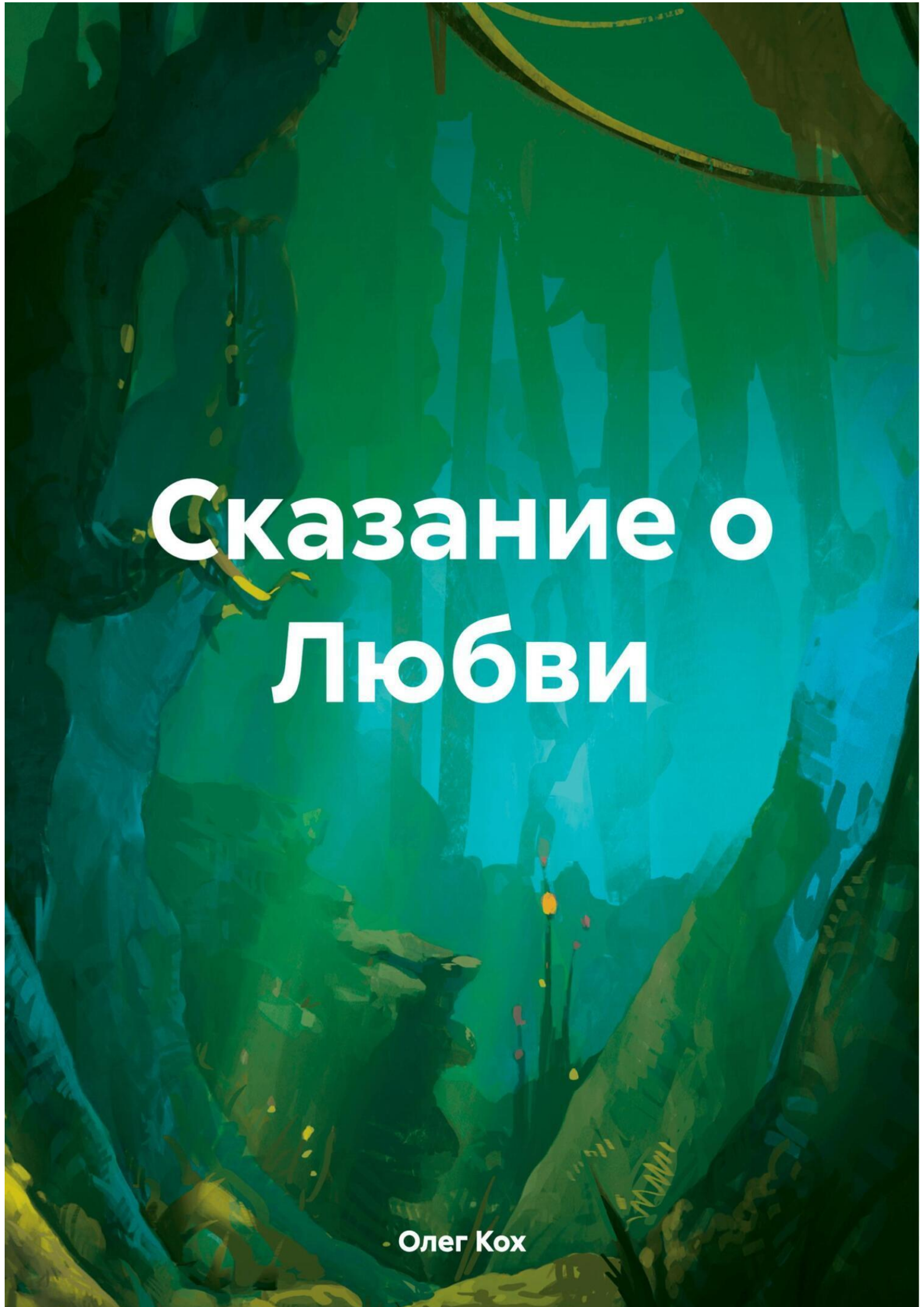




Сказание о Любви

Олег Кох

Олег Кох

Сказание о Любви

«Автор»

2024

Кох О. Г.

Сказание о Любви / О. Г. Кох — «Автор», 2024

Эта книга должна была быть написана, не могла не появиться. Ведь ее автор – пример того, какой разнообразной и наполненной может быть наша жизнь, если она освящена любовью – любовью к родному дому, к своей семье, к природе, к музыке, к профессии, к миру в целом. Книга о странах и странствиях, явлениях и событиях, людях и судьбах. Книга откровенная, честная, книга-исповедь. Написана ярко, заразительно, легко. Сразу вслед за автором хочется увидеть степи Казахстана; уйти с головой в бесшабашную студенческую жизнь; затеряться в дебрях марийской тайги с ее колдовскими озерами и строптивыми реками; посидеть у костра в кругу друзей и под звон гитарных струн обнаружить, как живо откликаются собственные струны на проникновенные слова и мелодии простых туристских песен; пожить вольной жизнью отшельника на камских просторах; ощутить захватывающую романтику полета на планере и свист ветра в свободном падении до раскрытия парашюта; окунуться в штормовую стихию бушующего Каспия.

© Кох О. Г., 2024

© Автор, 2024

Содержание

Предисловие	9
Глава 1. До школы	11
Глава 2. Семилетка. Начальная школа	21
Глава 3. Семилетка. Старшие классы	31
Глава 4. Вишневка	48
Глава 5. Караганда	56
Глава 6. КАИ. Начало	65
Глава 7. КАИ. Продолжение	88
Глава 8. А судьи кто?	112
Глава 9. Ссылка	122
Глава 10. На круги своя	147
Конец ознакомительного фрагмента.	156

Олег Кох

Сказание о Любви

«Отвращение к животному инстинкту воспитывалось веками в сотнях поколений, оно унаследовано мною с кровью и составляет часть моего существа, и если я теперь поэтизирую любовь, то не так же это естественно и необходимо в наше время, как то, что мои ушные раковины неподвижны и что я не покрыт шерстью».

А. П. Чехов

Эта книга должна была быть написана, не могла не появиться. Ведь ее автор – пример того, какой разнообразной и наполненной может быть наша жизнь, если она освящена любовью – любовью к родному дому, к своей семье, к природе, к музыке, к профессии, к миру в целом.

Книга о странах и странствиях, явлениях и событиях, людях и судьбах. Книга открывающая, честная, книга-исповедь. Написана ярко, заразительно, легко. Сразу вслед за автором хочется увидеть степи и сопки Казахстана; уйти с головой в бесшабашную студенческую жизнь; затеряться в дебрях марийской тайги с ее колдовскими озерами и строптивыми реками; посидеть у костра в кругу друзей и под звон гитарных струн обнаружить, как живо откликаются собственные струны на проникновенные слова и мелодии простых туристских песен; пожить вольной жизнью отшельника на камских просторах; ощутить захватывающую романтику полета на планере и свист ветра в свободном падении до раскрытия парашюта; окунуться в штормовую стихию бушующего предзимнего Каспия. И много еще чего можно увидеть, прочувствовать и пережить вместе с автором... или независимо от него.

Автор обладает хорошим чувством юмора, может найти комическое даже в ситуациях, довольно драматических. Много ярких метафор, сравнений, экспрессии. Достоинством автора является умение описывать события и явления, а также людские характеры объемно, всесторонне. Очень ярко, образно изображается пейзаж, особенно это проявляется в описании путешествий, походов, деревни. В воспроизведении событий четко прослеживаются логические связи, причинно-следственные отношения.

Это искреннее, доверительное и увлекательное повествование, диалог с читателем, в котором собраны многолетний опыт, мысли, знания, утраты и приобретения.

Светлана Левенштейн

О. Г. Кох, 2023

Ориентировки и реверансы

1. Все неподписанные эпиграфы и стихотворные тексты – мои.
2. На все приведенные в тексте стихотворения (отрывки, цитаты из них) мною сочинены мелодии; никакой специальной подборки стихов я не делал – они звучали во мне по ходу написания того или иного эпизода, что называется, подворачивались под руку.
3. В тексте книги, за редким исключением, курсив – мой.
4. В одном из писем Валера Марушев (мой одноклассник) окрестил настоящие записки сказанием о любви, и я не задумываясь вынес летучую мысль друга в название книги: "Сказание о Любви!"

5. Неоценимую помощь в корректировании и редактировании текста книги оказали мои друзья Светлана и Олег Левенштейны. Кроме того, они сделали ряд ценных указаний по содержанию и стилистике изложения.

6. Добровольно взяла на себя миссию по форматированию и верстке книги мой давний друг по туристскому братству Галина Михайлова.

7. Галине-дизайнеру: «Едва взметнула Фея вежды – и книга, полная надежды, оделась в дивные одежды. Прикрыла длинные ресницы, взмахнула белой десницей – и книга вспыхнула жар-птицей».

8. На протяжении всей марафонной дистанции длиной в два года я ощущал свежее дыхание, трезвый взгляд и горячий стук сердец моих многочисленных друзей, детей и родственников, разбросанных по городам и весям (Караганда, Казань, Москва, Йошкар-Ола, Луганск, Н. Новгород, Кишинев, Чебоксары, США, Германия). Без их поддержки книга вряд ли могла бы состояться.

Олег Кох

Мне не пройти бы замысловатой,
кочковатой дороги длиной в жизнь так дерзко,
с блуждающей улыбкой по устам,
предпочитая смех слезам,
кабы дорогу эту не освещала
благодатная Звезда, имя которой – Любовь.
Ей и посвящаю я эти записки.
Тебе, тебе одной, ушедшей в мир иной,
но не померкшей для меня и не остывшей,
улыбкою и не вечерним светом путь мой озарившей,
трактат я посвящаю свой.
24. 04. 2020



Олег Кох. 1990
Я не умру, я улечу на небо.
Молитвою твоей я крылья обрету.
(Автоэпитафия)



Любовь Кох. 1990

Предисловие

Порою в выси горние мечтами улетаю,
где гимны ангелы поют в преддверьях рая,
не забывай, что плоть твою и дух ЗЕМЛЯ питает.
И как бы высоко тебя ни уносили грёзы,
УДЕЛ твой на ЗЕМЛЕ, где стоны, громы, грозы.
Р. С. "А также ДУРЬ и БЛАЖЬ", – сказал Господь сквозь слезы.

В январе 1968 года меня отчислили из института. Едва осознав непривычное и незнакомое мне дотоле состояние свободы от каких бы то ни было обязательств, распустил я помятые, взъерошенные крылышки, словно побывал в когтях у ястреба, и в означенном полувменияемом состоянии отправился с друзьями по несчастью в верховья Камы созерцать туманы и обонять запахи тайги. "Товарищъ, мы едем далеко, подальше от нашей земли..."

Неожиданно мы попали в необычные миры, как на другую планету. Миры эти были разные, как правило, контрастные, а иногда и полярные. Но каждый был по-своему жив, ярок и красочен. Я смотрел на эти миры широко распахнутыми очами, воспринимал всеми нервными окончаниями и впитывал всеми фибрами души. Каждый день открывал что-то новое и давал обильную пищу для размышлений и переживаний. Особенно тронула меня и потрясла полная драматизма судьба одного человека. Я испытывал острую потребность записать увиденное и пережитое и, главное, рассказать об этом человеке по горячим следам.

Время шло, следы остывали, их размывало дождем и заносило снегом, но лист бумаги оставался пустым, а перо нетронутым. Однако оставалась и надежда и ждала своего часа. И вот через полсотни лет час этот пробил. За это время в моей жизни произошло немало других событий и связанных с ними переживаний, а вместе с ними и новые побудительные причины взяться за перо.

И, пожалуй, самое существенное: надо ж в конце концов и в себе разобраться. Посмотришь иной раз "с холодным вниманьем" на себя в зеркало – и оторопь берет: что это за тип на тебя тарашится?! Как ни крути, но вольно или невольно рядишься в чужие одежды (и не какие-нибудь, а непременно белые подавай!), напяливаешь чужие маски, а с иными так свыкаешься, что и сам не разберешь, где ж ты настоящий? И вопрошаешь испуганно зазеркалье: "Кто ты, друг незванный мой?"

Но порой нахлынет пронзительное чувство, сродни сожалению о потерянном рае и ностальгии о покинутой родине, и из утробы твоей вырвется вопль: "Ну хватит врать! Надо ж когда-нибудь побыть и самим собой!" Отсюда и основная тональность записок: искренность и исповедальность. Но даже при такой внутренней установке есть вещи, о которых по разным причинам невозможно сказать открыто: ни по форме, ни по содержанию. Их даже священнику на исповеди нельзя произнести, ибо это будет уже граничить с цинизмом. Надеюсь, что это вынужденное укрывательство некоторых фактов не исказит основной тональности и не сделает песнь мою фальшивой. Засим, с Божьей помощью, и приступим.

Когда влечет неотвратимо
пространство белого листа,
суть этих помыслов проста:
невидимое сделать зримым.
Пусть жизни след и отпечатки,
эмоций жар и мыслей лёд
бумага до конца вберет,
но сохранит лишь *суть* в остатке.

Пиши, чудак, смеясь и плача, –
вдруг тихо зазвенит одна
тобой задетая струна...
И, значит, – выпала удача.
**(И. Брейдо)*

**Брейдо Иосиф Вульфович (1947 – 2021) – мой одноклассник; поэт, д. т. н., профессор
– О. Кох*

Часть 1. Ликбез

Глава 1. До школы

В печурке пламя мечется –
мерцает свет в землянке.
Буран в оконце бесится.
Спит Мурка на лежанке.

Появился я на свет Божий 1. 08. 1947 в райцентре Вишневка Акмолинской области Казахской ССР. Мама говорила, что родился я в рубашке и что это на счастье. До меня была сестра Люся, 1946 г. р., умерла вскоре после рождения от простуды. Папа, Кох Генрих Генрихович (все звали его Андрей Андреевич – до некоторых пор я не знал папиного настоящего имени), 1922 г. р., вместе с мамой, Могилиной Анастасией Петровной, 1920 г. р., работали в Вишневской средней школе. В 1950 году мы перебрались в с. Волгодоновка Вишневого района (в 30-ти км от Вишневки), где жили все папины родичи: мама (моя бабушка) – Мария Михайловна Нордгеймер (это фамилия ее второго мужа, но все звали ее баба Кохша, девичья же фамилия её – Ковске); брат – Кох Отто Генрихович (русский вариант – Антон Андреевич), 1925 г. р.; сестра – Поль Фрида Генриховна, 1928 г. р., и младший брат по матери Нордгеймер Рейнгольд, 1935 г. р. (отчество его немецкое не знаю, русский вариант его имени Роман Лукьянович); он, слава Богу, еще жив.

До войны папины родичи жили в селе Драйлинде (переводится как "три липы") Ворошиловградской области (ныне Луганская). Папа рассказывал, что дядя его в Гражданскую войну были лихие красные командиры. Один из них был даже награжден красными революционными шароварами, которые иногда по праздникам надевал. Папин отец – Кох Генрих Карлович – был учителем. Дома родичей стояли рядом, а сад был общим. Летом в саду стоял большой стол, за которым собиралось до тридцати человек. Когда папины родители разошлись, дед мой взял папу с собой, а брат и сестра папины остались с бабушкой. В 36-м деда забрали органы НКВД и, как "врага народа", расстреляли. Но семья узнала об этом только в 60-х годах. Отец вернулся к матери в Драйлинде. Затем поступил в Запорожское педучилище и накануне войны окончил его. Будучи студентом, занимался легкой атлетикой, стрельбой из стрелкового оружия (получил нагрудный знак "Ворошиловский стрелок"), парашютным спортом, играл в оркестре на трубе. Родичи со стороны деда приехали в Россию в середине 19 века, а со стороны бабушки – в 1904 году. На момент начала войны бабушка имела немецкое подданство и могла попросить убежища в Германии, но не воспользовалась этой возможностью.

Мама родилась в с. Петровка Царицынской губернии (Волгоградская область). Отец её – Петр Григорьевич Могила (тезка и однофамилец митрополита Киевского и известного богослова Петра Могилы) – жил со своим братом Михаилом в родовом селе Петровка и имел крепкое хозяйство. Петр был глубоко верующим и набожным человеком, а про Михаила бабушка моя говорила, что он "бегал то от красных, то от белых". Мать – Анна Ивановна (девичья фамилия Чернуцкая) – имела польские корни. Кроме моей мамы, в семье были и другие дети – всего десять душ. Некоторые умерли во время Великого голода в 20-е годы, другие были отданы в жертву прожорливому Молоху во время раскулачивания. Остались три младшие сестры: Вера, Катя и Юлия. Когда маме и её сестрам выдавали документы, то фамилию изменили, записав их как "Могилины", то есть дети "Могилы".

В 29 году семья моего деда была раскулачена и сослана в Казахстан. Дед угодил в Карлаг (Карагандинский лагерь) на рудники, а бабушка с детишками мал мала меньше – в с. Красное Озеро Осакаровского района Карагандинской области. Были рядом и ничего не знали друг о друге в течение нескольких лет. И только случайно нашлись.

Мама говорила, что эти годы, без главы семейства, были особенно тяжелыми: холодными и голодными. Раскулаченные жили в большом промерзшем бараке. Им привозили мерзлую картошку и сгружали в кучу, за ней выстраивалась длинная очередь.

Бабушка моя, несмотря ни на что, стала активной колхозницей и одно время была даже председателем колхоза (ирония судьбы, не правда ли?). Она была грамотной, а это в то время многого стоило. Деду каким-то образом удалось освободиться (помог комендант, который с пониманием отнесся к бабушке и её детям), и семья воссоединилась. После этого жить стало легче. Но в 43-м деда арестовали второй раз по доносу. Через того же коменданта деду удалось переправить письмо семье, которое передаю слово в слово: "Дорогая супруга, дорогие деточки! Я ни в чем не виноват. Я сам подписал себе смертный приговор. Всякая власть от Бога. Никому ничего не говорите". Только в конце 80-х пришло известие о том, что он умер в Карлаге вскоре после ареста и в настоящее время посмертно реабилитирован. Ну что тут можно сказать: спасибо Партии Родной!

Когда фейерверки гремят над страню девятого мая,
то сверху дождь сыплет, слезою небесною прах омывая
пропавших без вести, сожженных, истлевших, разорванных в клочья,
лежащих во рвах и в лесах, приходивших во сне к своим ночью.
Но, может быть, это не дождь из небесных запасов бездонных,
а горькие реки, потоки слез женских, земных и соленых,
по деточкам милым, мужьям, по родителям, сестрам и братьям?!
По каждому, кто не вернулся, покинув родные объятья,
упала слезинка, – и вот с неба льются потоки сплошные...
Но так же пылят по проселкам планеты колонны стальные.
(И. Брейдо)

Я, бабушка, мама и Люба в Волгоновке. Март 1972 г.



После войны судьба разбросала сестер. Мама осталась в Казахстане и после школы стала работать учительницей в Вишневской средней школе (Вишневка в 50 км от Осакаровка). Сестры вышли замуж за участников войны и уехали: две на Украину, одна в Ленинград. А бабушка стала курсировать между дочками, но дольше всего задерживалась в Ленинграде. В семьдесят лет умудрилась спрыгнуть с поезда на ходу, так как он, видите ли, не остановился на нужной ей станции, а она везла мне целый мешок моих любимых ленинградских сухарей. Всегда хотела быть в курсе событий и читала газеты. Любила шутить и сама понимала и принимала шутки: я подтрунивал над ней иногда. Она дождалась правнучки, моей старшей дочери, и умерла вечером 31 декабря 1972 года в солидном возрасте, в здоровом теле и здоровом уме. Перед дальней "дорогой" попросила пельменей, с аппетитом поела и с легким сердцем отправилась в мир иной. Славная была бабуса. Пусть земля ей будет пухом.

В Волгодоновке мы поселились в полуземлянке, которую пристроили на скорую руку к бабушкиной мазанке. Тогда все жили в таких мазанках. Сооружали их из самана. Это большие кирпичи из глины, песка и соломы, которые делали сами сельчане на саманном озере в полутора километрах от села. На стены клали одну или две списанные железнодорожные шпалы, на шпалы укладывались плетни, на них насыпался сначала шлак, потом земля, и – крыша готова. Стены и крыша несколько раз обмазывались глиной.

Ты помнишь, мама, старый дом,
в котором мы когда-то жили,
построенный в саманном стиле?

Он первым был моим дворцом...

(И. Брейдо)

По такой же примерно технологии была построена и наша землянка, только она была врыта наполовину в землю, а стены были выложены из дерна, который нарезали из земли лопатами. Полы, правда, у нас были деревянные, у остальных сельчан, насколько я помню, – зем-

ляные и тоже обмазывались глиной. Помазать земляной пол глиной, все равно что покрасить деревянный, только дешевле. Бабушкина мазанка в сравнении с нашей землянкой была просто светлицей, большой и просторной (так и будем ее в дальнейшем называть – "светлица"). Соединялись землянка и светлица сенцами, третья дверь из которых вела в пригон – убежище для скота.

Дверь в наше жилище располагалась непосредственно справа от входа в сенцы. За дверью – лестница в четыре ступени, по которой мы спускались в маленькую узкую кухню с крошечным оконцем под потолком. Направо – дверь в спальню, за дверью – плита, слева от плиты – кухонный стол, он же и трапезный. В положенные дни на кухне, сразу за входной лестницей, устанавливалось корыто и поочередно совершалось купание всех членов семьи. В спальне (она же и зал, и гостиная, и рабочий кабинет) справа у окна стоял стол, его справа же подпирали массивный сундук, который по совместительству служил мне кроватью. Завершал этот ряд у оконной стены огромный цветок с экзотическим названием "фикус". На Новый год на него навешивались игрушки, и он чудесным образом превращался в новогоднюю елку. Фикус и сундук иногда менялись местами. У противоположной стены прямо на "берегу" живописного озера с лебедями (плод вдохновения одного из бродячих художников; подобные творения, с вариациями, красовались тогда в каждом доме) располагалась родительская кровать, а к изголовью ее, вдоль левой стены, примыкала сооруженная папой спальная лежанка для сестер.

Напротив двери в спальню стоял комод, а над ним во весь натуральный рост висел портрет Сталина с трубкой в зубах, на который, как мне кажется, я обратил внимание только в день его смерти, по крайней мере, долго и вдумчиво смотрел на него: был человек и вдруг – нет его... а на портрете – вот он, стоит как ни в чем не бывало. Я это помню. Картину интерьерера завершал единственный в то замечательное время источник информации (тем и замечательно было время, что источник информации был единственным) – черная тарелка над окном, из которой много чего можно было услышать, в том числе – чарующие звуки классической музыки.

Снаружи окно, единственный поставщик света в наше скромное жилище, опиралось на глинобитную завалинку – используемый в Средней Азии вариант скамейки для отдыха. Я не помню, чтобы на этой завалинке отдыхал кто-то из двуногих. Но свято место пусто не бывает, и однажды ранней весной, когда не все еще лужайки просохли и даже снег еще не весь растаял, я, вбегая в сенцы с улицы, заметил на завалинке свернувшуюся клубком и греющуюся на солнышке серую среднеазиатскую гадюку. Хоть раз наша завалинка использована была по назначению.

В другой раз волнительное свидание с представительницей этого отряда пресмыкающихся произошло жарким летом при еще более критических обстоятельствах и в более критическом, хотя и в достаточной мере невинном месте, а именно: рядом с очком дощатой уборной. Очевидно, бедное животное нашло самое прохладное, продуваемое сквозняком место и ничего плохого не замышляло. Надо ли говорить, что я выскочил из уборной как ошпаренный.

Мне еще не раз приходилось встречаться с подобными потенциально опасными для человека существами, правда, не в столь критических ситуациях, но каждый раз я испытывал мистический страх перед ними, как перед пришельцами из других миров, обладающими сверхчеловеческой мудростью и силой.

Разумеется, мне и на ум не приходил библейский завет поражать змея в голову. Но ведь и он, слава тебе Господи, по сию пору не жалил меня в пятку.

На Волге, в деревне Новое Кушиково, где мы живем уже 24-й год, рядом с нами живут черные гадюки, в буквальном смысле рядом. Их можно встретить на огороде, в саду, на тропинке, рядом с баней. Причем змея, видя, что ты идешь, не поспешит уступить дорогу, а может и вообще не сойти с неё. Поэтому жители деревни стараются выкашивать траву не только на своем участке, но и на улице и проделывают эту трудоемкую работу 3 – 4 раза за сезон: пери-

одически то здесь, то там слышится визг электро- и бензокос. Раньше косили ручными косами – поди помаши полгектара вручную. Но несмотря на меры предосторожности, не было, пожалуй, сезона, чтобы гадюка кого-нибудь не ужалила, если не в нашей деревне, то в соседней. К несчастью, были и смертельные случаи.

А были и курьезные. Как-то раз житель нашего села Миша, по прозвищу Колдун (лично я никаких качеств, оправдывающих эту кличку, за ним не замечал, зато знал много других, не менее выдающихся), в чрезвычайно веселом настроении (а каким может быть настроение у позитивного человека после "литры выпитой"?) поймал в лесу гадюку и, приняв ее за ужа, решил провести над ней научный эксперимент, а именно: пытался погасить о ее нос сигарету и таким образом убедиться, действительно ли змеи относятся к разряду хладнокровных. А эта дура, будучи не в курсе его высоких целей и благих намерений, возьми и цапни его за палец, чем сорвала уникальный научный эксперимент, а отчаянного зоолога-экспериментатора уложила в больницу. Недаром сказано: наука требует жертв, тем более когда подопытные экспонаты ведут себя так, мягко говоря, не по-научному. Надо сказать, что Миша вообще был пытливым и любознательным человеком, любил природу и домашних животных, меткое слово и всякие небылицы, афоризмы и песни Высоцкого – одним словом, романтик. Вы спросите: а почему тогда – колдун? Что вам на это ответить? Ну не было в лексиконе односельчан слова "романтик". На Руси испокон веков повелось: чуть – необычный человек, не похожий на других, так сразу и колдун. Ладно хоть не сжигали на костре. А в других культурах колдунов полагось сжигать, от греха подальше. Кто его знает: колдун он или не колдун? – на нем ведь не написано. А так: сожгли – и спи спокойно. Так что Мише еще сильно повезло.

В Мишиной коллекции есть еще один не менее драматичный, а может быть, даже и мистический и поэтому заслуживающий особого внимания случай. Он сам мне рассказывал. Такой уж он непростой человек – одним словом, романтик. Он шел по лесу домой с грибным коробом за спиной, как всегда, в веселом расположении духа – наверно, грибов много набрал, – что-то безмятежно напевая. Вдруг о дюралевый короб что-то – бац! Миша оглянулся и видит: на него ощерилась черная гадюка и... шипит... Но действий никаких не предпринимает. Странно, думает Миша: агрессия есть, а действий нет? Ладно, думает, пойду потихоньку своей дорогой. Ну и пошел, с Божьей помощью... Через некоторое время опять – бац! Мишу охватил, скажем прямо, мистический ужас, и он бросился бежать, осеняя себя крестным знаменем. Он бежит, а она, бестия, за ним... Так и гнала до самой деревни.

Ох, как не хотел бы я оказаться на Мишином месте! Что вы, православные, на это скажете? Нечистая сила, да и только! Каково же было удивление нашего бедолаги, когда он обнаружил в коробе среди грибов мирно отдыхающую маленькую черную змейку. Видно, она прыгнула с ветки дерева в мимо плывущий короб, соблазненная неотразимым грибным ароматом. На этот раз происшедший помимо Мишиных воли и желания научный эксперимент и состоявшиеся благодаря этому эксперименту научные открытия вполне удались. Вы полагаете, открытие состоит в том, что змейка смогла прыгнуть в короб? Ничуть не бывало! Миша об этом прекрасно знал. Но то счастливое обстоятельство, что змеи, как и люди, обожают грибы, явилось для Миши приятной неожиданностью и поэтому, конечно, стало настоящим открытием. Даже такие маленькие змейки любят грибы, с умилением думал Миша. Но еще большей отрадой для Миши было узнать, как самоотверженно бросаются змеи спасать своих деток, заранее зная, что отчаянные порывы их обречены на неудачу, а часто кончаются и гибелью: ведь они вступили в единоборство с самим Царем Природы. Но на этот раз все обошлось. И для Миши тоже.

Что это мы все про других, как будто нам самим рассказать нечего. На нашем участке сначала змей не было, потому что с нами жили ежики, а змеи с ежами, как известно, не уживаются. Но года два-три тому назад ежики почему-то ушли, и мы не раз видели заменивших их антиподов то в одном месте нашего участка, то в другом. Говорить даже не хочется.

Давайте лучше о ежихах. Они жили под деревянной будкой туалета. Днем спали, а вечером, в сумерках, выходили на охоту, и мы их встречали иногда на участке. Взаимоотношения у них с нами были, говоря скромно, нейтральные: мол, у нас своя жизнь, а у вас своя – никаких сантиментов с их стороны. Иногда они все же снисходили к нам и подходили к крыльцу – чаще всего малыши, – но, увы, не из высших побуждений, а справляя свои меркантильные интересы: а вдруг им что-нибудь вкусненькое да и перепадет. И мы, тронутые до глубин, спешили им что-то приготовить: то молочко, а то и кашку с молочком. Жалко, что ушли... Жалко даже и не из-за змей. Забавные они какие-то, ежики: смешно так сворачиваются в колючие шарики. Это они думают, что колючие. А на самом деле – никакие не колючие, и сворачиваться совсем не обязательно: никто их колючек не боится.

Кстати, не со всеми змеями ежики не уживаются. С некоторыми очень даже уживаются. Одно время у нас жили и ежи, и ужи. Звучит? Но общее у них – не только звучание их имен, но и вкусовые пристрастия: и те и другие любят, например, молоко. И еще, если хорошенько поискать, можно кое-что найти, но мы этим заниматься не будем. Достаточно того, что мы это наверняка знаем. Мы обнаружили также и то, что ужи совсем не такие напущенные индивидуалисты, как ежи. Один уж жил у нас в сенцах за газовой плитой. Мы так думаем потому, что однажды встретили его среди бела дня прямо на пороге. Он как ни в чем не бывало прополз мимо и даже хвостиком не помахал. Хотя бы из вежливости или, скажем, для приличия. Такие вот невоспитанные бывают ужи. Но мы все равно налили ему молока.

Как далеко, однако, ушли мы от основного театра описываемых событий, далеко и по времени, и по месту. Пора возвращаться. Вместе с бабушкой в светлице жили дядя Отто с первой женой тетей Катей. В 1950 году у них родился сын Володя, которому судьба уготовила интересную, яркую, но трагически завершившуюся жизнь. С бабушкой жил ещё её младший сын Рейнгольд. Он тогда учился в нашей семилетней школе, но я его в мои дошкольные годы почему-то не помню. Он появился в моем сознании и в моем зрительном восприятии гораздо позже, уже будучи женатым и солидным во многих отношениях человеком. Возник как дядя Роман (русский вариант имени Рейнгольд). Я и сейчас зову его – дядя Роман. Но в образе его я неожиданно обнаружил много ярких, где-то даже детских, импонирующих мне красок.

Тетя Фрида с мужем дядей Робертом и с его мамой жили от нас домов через пять, ближе к краю села. В мае 1950 года у них родился сын Яша. Они очень трепетно к нему относились и баловали его, очевидно, потому, что прежде потеряли годовалого Гельмута.

Не могу сказать точно, как, когда и в каком порядке в моей памяти стали фиксироваться некоторые эпизоды, но раз я помню о них, значит, нашлись в моем персональном компьютере крючочки, за которые эти эпизоды зацепились. Первый эпизод: я стою перед хором учеников Волгодоновской школы на районном смотре художественной самодеятельности, смотрю на папу, который этим хором руководит, и мы поем песню, в которой есть такие слова: "... мы довольны от души, до признанья хороши..." Слов я больше не помню, но мелодию помню от начала до конца.

Второй. Я сижу у бабушки в светлице и вдруг вижу, как к окну с лошади наклоняется "бабай" (так называли казахов в плащах с островерхими башлыками, ими пугали детей) и манит меня к себе. Я сначала испугался, а потом узнал в "бабае" отца, который звал меня прокатиться верхом. От такого фантастического предложения трудно было отказаться. Хорошо помню, как я ехал по селу, гордо восседая впереди отца.

Третий. Летом меня заставляли нянчить двоюродного брата Яшку. Я должен был укачать его в самодельной качалке в соседней хате и неотлучно охранять его сон; если проснется – подкачивать. Это было трудное задание, так как Яшка постоянно плакал. Когда у меня заканчивалось терпение, я сильно ущипывал братана, он начинал орать благим матом, прибежал кто-то из взрослых, и – да здравствует свобода! Позже, в сознательном возрасте, я покаянно при-

знался Яше в этом акте насилия над беззащитным существом, но брат мой не выразил никакого восторга и лишь смущенно почесывал ущипнутые когда-то места...

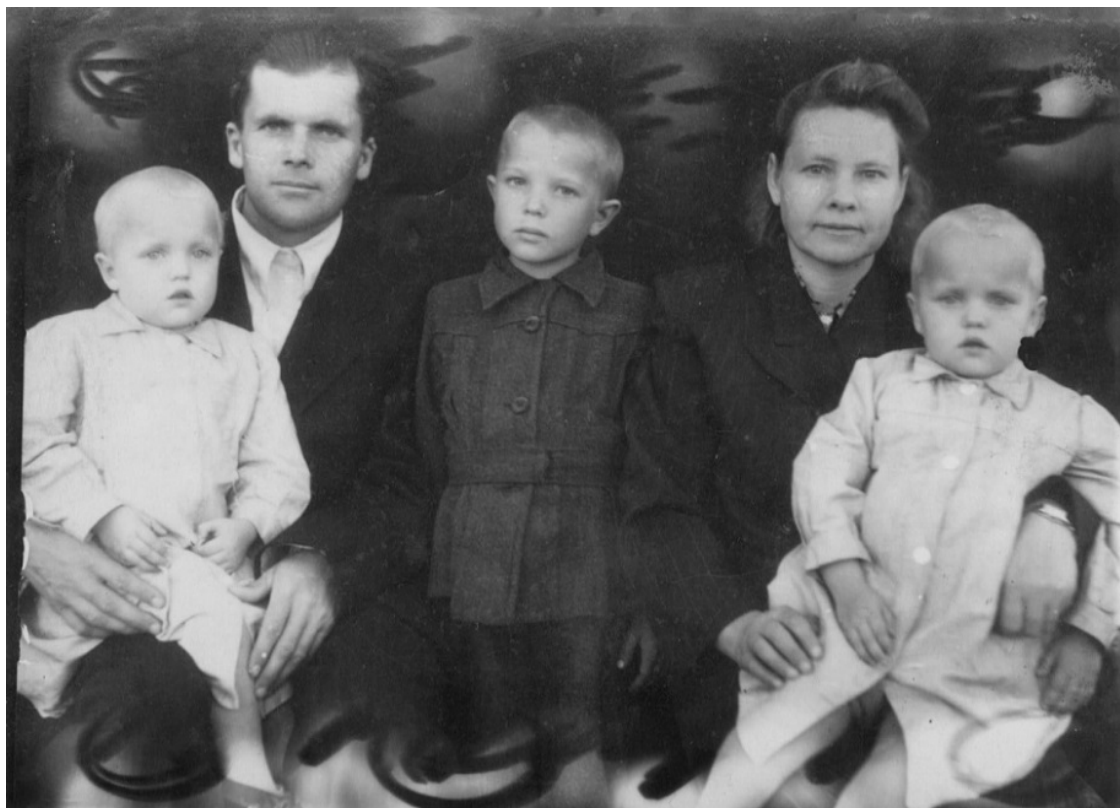
Что еще осталось в памяти, чем же я занимался в эти ранние годы? Зимой я в основном сидел дома один, родители с утра до вечера были в школе. Наверно, меня контролировала бабушка, но я этого не помню. Более пристального и постоянного внимания требовал мой двоюродный брат Володя. Вряд ли я тяготился одиночеством. Наверняка у меня были игрушки, но и их я не помню. Помню только, как в четыре года папа подарил мне коня-качалку, и помню фотографию, где я гарцую на этом коне.

Но самым любимым моим занятием было сидеть под столом, закрытым свешивающейся скатертью, на перемышке, соединяющей ножки стола, и воображать себя либо водителем автомобиля, либо чаще всего летчиком и совершать многочасовые, а то и многодневные путешествия. Самолет мой был оснащен всем необходимым для длительных беспосадочных перелетов: там были и спальня, и столовая, и прочие необходимые элементы жизнеобеспечения. Куда только фантазия не уносила меня. И непременно на борту была... невеста. Да-да, государи мои, – самая настоящая, живая и обожаемая невеста. А иначе одиссея теряла смысл. Вот тут и вспомнишь Фрейда, который лучшие порывы души сводил к сексуальным побуждениям, и, может быть, даже усомнишься в Божеском порядке вещей... Но лишь на одно мгновение, ибо тебя тут же пронизет какой-то волшебный свет и захлестнет ликующей волной, и ты воскликнешь в порыве экстаза: да здравствует Любовь! Ночью невеста спала, а я мужественно вел наш корабль через все преграды, которых было немало. "...В дымно-синие туманы, где царевна спит... Спит в хрустальной, спит в кроватке долгих сто ночей, и зеленый свет лампадки светит в очи ей..." (А. Блок).

По выходным у бабушки в светлице собирались взрослые и лузгали (у нас говорили "лускали") семечки. Причем шелуха не выплевывалась, а постепенно вываливалась из рта, свиваясь в живую рябую движущуюся гирлянду, подобно фаршу из мясорубки. Достигая критической массы, гирлянда обрушивалась на земляной пол. Кажется, даже устраивались соревнования, у кого гирлянда длиннее. Это был высший пилотаж и предмет зависти для нас, пацанов. К концу посиделок пол покрывался довольно толстым слоем шелухи, который отнюдь не создавал впечатление мусора, а скорее мягкого пестрого ковра, и мне всегда было жалко, когда его сметали.

Помню, как папа запрягал собаку Тузика в санки (упряжку шил сам), и Тузик таскал меня по сугробам. Причем я больше распахивал носом снег и рыл воронки, нежели ловил кайф в быстрой езде. Не могу сказать, что эта забава доставляла мне удовольствие, но вел себя я стойчески и никогда не ныл. Стыдно было перед папой и Тузиком, который был в диком восторге и носился как бешеный. Еще бы: посиди-ка весь день на цепи при исполнении...

Июнь 1952 года. Мы ждем появления на свет моих сестер-близняшек. Пятнадцатое июня, в школе выпускной вечер. Я со старшеклассниками прямо из школы бегу в больницу (так мы называли Волгодоновский медпункт). Папа уже там. Все возбужденные, радостные, папа улыбается, а я не могу понять, почему две? С этого момента жить стало лучше, жизнь стала веселей. Я приобрел статус старшего брата – это ко многому обязывало. Никакого ущемления своих прав я не ощутил. Напротив, почувствовал не то чтобы ответственность, но свою нужность, понял, что без меня родители обойтись никак не могут. Не скажу, чтобы роль няньки меня сильно обременяла, тяготила, тем более что сестренки были спокойные, не капризные, не плаксивые. И мама вспоминала, что нянькой я был хорошей. Бегу, бывало, и кричу: "Мама, две закачал!". Старался, хотел, чтоб меня похвалили. Папа сделал для сестер двухместную коляску, и я раскатывал их по двору и даже выезжал на улицу. "Сестры! Нежные сестры! Я в детстве вам клялся навеки, только с вами я счастлив, и только меж вами я свой!" (В. Брюсов).



Папа, мама, я и сестры. 1953 г.

Как это я до сих пор не объявил имён этих забавных крошек, этих милых мордашек? Да вы, верно, и сами догадались. Правильно: Светлана (тут, конечно, не обошлось без влияния Василия Андреевича Жуковского) и Людмила (а здесь, смею надеяться, воздействовал на умы сам Александр Сергеевич Пушкин)! Во-первых, произносятся легко, даже для грудного младенца. Во-вторых, звучат музыкально, благостно. Можно и в-третьих, и в-четвертых, но главное, как сказал парашютист, случайно забывший парашют в самолете, вовремя остановиться. В отношении имен не могу не согласиться с древними, которые утверждали, что правильный выбор имени не только благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, но и вообще составляет более половины жизненного успеха. Надеюсь, все давно поняли, что с их именами более или менее все в порядке.

А что делать с их абсолютной внешней идентичностью, никто в ту, уже канувшую в Лету эпоху не знал. Да и что тут вообще можно было сделать?! В этой неутешительной истории утешает хотя бы то, что распознавать их, и то не без труда и не всегда, могли только я и мама.

Землянка наша была своего рода очагом русской культуры: здесь как бы негласно утверждён был русский язык. Даже баба Кохша, когда спускалась к нам в подземелье, говорила хоть и на ломаном, но на великом и могучем – так гипнотически действовал на неё воздух этого очага.

А в окружающем пространстве и в первую очередь в бабушкиной светлице царил немецкий. До пятого класса я не только хорошо понимал, но свободно и бегло говорил на этом языке. Когда мы начали изучать немецкий в пятом классе, я увидел, что литературный язык сильно отличается от того, на котором говорили Волгодоновские немцы. Я счел этот обиходный разговорный язык искаженным, деформированным и удивлялся, почему папа на уроках говорит правильно, а с односельчанами – неправильно. И только значительно позже, когда готовился к кандидатскому экзамену, узнал, что язык этот ни капельки не искаженный, а один из мно-

гих немецких диалектов, которых в Германии столько же, сколько "земель" (областей), то есть шестнадцать. Называется он – "platdeutsch", и говорят на нем в Нижней Саксонии и Вестфалии. Надо же, а я сгоряча положил себе забыть этот неудобоваримый язык и, как человек прилежный и настойчивый, с поставленной задачей справился, то есть "platdeutsch" благополучно забыл. Теперь не знаю ни того, ни другого.

Вот, пожалуй, и все, что я помню в дошкольные годы. Впрочем, еще один эпизод. Да это уже не просто эпизод, а чрезвычайное происшествие. В сенцах рядом с дверью в пригон, где проживали рогатые и безрогие братья меньшие, стоял высокий деревянный ларь, в котором хранились мука и отруби. А на самом краю этого ларя красовалась керосиновая лампа. При необходимости она могла перемещаться. Представьте себе, так оно и было. В темноте существо, сопровождающее лампу, – кажется, его звали Аладдин – надевало шапку-невидимку, и волшебный светильник самостоятельно парил в фантастическом пространстве, заговорщицки подмигивая желто-красным язычком и обнаруживая самые потайные уголки расположенной справа кладовки, где под семью печатями хранились сладости, – для детей, как известно, запретный плод. Впрочем, это грустная история... Но впереди – еще грустней...

Расстояние между верхним открытым краем лампы и плетеным из ивовых прутьев потолком было не больше двух спичечных коробков. И вот как-то ночью произошло возгорание доведенного до предела отчаяния пересохшего плетня. Огонь сжег почти всю крышу в сенцах и частично перекинулся в жилище братьев меньших, которые хоть и орал истошно на все голоса, но серьезно не пострадали, если не считать болевого и психического шока. Жилища старших братьев и сами они не пострадали совсем. Наутро их взору предстала живописная картина: залитые какой-то черной жижей сени, лишившиеся крыши, зато неожиданно обретшие пасмурное осеннее небо. А в нос бил противный, не имеющий аналогов запах, который еще долго держался после того, как крыша была восстановлена.

И еще одно явление – волков народу, – связанное с качеством перекрытий, всплыло в памяти. В моем раннем детстве источником своеобразной музыки, не считая радио, были волки. В послевоенные годы их было особенно много. Зимой по ночам их вой, успешно конкурирующий с воем буранов, можно было услышать либо у крошечного оконца под самой крышей на кухне, либо на крыше сарая, где находилась скотина. У некоторых сельчан волки забирались в хлев и резали овец и свиней. Нас эта беда обошла стороной. Позже, когда в селе появились ружья, мужики решили эту проблему. По крайней мере, в село волки больше не заходили.

И пора уснуть, да жалко,
 Не хочу уснуть!
 Конь качается качалка,
 На коня б скакнуть!
 Луч лампадки, как в тумане,
 Раз-два, раз-два, раз!
 Идет конница... а няня
 Тянет свой рассказ...
 Внемлю сказке древней, древней
 О богатырях,
 О заморской, о царевне,
 О царевне... ах...
 Раз-два, раз-два! Конник в латах
 Трогает коня
 И манит и мчит куда-то
 За собой меня...
 За моря, за океаны

Он манит и мчит,
В дымно-синие туманы,
Где царевна спит...
Спит в хрустальной, спит в кроватке
Долгих сто ночей,
И зеленый свет лампадки
Светит в очи ей...
(А. Блок)

Глава 2. Семилетка. Начальная школа

Ты слышишь? Чу! Звонок звенит!
Пора за парту, неофит!

1 сентября 1954 года. Впервые я оказался в большом коллективе сверстников и ребят на два года старше нас, первоклассников. До этого исторического дня я существовал в режиме одиночного плавания. Обучение в Волгодоновской семилетней школе было организовано следующим образом: 1-й и 3-й классы занимались вместе в одной комнате (в одном ряду сидели первоклашки, в другом – третьеклассники), 2-й и 4-й – в другой. Старшие классы, 5-й, 6-й, 7-й, занимали отдельные комнаты, и у них уже были учителя-предметники.

В 1-м и 3-м учителем и классным руководителем был Байрит Иван Иванович (он был моим учителем до 5-го класса), во 2-м и 4-м – Д. Михаил Филиппович – высокий одноглазый (вместо второго глаза – черная повязка) участник войны; его звали циклопом. Кто прилепил к нему эту кличку (почему, например, не Кутузов?) – до сих пор остается загадкой. Ведь никто из нас, учеников, тогда понятия не имел о странствиях Одиссея. Но почему-то всем было ясно: одноглазый – значит, циклоп.

Своего первого учителя Иван Иваныч я знал еще до школы, так же как и директора школы Литвиненко Афанасия Ефимовича. Они часто бывали у нас дома, и я воспринимал их как своих. Иван Иваныч был красивый во всех отношениях человек. Фигура у него была настолько правильная, словно выполненная искусным мастером, что даже я, несмышлениш, обращал на это внимание. Причем это не была фигура атлета, скорее – интеллигента, каким он и являлся по сути своей. Все в его облике привлекало: слегка вьющиеся темно-коричневые, зачесанные назад волосы, умные, внимательные глаза, в которых угадывалась добрая улыбка, независимо от того, каким бы строгим ни было выражение лица. Все это в совокупности, наверное, и называется обаянием. Он был еще и секретарем сельской партийной организации. Знаю, что люди его очень уважали, тянулись к нему. Помню его в окружении односельчан, что-то живо обсуждающих.

Учиться было легко и интересно. И хотя Иван Иваныч работал на два фронта, демонстрировал, так сказать, сеанс одновременной игры, но никакой суеты в классе не было: обстановка спокойная, свободная, комфортная. Я не помню, чтобы старшие ребята нас, первоклашек, притесняли, но помню, что мы с нетерпением ждали, когда станем старшими и будем опекать младших. Но вот что удивительно: никого из старших, да и из младших тоже, я не помню, а ведь по два года терлись бок о бок. А вот из предыдущего класса помню почти всех, потому, вероятно, что там было много симпатичных девчонок. Со многими мы "дружили".

Что значило для нас "дружили"? Если не с первого, то со второго класса мы обзаводились "невестами", в нашем понимании и восприятии – "женами". Это было очень серьезно. У каждого была своя "невеста", причем не на день, не на год, а, считалось, на всю жизнь. И это были устойчивые союзы вплоть до окончания школы (семилетки), у некоторых и дальше. Но до свадьбы ни у кого дело не дошло. У меня, например, была Лена П., у моего друга Гриши С. – Люся С. Чувства были настоящие, нежные, трепетные, верность хранили похлеще взрослых. Зимой на посиделках у кого-нибудь в хате, а летом за околицей, когда встречали коров, мы были парами, и, помню, это было приятно и волнующе.

После первого класса мы с мамой поехали в Ленинград к маминой младшей сестре тете Юле. Муж тети Юли, дядя Яша, – участник войны, спокойный и добрый человек. Их дети: Витя 48 года рождения и Галя – 50. Жили они на улице Поляриков. Из этой поездки я запомнил "Бабушкин сад" (по названию, не по виду) и телевизор, который был установлен в нашем

доме в общественном помещении; вечером все ходили туда смотреть на чудо техники. И еще мама купила мне военизированную школьную форму. В поезде мне очень нравилось лежать на верхней полке и смотреть в окно, где, как в калейдоскопе, мимо проносились разные картины.

Что еще вспоминается в этих младших классах? Кроме успехов в школе, я и в остальном старался не отставать от сверстников. Самолюбие и, наверное, тщеславие не позволяли мне попадать в конфузливые ситуации. Я боялся быть смешным, неуклюжим. И чтобы не попасть в неудобное положение, осваивал то или иное дело в гордом одиночестве и часто достигал такого качества, что превосходил не только сверстников, но и ребят постарше. Так, например, учился я кататься на лыжах. Вечером, в густых сумерках, отправлялся на сопку и съезжал с нее, падая, до тех пор, пока не научился держать равновесие и, главное, не бояться. Вскоре я съезжал с любой, самой крутой сопки и первый осваивал новые трассы. А ведь многие были и сильнее и ловчее меня. Так же методично учился я плавать и нырять с высоких скал.

И так всю жизнь приходилось преодолевать себя, чтобы быть на высоте хотя бы в собственных глазах. Что было главной движущей силой? Может быть, у меня на первых порах был комплекс неполноценности или мною двигали самолюбие и тщеславие? Скорее всего – то и другое. Как бы там ни было, в какой-то момент я понял, что при желании всего можно добиться, что все мне по плечу, обрел силу и уверенность, твердую почву под ногами, не суетился, не толкался локтями, внешне существовал пассивно, перестал бояться – а что там впереди? (В этом конкретно пункте есть исключения, надеюсь, мы их в дальнейшем не избежим). И самое главное, я почувствовал возможность доверять себе, и не столько возможность, сколько необходимость, – необходимость слушать свой внутренний голос, *думать и жить своим умом*. Поэтому, наверно, никогда не оглядывался назад, никогда ни о чем не жалел, никогда ничего не планировал, никогда ничего не копил, никогда не заводил полезные знакомства – словом, никогда не обременял себя тем, что сковывало бы мой дух и ограничивало свободу.

Волгодоновская семилетняя школа располагалась в центре села и представляла собой длинное прямоугольное глинобитное здание, побеленное, как и частные дома, известкой, но, в отличие от частных, крытое шифером. Школьное здание окружал довольно большой пришкольный участок, огороженный невысоким деревянным забором. Справа от школы – молодой парк, в котором весной и осенью мы досаживали деревца. Слева – футбольное поле, по его периметру – четырехсотметровая беговая дорожка. Здесь проходили уроки физкультуры. Со стороны входа в школу вытянулись в одну линию складские помещения, к которым слева примыкала жилая хата сторожихи. Иногда она зазывала нас к себе и чем-нибудь угощала.

Кроме названных учителей младших классов и директора школы, который преподавал историю, в старших классах математику и физику вел С. Семен Иосифович, ботанику, зоологию и географию – его жена Мария Яковлевна. Мама преподавала русский и литературу. Остальные предметы: немецкий, пение, рисование, труды и физкультуру вел папа. Кроме того, папа вел легкоатлетическую, гимнастическую и стрелковую секции. Может, к этому его обязывал нагрудный знак "Ворошиловский стрелок", который он получил, будучи студентом Запорожского педучилища?

Как я уже говорил, учеба мне хлопот не доставляла, с дисциплиной проблем тоже не было. Родители в мою личную жизнь не вмешивались, наставлениями не докучали. Просто папа дал ориентировку, что-то вроде: учиться на "пятерки", вести себя прилично – ремень висит на вешалке (находится на боевом дежурстве). Выполнять эти заветы мне было несложно, поэтому ремень пропадал без дела. Но все же два-три раза ему посчастливилось погулять по моей спине, стряхнуть залежавшуюся пыль.

Мне всегда было очень любопытно, что таит в себе загадочный ящик комода, закрытый на ключ. И вот как-то раз он оказался незапертым. Я не смог побороть искушение и выдвинул ящик... Боже, чего там только не было! Там были боевые патроны от мелкокалиберной винтовки в запечатанных небольших коробочках, отстрелянные гильзы в таких же коробках, само-

палы разных калибров, конфискованные у нас, школьников, и еще масса интересных вещичек. Я понял, что с пустыми руками уйти не получится, – как-то даже неприлично было уходить с пустыми руками – и подумал: что же такое взять, чтобы и отец не заметил, и в то же время что-нибудь такое, что волнует глаз и шекочет нервы. Выбор оказался нетруден: ничто не могло сравниться с гильзами от патронов. Они, такие блестящие, такие золотые, такие изящные, просто приковали мое внимание. Я ведь был еще маленький, 2-й или 3-й класс, и не испытал пока великого счастья для пацана – пострелять из настоящей боевой винтовки. Я аккуратно наскреб из каждой коробки понемногу, чтобы было незаметно, и осторожно задвинул ящик. Получилась приличная жменя.

На следующий день принес свои сокровища в класс, чтобы похвастаться перед ребятами. Они стали кланяться, выпрашивать у меня эти необычные игрушки (для нас это были настоящие патроны, слово "гильзы" мы тогда еще не знали), но мне было жалко расставаться с моим добром. Тогда кто-то предложил за них деньги: то ли три, то ли пять копеек штука. И... пошла бойкая торговля. За этим увлекательным, прибыльным предприятием нас и застал Иван Иванович. Он сразу смекнул в чем дело, молча закрутил мне ухо и повел, как агнца, в учительскую. Даже сейчас по прошествии многих лет я помню, как мучительно стыдно, унижительно было тащиться с выкрученным ухом на виду у всего класса, всей школы и впасть в святая святых под пристальные, вопросительные взгляды учителей и, главное, отца. И уж совсем за пределами моих психических возможностей было осуществить предоставленное мне право удовлетворить любопытство наших наставников. Иван Иванович знал, что делает. Даже полученная дома законная экзекуция не принесла облегчения. Так во мне в самом зародыше был убит талантливый бизнесмен.

Второй выдающийся поступок я совершил уже в солидном возрасте, в 6-м или даже 7-м классе (с 5-го класса мы считали себя взрослыми). К нам в школу только что прибыла по распределению после Свердловского пединститута молоденькая и очень красивая учительница русского языка и литературы. И мы, разумеется, чтобы скрыть свое непомерное обожание и любовь к ней, ничего лучше не могли придумать, как включить куций, низменный арсенал каких-то пошлых шуточек. И сами ржали, как лошади, захлебываясь своей пошлятиной, чем доводили этого ангела до слез. И громче и заливистей всех хохотал я. Она, в крайней степени отчаяния, сквозь слезы: "Кох, выдь из класса!!!" Я – ликующе, на вершине остроумия: "А я не умею выть". Бедная, ни в чем не повинная учительница выбежала из класса. И надо мной как будто грянул гром, будто молния пронзила меня! Я почувствовал, что случилось нечто непоправимое, – не знаю, то ли от страха, то ли от осознания своего ничтожества. Возмездие не заставило себя долго ждать. Оно явилось в образе отца с указкой наголо, которая гнала меня до учительской и там вволю погуляла по моей онемевшей от стыда, бесчувственной спине.

А третий мой "подвиг" был особенно постыдным, о котором мне и сейчас тяжело вспоминать. По соседству с нами жила с одной стороны семья Пасеченко, с другой – Поля дяди Адольфа. Сыновья его – Саша (на год младше меня) и Ваня, погодки, были не то что забияками, но довольно жесткими ребятами. И у Пасеченок было два сына того же возраста – Володя и Сергей. Так вот, между этими достойными мужами произошла драка с кровопролитием. Кажется, сильно досталось самому безобидному и миролюбивому Сереже. Я не помню обстоятельств, но помню, что заводилами были Поля. В дело вмешались взрослые. Пасеченкам я сказал, что драку затеяли Сашка с Ванькой, а дяде Адольфу – наоборот.

Не знаю, почему я так поступил? Наверно, сработал родственный синдром: хотел угодить родичам и выгородить своих троюродных братьев, хотя их не любил и с ними не дружил. А Володя, напротив, был моим лучшим другом. Самое страшное было то, что меня в этой гнусной лжи уличила – она как-то незаметно подошла к нам – старшая сестра Вовки и Сереги – Светлана, о чем прямо и доложила почтенному собранию. А ведь я был влюблен в Светлану. Она это знала, и хотя была старше меня и откровенной взаимностью не отвечала, но как бы

и не возражала. Что говорить, более черного дня у меня не было ни до, ни после. По прошествии многих лет я благодарю Господа, что мое предательство открылось немедленно, и жгучий стыд, пережитый мною тогда, послужил уроком и сделал надежную прививку от подобных поступков.

А вот за "непятерки", даже за "двойки", отец меня никогда не то что не наказывал, но даже брови не сдвигал и не насупливал, что было явным признаком его недовольства. Так, в тех же младших классах я получил двойку за то, что не выполнил домашнее задание: вышивание строчкой, гладью и крестиком. Не знал, как это делается, а просить помощи у родителей не привык. Папа, не говоря ни слова, сделал три рисунка: кота, розы и еще чего-то, а мама показала технику вышивания. И проблема была решена: "двойка" превратилась в три веселые "пятерки". Это было гораздо действеннее наказания. Вторую "двойку" я получил в седьмом, кажется, классе за контрольную по математике – не понял или не выучил тему. Среагировал быстро: переписал классную контрольную на "5".

Домашние задания делал на переменах (письменные сразу после урока, а устные перед тем, как идти отвечать), чтобы больше оставалось времени на гулянье. Так же быстро, но качественно, потому что придется переделывать, выполнял я систематические домашние дела и случайные поручения. Зимой это было мытье полов. Как только я стал школьником, мама показала мне, со всеми нюансами, технику этого нехитрого дела и после первого некачественного мытья заставила переделать; больше такую роскошь я себе не позволял. Весной и летом – выгуливание и охрана от хищников (коршунов в основном) подрастающего поколения: цыплят, утят и гусят. В старших классах, по мере моего физического роста, дел значительно прибавилось: уход за скотиной (накормить, напоить, вывезти навоз), заготовка топлива (талы, кизяка, угля), работы, связанные с обмазкой крыши и стен (месил глину), вскапывание, прополка, поливка огородов и т. д. и т. п.

Летом постоянным поставщиком работ была бабушка Кохша, и – моя главная задача: не попадаться ей на глаза и вовремя смыться на речку. Да, летом житье-бытье наше мальчишеское протекало на красивой реке с не менее красивым названием – Ишим. Река небольшая, чистая, разнохарактерная и по глубине, и по скорости течения, с бурунами и с водоворотами на виражах, с песчаным и галечным дном. Правый берег крутой, местами скалистый, левый пологий, песчаный. Песок серый, крупнозернистый. Много рыбы – щуки, окуни, язи, лини, налимы, плотва разных калибров – и особенно раков: за час – ведро. В старицах рыбы еще больше. В озерах – уйма карасей. Но караси как-то не очень ценились, может быть, из-за обилия костей и потому, что их было некуда девать. Впрочем, мы с мамой любили и жареного карася, и уху карасевую. Папа же предпочитал щук. Поедет вечером на мотоцикле со спиннингом и штук шесть-семь доставит к ужину. Ну кто ж откажется от нежного, без костей, белого шучьего мяса. Позже, в 60-е годы, в некоторых озерах стали разводить карпов, морских окуней.

Итак, летом мы, как гуси и утки, с утра до ночи пропадали на речке – весь день под палящим казахстанским солнцем. Черные, как негры (прошу прощения, как афроамериканцы), ступни ног, как подошва у сапог, форма одежды – трусы. Купаемся до посинения: игры в догонялки на воде и под водой, как в прятки, – попробуй найди в замутненной воде. Потом плюхаемся в раскаленный песок, травим байки, иногда курим, если есть что, затем опять в воду. И так весь день, и ведь не надоедало. О еде даже не вспоминали. В крайнем случае, прибежишь домой, проберешься, как вор, в кладовку, найдешь большой кусок сахара, прососешь через него студеною воду из ведра – ничего вкуснее нет на свете! Иногда, если подвернется, выпьешь кружку молока или достанешь в сеннике в потайных местах теплые еще яйца, проглотишь сырыми пару штук – и обратно на речку. Главное, не попасть под прицел бабушки – обязательно найдет работу.

Село Волгодоновка в две улицы вытянулось вдоль левого берега реки Ишим. И это было большим везением. На остальном близлежащем пространстве царила безводная степь с небольшими пологими сопками – казахский мелкосопочник. Правда, попадались небольшие озерца, густо населенные карасем. Между улицами располагались большие людские (в наших краях – синоним слову "частные") картофельные поля. За речкой, вдоль правого берега, в несколько гряд или каскадов шли большие скальные сопки, казавшиеся нам настоящими горами. Некоторые скалы отвесной стеной падали в глубокие старицы. Старики говорили, что в одну из стариц с высокой скалы прыгнул вместе с конем убежавший от белых красный командир; а может, наоборот. Летом в углублениях скал мы устраивали хорошо замаскированные военные штабы. Зимой после уроков ходили на эти сопки кататься на лыжах.

Летом мы, пацаны, были в состоянии войны. Воевали не улица на улицу, а край на край. Война была позиционной, мирной, т. е. мы не появлялись на их территории, они – на нашей; дрались редко. Граница проходила и по речке. На своей территории чувствовали себя спокойно и уверенно. Главнокомандующим нашего войска был Иван Г., из семьи сосланных бандеровцев.

Я тогда даже не задумывался, кто такие бандеровцы и откуда они взялись. В нашем сельском житье-бытье не было никаких различий, никаких противоречий: ни этнических, ни сословных. Люди ценились по их качествам, трудовым и человеческим. Кроме Ивановой бандеровской семьи, в Волгодоновке жили также две сосланные ингушские семьи (впрочем, одна, кажется, была чеченская). Казахам было две или три семьи, как правило, служащие: в школе, в конторе. Казахи компактно жили недалеко за рекой в ауле. Им было так удобнее хотя бы потому, что им разрешали держать лошадей на мясо; и овец у них было гораздо больше. По-русски казахи говорили свободно, без акцента, это отличало их от других среднеазиатских народностей СССР.

Представители сосланных семей были очень достойные, добрые люди, культурные и гостеприимные. Мне приходилось бывать в этих семьях, особенно у Ивана Г. и в ингушской семье, где меня всегда угощали козым молоком и сыром. Ингуши и чеченцы вернулись на родину в 56-м или в 57-м году, а Иван с родителями позже, он успел окончить нашу семилетку. Однако вернемся к нашим военным делам.

Итак, нашим командиром был Иван Г. Симпатичный, смуглолицый, сильный, жилистый, хорошо сложенный парень, с заметными следами интеллекта на лице, не лишенный обаяния и с ощутимыми лидерскими задатками. На другом краю заправляли братья М.: старший – Николай, со средним, Володей, мы учились в одном классе, а младшего – забыл, как звали. Из всех родов войск мы признавали только кавалерию. Боевыми конями нам служили толстые ивовые прутья с пушистыми листовыми хвостами. Плетки плели сами из ивовой же коры. Оружие тоже делали сами: вырезали из досок пистолеты и автоматы. В арсенале было и настоящее боевое – так называемые самопалы, которые гнули из медных трубок и начиняли серой от спичечных головок; бойком служил изогнутый гвоздь, приводимый в действие резинкой. Война, как я уже говорил, носила позиционный характер: мы на своем краю держали позиции, противник – на своем.

В школьное время автоматически наступало перемирие, и, как по мановению волшебной палочки, – никаких антипатий и противоречий, никакого противостояния. Впрочем, и летом были исключения. В первую очередь это был ежевечерний поход за коровами. Тут противостояние также по какому-то волшебству исчезало. Может быть, потому, что в воинственное племя пацанов вливался живой, волнующий ручеек девчонок. Сельское стадо встречали на краю села, на вражеском, кстати, краю. Это было ожидаемое, предвкушаемое событие, так как оно сулило не просто встречу с представительницами прекрасного пола, но и, главное, со своей "невестой". Здесь грубые, суровые воины обоих лагерей забывали о вражде и превращались в галантных кавалеров. Играли в "ручеек" либо в разные игры с мячом: выбивалки, например.

Больше мы летом, как правило, с девочками не пересекались. Не могу сказать, почему: ведь взаимное влечение друг к другу мы все же испытывали. Стеснялись, наверно, или так было принято?.. Даже на речке купальные места были отдельные: у пацанов – свои, у девочек – свои.

Начало осени было обычно сухим, солнечным и безветренным и совпадало для нас, школьников, с благодатной порой уборки огородных и бахчевых культур. На любой подвиг были готовы, лишь бы не учиться. Но и после уборки урожая осень, не в пример средней полосе России, долго еще оставалась сухой и солнечной. И никому в голову не приходило эту длинную теплую осеннюю пору называть неблагозвучным именем "бабье лето". Однако положенную для этих мест норму осадков небеса все же аккуратно выделяли нам, и ненастная эта пора, как ей и написано на роду, и у нас была грязной, холодной, занудной и тоскливой.

Осень! Летит по дорогам
Осени стужа и стон!
Каркает около стога
Стая озябших ворон.
Скользкой неровной тропой
В зарослях пасмурных ив
Лошадь идет с водопоя,
Голову вниз опустив.
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит,
Дождик, знобящий и серый,
Всё моросит, моросит...
Жнивы, деревья и стены
В мокрых сетях полутьмы
Словно бы ждут перемены –
Чистой, веселой зимы!

(Н. Рубцов)

И терпение наше было вознаграждено: зима наступала враз, без предупреждений и предисловий – снежная и морозная, строгая и серьезная, не собирающаяся уступать позиций раз и навсегда ушедшей осени, занудным оттепелям и прочим, как в средней полосе, тягомотинам.

Выпал снег – и всё забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилося,
Словно выпил я вина.
Вдоль по улице, по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.
Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.
Снег летит – гляди и слушай!
Так вот просто и хитро
Жизнь порой врачует душу...

Ну и ладно! И добро.

(Н. Рубцов)

Зимой самым приятным занятием были походы на лыжах на сопки за рекой. Сопки шли вдоль речки в несколько гряд и были для нас настоящими горами. Ближняя к реке гряда назы-

валась "ближние сопки", а дальняя, соответственно, – "дальние сопки". Обычно мы катались на ближних. Устраивали скоростные спуски с крутых – не каждый мог съехать – скальных сопков и даже с элементами слалома: расставим ворота из лыжных палок и выписываем виражи на большой скорости. Поход на дальние сопки занимал почти весь день, туда ходили обычно в воскресенье. Покатаемся с часок и возвращаемся в густых сумерках, испытывая двойственное состояние: и боимся волков, и хотим с ними встретиться. Но нам ни разу не повезло, только иногда слышали их лирическое завывание, а может, нам это только казалось.

Другим, не менее приятным занятием была игра в хоккей. Это был необычный, "пешеходный" хоккей без коньков. На речке устанавливали ворота из подручных предметов, вырубали клюшки из талы, а шайбой служил кусок замерзшего конского навоза. А лед у нас на Ишиме – как зеркало, гладкий и прозрачный: видны камешки насквозь и, как в зимнем аквариуме, резвящиеся рыбёшки.

В сильные морозы или бураны, когда занятия в школе отменяли, строили снежные крепости с бойницами, блиндажами и туннелями, которые вырывали в сугробах, и играли в войну. Сугробы в селе были выше крыш, так что было где разгуляться и достойно применить свои архитектурные таланты.

Но были такие сильные многодневные бураны, что носа из дома не высунешь. В один из таких буранов мне надоело сидеть в четырех стенах, и я решил испытать себя: мне не верилось, что в родном селе можно заблудиться. Я с трудом выполз за дверь и решил сначала совершить экскурсию к туалетной будке, которой зимой никто не пользовался, а затем расширить географию буранных путешествий. Обычно, чтобы охарактеризовать интенсивность бурана, говорят: в двух шагах ничего не видать. Для казахстанских буранов такая характеристика не годится. Бураны в Казахстане – это сплошные вихревые потоки, такие, что нет возможности не то что в двух шагах что-то рассмотреть, а и просто открыть глаза. Поэтому тактика перемещения в таких условиях только одна: опустить голову, накрыв её большим воротником полушубка так, чтобы видеть свои собственные ноги (что тоже не просто), и начать перемещение по выбранному курсу. Я так и сделал: взял курс на туалет, который находился метрах в десяти-пятнадцати, и точно вышел на него. А обратно – заблудился. Я плутал не меньше получаса, постоянно меняя направление, – вихревой ветер буквально сбивал с ног – и наконец уткнулся в дом, находящийся через два от нашего. С большим трудом я добрался до своего жилища.

Зимой мы, ученики, в качестве шефской помощи, ухаживали за телятами и жеребятами. Предпочтение, конечно, отдавалось жеребяткам. Эти маленькие, красивые и умные животные просто пленяли наши сердца. Мы прикипали к ним, а они привыкали к нам и становились ручными. Как приятно было кормить их из рук, ощущая влажные губы и теплое дыхание. Мы всегда припасали для своих питомцев что-нибудь вкусненькое: пряники, сахар или хлеб, пропитанный молоком. Конечно же, ездили верхом, чаще всего – без седла.

Памятен такой случай. Как-то ранней весной я вскочил на молодого жеребца и поскакал за лошадьми, которых после зимы первый раз выпустили на променад. И вот когда я гнал лошадей обратно, мой жеребец взыграл, понесся за кобылицей крупным галопом и стал неуправляем. Я сначала кое-как держался на крупе, стараясь совершать синхронные с галопом колебания, но, как говорится, третий лишний, и мой четвероногий друг решил от меня избавиться, что и осуществил, весьма виртуозно взбрыкнув, когда мы уже спускались с сопки в село. Я перелетел через голову своего друга, но, к счастью, пока совершал кульбит, он успел из-под меня ускользнуть, и я приземлился в твердый, но все-таки снег. Я, как мяч, подпрыгнул, встал на ноги и пошел как ни в чем не бывало. Да и об ушибах ли было думать, когда тебя заполнило совсем другое чувство – чувство стыда, что не смог удержаться на коне.

Летом дежурной обязанностью был сбор кизяка в степи, где паслось стадо коров. Этим кизяком летом топили печь для приготовления еды. Один раз за лето заготавливали талу на всю зиму для растопки печи. Для этого мероприятия папа брал в колхозе пару быков, запрягал

их в арбу, и мы втроем, папа, мама и я, уезжали на весь день за три-пять километров на берег Ишима. Это была трудная и, признаюсь, для меня самая противная работа. Папа рубил, а мы с мамой таскали талу к арбе, пробиваясь сквозь полчища слепней и комаров. Возвращались домой поздно вечером к вечерней дойке.

Из приятных поручений можно назвать походы за черемухой, которая поспевала во второй половине июля, и за паслёном и шиповником в сентябре. Эти растения заменяли нам и ягоды, и фрукты, и мы с удовольствием уплетали их за обе щеки. С черемухой и пасленом варили вареники, шиповник сушили и заваривали чай. Ягод и фруктов не было в нашем детстве не потому, что они не могли произрастать в наших краях, а, вероятно, потому, что колхозникам было не до них. Зато всегда в колхозе выращивали подсолнух, и мы, пацаны, ездили на созревшие подсолнуховые поля на велосипедах воровать семечки. Позже, в 60-х годах, в личных хозяйствах стали выращивать и фрукты (яблоки, вишни), и тем более ягоды (малину, смородину и пр.), а на колхозных бахчах – арбузы и дыни, которые не воровать было никак нельзя.

Конечно, рыбачили; ловили на удочку в основном мелочь, которой кормили домашнюю птицу и котов; из окуней мама варила уху. Иногда на удочку попадалась щука и неизбежно оказывалась на сковородке.

Три страды испокон веков были на селе главной заботой и головной болью: посевная, заготовка сена и уборка урожая. На посевной нас, школьников, не задействовали. Сено для колхозного и личного скота заготавливалось централизованно (на моей памяти вручную не косили). Но если колхозникам правление колхоза выписывало сено по количеству трудодней (мера труда в колхозе), то учителям, которые членами колхоза не являлись, нужно было отработать на сенокосе определенное количество дней. В нашей семье трудодни зарабатывал папа: он либо возил сено (нагружал в кузов автомобиля), либо скирдовал, то есть формировал скирды для зимнего хранения. С третьего, кажется, класса я помогал папе: утапывал сено на скирдах. Иногда папа брал в колхозе арбу, запряженную парой быков, и мы отправлялись на небольшие озера (где не могла пройти техника) и выкашивали высокую сочную траву вокруг них. Папа косил ручной косой, а мы с мамой сгребали сено граблями.

Посевные культуры: пшеницу, овес, ячмень убирали в колхозе комбайнами и в нашей помощи не нуждались. А вот в уборке колхозных овощей без школьников обойтись было никак нельзя. Для выполнения этой стратегической задачи вся школа со второго по седьмой класс вставала единым фронтом. Собирали все подряд: помидоры, огурцы, капусту, морковь, свеклу, лук и, конечно, картошку с необозримых площадей. Но больше всего мы любили собирать арбузы и дыни.

О праздниках. Не могу сказать, чтобы официальным праздникам (7 Ноября, 1 Мая) в нашей школе придавалась идеологическая окраска, так же, как и пионерскому движению (комсомольской организации в нашей семилетней школе не было – не подходили по возрасту). Пионерскую организацию и свое членство в ней мы воспринимали, с одной стороны, как занимательную игру, с другой, – очень серьезно и ответственно и свою роль понимали как созидательную: ухаживали за телятами и жеребятами, помогали убирать урожай в колхозе и пр.

Главным праздником был Новый год. Сначала "ёлкой" служил большой цветок "фикус", позже – сосна, которую откуда-то привозили. Игрушки были красивые и разнообразные: здесь и звери, и домашние животные, и звездочки, бусы и снежинки, и Дед Мороз со Снегурочкой в разных исполнениях, и сказочные избушки и пр. и пр. Подарки, кроме конфет и пряников, содержали апельсины, а иногда и грецкие орехи. В клубе проходили концерты художественной самодеятельности, подготовленные учениками, учителями и сельчанами. Рано утром 1 января приходили ряженные с гармошкой и песнями и "посевали", то есть рассыпали по комнатам зерно. Ходили "посевать" и мы, дети.

Значение праздника "Пасха" не понимали, но праздновали с удовольствием: красили яйца, пекли куличи, которые почему-то называли "пасха". Красивый праздник. Мы, дети, ходили по дворам и говорили, как заклинание, волшебные слова, которые воспринимали как абракадабру: "Христос воскрес". За эти два слова нам давали яйца, пряники, конфеты.

В доме дяди Отто Р. по воскресеньям собирались односельчане, которых называли "баптистами". Говорили, что это религиозная секта. Все они были прекрасные люди и хорошие работники, и я не мог понять, как они дошли до такого помешательства. Я их очень жалел. Моя любимая тетя Фрида тоже была верующая, но она ни на какие собрания не ходила и не казалась мне пропащей. У неё в горнице висело несколько красиво оформленных религиозных высказываний на немецком языке, некоторые я до сих пор помню, например: "Der Gott ist mein, und ich bin Sein" (Бог – мой, а я – Его). Конечно, я был атеист до мозга костей, но почему-то не сомневался в правоте тети Фриды, потому что она была – сама правда, и я её очень любил.

Окончание начальной школы (4-го класса) ознаменовалось поездкой в пионерский лагерь, который располагался на берегу Ишима недалеко от Вишневки. Сразу скажу, что мне там очень не понравилось. Жили в большой армейской палатке. Образ жизни был приближен к военному: утрення побудка, водные процедуры, построение, подъем флага, завтрак – и всё строем и строго по расписанию. Больше всего угнетали дневной сон и свободное время: жара неимоверная, но купаться не разрешали. Во избежание несчастных случаев лагерное начальство перестраховывалось. Это было настоящей пыткой: речка в двух шагах, а купаться нельзя. За всю смену купались два или три раза. Да и такого купания не надо было. На мелководье отгородили небольшой лягушатник, в котором – не поплавать, не понырять. Некоторое удовольствие лично я получал от прополки колхозных полей – хоть какая-то польза. Произвел впечатление прощальный костер. Больше в лагерь меня не могла затащить никакая сила.

В цепи неприятных событий нужно вспомнить еще два; они были тем более неприятны и обидны, что произошли летом. В разгар летних каникул (после 2-го класса) я заболел корью и целый месяц провалялся в районной больнице. Зимой я этого даже не заметил бы, а может, даже обрадовался. В другое лето на задворках нашего жилища, в густом бурьяне, напоролся на ржавый гвоздь. Должного внимания не обратил, и ногу разнесло в хорошую тыкву. В результате опять угодил в больницу и долгое время лежал, как в кино, с подвязанной выше головы ногой.

Не могу не сказать, хоть и не хочется, об одной значимой перемене, по сути своей формальной, но сильно повлиявшей на мое моральное и психическое состояние. При рождении родители дали мне фамилию матери – "Могилин", отчество записали "Андреевич" (отца в селе многие звали Андреем, даже немцы, когда говорили по-русски), а национальность – "русский", – то есть замаскировали мои немецкие корешки. С этими знаками, с этими фетишами я благополучно существовал до окончания 4-го класса. Надо сказать, что эти русские параметры меня вполне устраивали: хоть немцев в нашем селе никто откровенно не третировал (по крайней мере, фашистами не обзывали), но в воздухе все равно что-то такое носилось, чего даже нам, детям, не заметить было нельзя. Поэтому как-то не хотелось быть немцем.

И вот неожиданно папа вызывает меня на необычный шепетильный разговор – делает это осторожно, деликатно и как бы неуверенно – и предлагает переменить фамилию, отчество и национальность. Несмотря на то, что содержание и тональность папиных слов недвусмысленно предполагали свободный выбор (папа во всем был предельно честен), я почувствовал, что папа этого очень хочет, и не посмел отказать ему. Фетиши, искажившие мое сознание, никакого негативного влияния на мое отношение к отцу не оказали. Напротив, я любил и уважал отца, гордился им.

Для меня перемена эта была потрясением. Другое дело, если бы я сразу был записан немцем, от рождения ассоциировал себя с этой национальностью и привык к своей законной фамилии. И хотя умом я понимал, что так нужно, что это правильно, но совместить себя с новыми параметрами, с новыми фетишами не мог. В моем сознании прочно и надолго посе-

лились комплексы и владели мной так долго и до такой степени, что я детей своих записал на фамилию жены, надеясь при удобном случае и самому взять эту фамилию (я сделал бы это еще при женитьбе, но боялся обидеть отца). Так я и поступил, когда представился формальный повод, а именно: власти отказали мне в доступе к закрытой теме при работе над кандидатской диссертацией. И это в 85 году, в то время как после института я работал в суперзакрытом КБ. Когда я обратился к папе за разрешением, он неожиданно для меня сказал, что это нормально, что ненормально, когда члены семьи носят разные фамилии, и привел мне в пример своего двоюродного брата Федотова Владимира, который взял фамилию жены. Да простит меня Бог и простит меня мой покойный отец. После защиты диссертации я вернул отцовскую фамилию и всю семью переписал на нее. Слава Богу, папа был еще жив. Надеюсь, что от комплексов я избавился и ношу фамилию отца с достоинством.

Как это я до сих пор ни словом не обмолвился о грянувшей на нас эпопее – освоении целины, а ведь она совпала с началом моей школьной жизни. Официально началом этого масштабного исторического события считается 1954 год. Но насколько я помню, этот год в Волгоновке ничем особенным не отличался от предыдущих, разве только тем, что в этом году я пошел в школу. Но это в личном плане. В общественном же измерении все было как всегда тихо и спокойно, и ничто не предвещало перемен. Бурные перемены начались зимой-весной 55-го. Прибыли молодые ребята шестнадцати-восемнадцати лет, в основном парни-трактористы, но были и девушки-трактористки. Их разместили по семьям местных жителей. И нам повезло: наша семья пополнилась сначала Юрой Калашниковым (совсем молодой мальчишка, сразу после тракторного училища), а через год – двумя девчонками (имен не помню). Кажется, в это время родилась поговорка: "Пополнение в рваный лапоть". Точно подмечено.

Не могу понять, как мы размещались в нашей землянке ввосьмером? Кто-то спал на полу, кто-то на раскладушке. Жили мы дружно и весело. Девчата жили у нас недолго, около года, потом ушли в общежитие, которое построил папа. А Юра прожил у нас до самой свадьбы, которую справил в собственном новом доме. Он стал для нас родным, и сам папу с мамой почитал за родителей. К тому времени выросла новая улица, которую, кажется, называли: Молодежная. Каждый год прибывало пополнение людей и техники, что вносило живую струю в наше ничем выдающимся не отличающееся существование. Жизнь была ключом: днем гудели трактора, сновали грузовики, строились дома для приезжих целинников и перестраивались глинобитные мазанки коренных жителей, вечером – танцы, игра в бильярд, кино, иногда концерты художественной самодеятельности...

Ах, золотые деньки!
 Где уголки потайные,
 Где вы, луга заливные
 Синей Оки?
 Старые липы в цвету,
 К взрослому миру презренье
 И на жаровне варенье
 В старом саду.
 К Богу идут облака;
 Лентой холмы огибая,
 Тихая и голубая
 Плещет Ока.
 Детство верни нам, верни
 Все разноцветные бусы, –
 Маленькой, мирной Тарусы
 Летние дни.
 (М. Цветаева)

Глава 3. Семилетка. Старшие классы

Сопки, степи строгие...
Лыжный, с гор, экстрим.
Детство босоное
да река Ишим.

Ну вот я и стал взрослым, то есть перешел в 5-й класс. Сразу же отрастил длинные волосы, которые зачесывал назад. Надо ж было как-то подчеркнуть свою взрослость, потому что роста я был все еще небольшого.

Но было и более основательное свидетельство моей взрослости. Правда, было это после 6-го класса, и за два года произошел ряд событий, заслуживающих внимания; но кто нам запретит к ним вернуться? Впервые летом я не валял дурака, не пропадал на речке с утра до ночи, а работал как взрослый на сенокосе, зарабатывал деньги. Меня пригласил в свой экипаж отец моих школьных товарищей, братьев-близнецов Шуры и Васи С. Это были на редкость позитивные ребята: спокойные, уравновешенные, невозмутимые, веселые и – ни капли злости и агрессии. Кстати, одного из братьев, Шуру, мы посетили с сыном Андреем в 2018 году в родном селе Волгоновка.

Таким образом, экипаж состоял из четырех человек, в задачу которых входило управление косилками или, как их в народе называли, травянками. Это цельнометаллическая конструкция, снабженная двухметровым косильным полотном с сегментными ножами, совершающим возвратно-поступательные движения по притертому металлическому основанию. Косилки, расположенные последовательно друг за другом с двухметровым смещением вправо, благодаря чему наш косильный поезд осуществлял захват в восемь метров, буксировал колесный трактор "Беларусь"; иногда – гусеничный. Мы восседали на металлических сиденьях и должны были при визуальном обнаружении камня или другого препятствия поднимать рычагом полотно, чтобы не повредить ножи. Но ножи все-таки "летели" время от времени, и тогда на поле оставались узенькие нескошенные полоски. Но из-за одного-двух сломанных сегментов полотно не меняли и работу не прекращали до обеденного перерыва или до вечера. При транспортировке полотно поднималось примерно под 30° и фиксировалось защелкой.

Ремонт полотен – переклепывание и заточку ножей – производил хромой дед Кузьма, а ежедневное техобслуживание (смазку подшипниковых узлов шприцами) и мелкий ремонт своих стальных коней делали мы сами. Очень скоро мы и клепать ножи научились мастерски, но заточка ножей осталась прерогативой деда Кузьмы.

Если стан наш стоял на озере, то дед Кузьма готовил к обеду ведро тройной карасевой ухи, то есть три раза менял карасей. Ничего вкуснее я ни до, ни после не едал. Все уплетали только бульон, а я до отвала наедался вареной рыбой. Особенно мне запомнилось одно крошечное, но глубокое озерцо: ну просто яма, наполненная кристально чистой водой. Дед Кузьма при нас вытаскивал из этой ямы сплетенную из ивовых прутьев самоловку (на Волге ее почему-то называют "мордой"?), битком набитую карасем.

Так что жили мы вкусно и весело – неповторимая романтика. Весь день на свежем воздухе, под палящими лучами солнца, которого не замечали, бороздили мы родные просторы переливающихся седым ковылем, волнующихся, как море, казахстанских степей. На марше, не сбавляя скорости, обрывали сопки. Озера обкашивать не любили, так как под высокой травой не видно камней и скорость гораздо меньше, зато сена значительно больше. Конечный результат оценивался в центнерах собранного сена. За нами с некоторым временным интервалом, необходимым для просушки скошенной травы (примерно через день), шли широкие

грабли, сгребаящие сено в валки. Затем тракторы-котноукладчики формировали копны, которые вывозились грузовиками со специальной платформой. Но нормы выработки устанавливались все же на скошенные площади. Норма на площадь, а денежки за центнеры. Деньги нас, пацанов, не очень волновали, по крайней мере, разговоров об этом не вели, но выполнить норму было делом престижа. Не всем моим сверстникам повезло так же. В совхозе работал еще один такой экипаж.

После работы ходили в новый клуб на танцы, в кино на вечерние сеансы и, главное, убивали время за игрой в бильярд. Я стал просто фанатом этой игры, целыми вечерами пропадал в бильярдной и довольно быстро стал приличным игроком. Играли обычно пара на пару на вылет. В бильярдной всегда была очередь. Взрослые старались войти со мной в альянс, чтобы спокойно играть весь вечер до кино; часто и про кино забывали. Редко кто мог вышибить нас из седла.

Но однажды нашелся человек, который сделал это очень просто. Этим человеком оказался всеми уважаемый солидный товарищ, с большим авторитетом и большим животом (что практически одно и то же), главный инженер совхоза и по совместительству мой родной дядя Отто, которого и я уважал и, может быть, даже любил. Он молча (он вообще был патологически молчаливым человеком, что уже чрезмерно переполняло чашу его достоинств) взял меня за ухо (мне когда-то уже закручивали уши – не понимаю, чем они так привлекательны?) и, не обращая внимания на мои зачесанные назад по-взрослому волосы, вывел из бильярдной на виду у почтенной публики. Так впервые я потерпел сокрушительное поражение в этой непростой, неравной игре в бильярд.

В этой связи примечателен еще один эпизод с теми же действующими лицами. Как-то летом, это было в младших классах, дядя Отто, столкнувшись со мной во дворе нашего общего с ним дома, удивительно ловко схватил меня за ноги, проделал со мной молниеносный кульбит, так что я оказался вниз головой, энергично потряс меня, как на вибростенде, и из меня посыпались папиросы...

Вообще мой любимый дядя (говорю это без иронии) был настолько неординарным субъектом, что заслуживает отдельного разговора. Не знаю, доведется ли, поэтому – пока вскользь и бегом. Он буквально из ничего, из каких-то заброшенных железок сконструировал: три или четыре автомобиля, аэросани и, вместе с отставным военным летчиком Б. Евгением Михайловичем, самолет. Летательный аппарат тяжелее воздуха (так по-научному мы, студенты авиационного института, трактовали самолет) был готов к полетам и с нетерпением дожидался весны в сарае-ангаре. Но понюхать небо аппарату не довелось, так как дорогу в заоблачные выси загрозили ему аэросани, едва заметным при работе винтом которых зарубило человека. Было следствие, в результате которого аэросани и самолет конфисковали.

Начало занятий в 5-м классе совпало с переездом в новый дом, который спроектировал и построил папа. Кое-что придется пояснить. Дело в том, что папа, будучи учителем, закончил заочно строительный техникум и получил квалификацию прораба и возможность занять чем-то отпускное время. Праздного времяпрепровождения в доме отдыха отец не любил. Как оказалось, папа вовремя обзавелся этой новой профессией. По сути, он совершил революцию в сельском строительстве.

Я уже говорил, что все постройки в Волгоновке, и частные, и колхозные, были глинобитные, с плоскими мазаными крышами. Это не от хорошей жизни – это от бедности. На освоение целины были выделены приличные средства, направлены значительные технические (тракторы, комбайны, автомобили и пр.) и людские ресурсы. Колхозы быстро богатели. Поэтому в 56 – 57 годах на целине началась новая эпоха и в строительстве. Дома стали строить по совершенно другой технологии. Фундамент и стены заливали смесью, в основе которой был дешевый материал – шлак, продукт сгорания угля в топках паровозов; его на ж/д станциях

накапливались горы. К шлаку добавляли цемент, песок, известь, и получался прочный раствор. Строения так и назывались – шлакобетонные.

Сначала папа построил коровник, потом сельский клуб. Получился настоящий дворец с колоннами. До этого кино крутили в каком-то сарае. В этом замечательном дворце, кроме кинозала со сценой (здесь проходили и концерты, и театральные постановки, и всякого рода собрания), было большое фойе, в котором днем проходили уроки физкультуры (шведская стенка, гимнастические брусья, кольца и канаты находились здесь постоянно, а прочие спортивные снаряды: конь, козел, бум, маты хранились в складском помещении), а вечером устраивались танцы. В новом клубе располагались также бильярдная комната, библиотека, рубка киномеханика (папа часто гонял фильмы вместо штатного киномеханика – любил это дело) и еще какие-то помещения.

После клуба папа занялся строительством собственного дома, в созидании которого и я принимал активное участие: помогал размечать планировку на земле, копать канавы под фундамент и даже делать раствор для заливки фундамента и стен. Дом рос не по дням, а по часам. Когда я вернулся из лагеря, строители начали возводить крышу: ставить стропила и крыть шифером... К началу учебного года дом был готов. Что значит переселиться из небольшой землянки в огромный светлый дом?! Это – как с велосипеда пересестись на "Мерседес" или "Тойоту".

А я как раз в это время пересел с велосипеда на мотоцикл. Это целая эпопея. Сначала я научился кататься на мотоцикле дяди Роберта, на котором уже вовсю гонял мой двоюродный брат Яша. Это был маленький одноцилиндровый мотоцикл марки "Москвич" с низко расположенным сиденьем. С этого сиденья мы доставали до земли обеими ногами практически полностью. А мотоцикл моего отца марки "К-55" был хоть и той же категории одноцилиндровых, но значительно тяжелее и, главный минус, имел высокое сиденье. Чтобы тронуться с места на этом мотоцикле, нужно было сильно съехать с сиденья набок вправо, так что на сиденье оказывалось бедро левой ноги; затем включить скорость левой ногой и, потихоньку отпуская муфту, успеть в нужный момент прыгнуть в седло. Это не совсем простая эквилибристика. Папа все это прекрасно понимал и на все мои просьбы и аргументы отвечал решительным "нет". Впрочем, их (просьб) было не больше двух: папа не любил торги.

Тогда я все психологически просчитал и выбрал момент, когда на стройке нашего дома было много народу, да еще попросил Яшку подъехать на своем мотоцикле, чтобы продемонстрировать, какой я классный водитель. Короче, я, что называется, припер отца к стенке. И папа, хоть и ненавидел торги и тем более шантаж, будучи не в состоянии выбраться из психологического коллапса, куда я его загнал запрещенными приемами, да еще под давлением общественного мнения, вынужден был уступить. Я тоже понимал все трудности старта на этом мотоцикле, поэтому несколько раз проимитировал необходимую процедуру на холодной машине. Понимал я также и то, что никто не будет поддерживать мне штаны, коль скоро я – "классный водитель". Имитация имитацией, но необъезженный конь есть необъезженный конь. Как только я отпустил муфту (слишком резко), мотоцикл буквально рванул из-под меня, так что я чудом лихорадочно успел оттолкнуться от земли правой ногой и взгромоздиться на сиденье. Но это еще полбеды. Пока я справлялся с первой проблемой, правая рука забыла о синхронизации ручки "газа", вследствие чего мотоцикл получил дополнительный импульс и рывком увеличил скорость. Я ощущал машину как беспощадного, враждебного мне зверя. До сих пор не могу понять, как мне удалось при таком изобилии неправильных действий укротить это строптивое чудовище. Потом всё пошло как по маслу, и папа уже никогда не отказывал мне: ну раз я прошел такое нешуточное испытание.

Вернемся к строительству. После того как были построены клуб и наш дом, строения стали расти, как грибы. Строились общежитие, детский садик, дома для молодоженов и перестраивались (а чаще всего строились заново) мазанки аборигенов. Проектную и сметную доку-

ментацию делал папа, и он же осуществлял руководство строительством. За строительство для колхоза папа, наверно, получал какие-то деньги, а вот для односельчан строил бесплатно. Он говорил: “Я не могу брать деньги за удовольствие”.

Отец в совершенстве владел всеми строительными профессиями: каменная! и кирпичная кладка, кладка печей, плотницкие, столярные и слесарные работы, работы с металлическим листом и прочее. Особенно любил работать с деревом, в частности, с буком. Вся мебель в доме была изготовлена его руками: шкафы, буфеты, этажерки, столы, табуретки. Делал мебель и односельчанам, но только бесплатно и *лучше*, чем для себя. Кое-что (плотницкое и столярное дело, кирпичную кладку и пр.) и я перенял от него, и, конечно, в жизни мне это ох как пригодилось.

Столярному делу папа учил и учеников. На уроках труда мы делали ручки для молотков, топоров, стамесок, табуретки, школьные скамейки, рубанки, фуганки, продольные пилы, лыжи, ремонтировали школьную мебель. Делали и эксклюзивные вещи, например, разборные одно- и двухэтажные дома в уменьшенном масштабе; с застекленными окнами, с межкомнатными перегородками, с открывающимися дверьми, с электрическим освещением. Это были впечатляющие изделия. Как-то раз повезли эти красивые домики на районный смотр-конкурс, и их, конечно же, “конфисковали” – было очень жалко.

Оглядываясь назад, я вижу и понимаю, что папа мой был большим ребенком и большим романтиком, несмотря на свою кажущуюся внешнюю строгость. Может, он поневоле свыкся с этим державным образом, как-никак он был бессменным завучем, и на нем держалось все школьное хозяйство? Скорее всего – нет. Ведь папа по природе своей был очень спокойным, естественным, органичным человеком; в нем ни на гран не было фальши, искусственности, театральности.

Это в жизни. А на сцене папа преображался, мог вжиться в любую роль, воплотиться в любого персонажа. Кроме того, он был режиссером спектаклей (у нас говорили – постановок), в которых участвовали не только школьники, но и сельчане и которые мы регулярно ставили на клубной сцене. Тематика спектаклей была самая разнообразная, но обязательно злободневная, юмористическая и потому интересная: пьесы из колхозной жизни, из украинского фольклора, иногда пьесы маминого сочинения и даже американских авторов, отражающих негритянскую дискриминацию. В одной из таких мне досталась роль негритянского мальчика Джона, а папа играл главную роль отца Джона. Успех, как говорится, был потрясающий, хотя в нашей сценарной борьбе за права негров мы на колени не становились.

Папа был спортивен, строен, всегда подтянут. И строгость, конечно, тоже была, но прежде всего – внутренняя, естественная, сродни смирению. Я теперь точно знаю и чувствую, что папа по сути своей был настоящим христианином с чистым и ясным умом, не способным и не идущим ни на какие соглашения и ни на какие сделки с совестью. Так, он не вступил в партию, хотя все учителя (кроме мамы) были партийными. Он долго не соглашался формально стать христианином, т. е. креститься, пока досконально не разобрался и, главное, сердцем не принял все христианские догмы и постулаты. Наконец, он не хаял огульно Сталина, когда это было повсеместно принято. Ему импонировали такие его личные и общественные качества, как твердость и решительность, борьба с воровством и коррупцией, порядок и дисциплина, аскетический (хотя бы только внешне) образ жизни и пр. И напротив, ругал Брежнева за противоположные свойства и, кроме того, попустительство и бесхозяйственность, приведшие в итоге к краху системы и развалу страны.

А ведь папа пострадал от сталинских репрессий не меньше других. Известно, что власти, как только очухались после начала войны, депортировали немцев в Сибирь и Среднюю Азию, причем женщин и детей на спецпоселение в названные районы, а мужчин и юношей – в так называемую трудармию (читай – концлагерь) на уральские рудники. Депортации не избежали и другие народности Советского Союза (крымские татары, чеченцы, ингуши и др.), но такому

иезуитскому наказанию подверглись только немцы. Причем всех спецпоселенцев после смерти Сталина вернули на их прежние места жительства, а немцев – нет. Содержали их в этих трудовармиях хуже, чем военнопленных, никаких прав они не имели. В трудовармии папа заболел туберкулезом, и его, еще живого, бросили в морг. Отца случайно спас врач-немец: обнаружил его при больничном обходе. Он отпоил его барсучьим жиром и буквально вытащил с того света.

После выздоровления, как оказалось, не окончательного, папу комиссовали по причине профнепригодности (мама говорит, что он был, как доходяга: кожа да кости), и он вернулся к родным. Его взяли в Вишневскую среднюю школу, т. к. катастрофически не хватало учителей немецкого языка. До папы немецкий, наряду с русским и литературой, преподавала мама, не знавшая ни слова по-немецки. Физически папа восстановился благодаря природному здоровью и наработанной в студенческие годы спортивной форме: имел первый разряд по легкой атлетике. Кроме того, он занимался парашютным спортом, мечтал стать летчиком и даже подал документы в летное училище накануне войны. Но вместо летного училища загремел на рудники. Самое удивительное то, что папа никогда не сетовал и не отзывался негативно об этом тяжелом периоде своей жизни.

От туберкулеза полностью он так и не избавился и, сколько я помню, принимал желтые таблетки (кажется, фтивазид). И у меня в детстве обнаружили пятна на легких, и я принимал желтые таблетки. Но у меня с возрастом это прошло, а у папы нет. Одно легкое у него постепенно угасало, что, вероятно, и явилось причиной обширного инфаркта в 1991 году. О том, что одно легкое не работает, папа узнал только в Германии, куда они с мамой переселились в конце 1994 года. Немецкие врачи удивлялись, как он смог дожить на одном легком до такого возраста (72 года)? Тем не менее они продержали его в течение девяти лет в сносном состоянии: каждый год клали на профилактику, выкачивали жидкость из легких и пр.

Но и в период эмиграции ему часто было очень тяжело. Одно время, года два или три, он практически был прикован к постели, надрывно кашлял, отхаркивал накапливающуюся в легких слизь в стоящее рядом ведро и смиренно ждал смерти. Он мне об этом так прямо и говорил, когда я навещал их с мамой в Германии. И ни единого стога, ни единой жалобы. Иногда папа, преодолевая боль, вставал и шел вместе со мной, с остановками на отдых, в больничный сад, где мы собирали отборные зимние яблоки. Это он для меня старался, чтобы я мог взять их с собой в Чебоксары. Бог отблагодарил папу за смирение, терпение, стойкость. В последние годы жизни он как-то неожиданно для всех преодолел все недуги и болячки, встал на ноги и даже завел кроликов, смастерил клетки для них и ухаживал за этими беспокойными, пугливыми, красноглазыми зверьками.

Подводя итог пройденному папой жизненному пути, я спрашиваю себя, что же было главное в нем? Честность, смирение и естественность. И это было источником его спокойствия, уравновешенности, оптимизма, позитивного настроения и внутренней свободы. Несмотря на кажущуюся строгость, в душе его всегда жила улыбка, выбирающаяся иногда наружу и обнаруживающая себя в уголках губ и в каком-то теплом, заговорщицком прищуре глаз. Внутренне он всегда оставался ребенком. Эти качества в полной мере проявились у него в общении с внуками.

Со мной папа использовал более жесткую модель воспитания. Между нами существовала какая-то невидимая грань, какой-то необязательный интервал. Мы оба не пытались преодолеть эту дистанцию. Я – потому что она мне не мешала и ни в чем не ущемляла. Я знал, что папа любит меня, гордится мной, и что я всегда под его сильным и надежным крылом. Он – вероятно, потому, что такова традиционная модель воспитания в немецкой семье. Кстати, казаки придерживались той же методики воспитания. И, доложу я вам, методика эта – далеко не самая худшая, по крайней мере, лучше сюсюканья и излишней опеки, что сейчас повсеместно культивируется в современных семьях.

Я называл папу на "вы", а маму на "ты". Мама вообще позволяла обращаться с ней, как с равной, и я, не обладая еще ни мозгами, ни элементами этики, будучи не в состоянии преодолеть гравитацию, стоя на наклонной плоскости, позволял себе иногда недопустимо грубое отношение к самому близкому человеку. Папа, если оказывался свидетелем такого, мягко говоря, безобразия, крайне недовольно сдвигал брови – и этого было достаточно. Именно он сформировал в моем сознании почтительное и трепетное отношение к слабой половине человечества. Когда я вышел в люди, т. е. покинул отчий дом для продолжения образования, мама стала моим единственным товарищем и корреспондентом, которому можно и нужно было доверить самые сокровенные мысли и чувства, блуждающие в тайниках неокрепшей души.

Однако вернемся к папе, к его служебной ипостаси. Менялись директора школы, а он оставался на своем посту завуча. Скипетром власти, внешним атрибутом ее служила огромная связка ключей, с которыми связана масса историй, ставших, что называется, притчей во языцех. Вот, например, одна из них. Сидим мы на уроке немецкого погруженные в только что выданное задание. Папа сидит за столом, тоже во что-то погруженный. Тишина гробовая. И вдруг, как гром среди ясного неба, – перезвончатый удар. Вздвогнув от неожиданности, видим: в углу возле книжного шкафа, далеко за папиной спиной, – связка ключей и рядом убитая мышь. Папа выстрелил, как из катапульты, даже не шелохнувшись. Вот что значит "Ворошиловский стрелок". Да, эта знаменитая связка ключей, этот уникальный музыкальный инструмент... Она имела свой голос, свой характер, свой настрой, хорошо перенимала эмоциональное состояние своего хозяина и транслировала малейшие нюансы, все оттенки этого состояния ученикам.

Папа вообще был очень музыкальным человеком. Будучи студентом Запорожского педучилища, он играл в оркестре на трубе – высший пилотаж! Я видел у папы фотографию, где он – с оркестром и со своей трубой. Сколько я помню, папа всегда что-то напевал.

А вот у меня со слухом было неважно. Несколько лет под папиным началом работала бригада сезонных строителей. Среди них был гармонист (кажется, его звали Виктор) – молодой веселый парень с кудрявым чубом и со шрамом во всю щеку. Он жил в общежитии, но часто в свободное от работы время пропадал у нас вместе с гармошкой. По вечерам играл в клубе на танцах. И как играл! – заслушаешься. Особенно завораживающе звучали вальсы. "И, как утешенье, – старинные вальсы, что страх укрощают в душе" (Г. Горбовский). Я как-то набрался смелости и попросил его научить меня хотя бы одному вальсу. А он и говорит: "Бери и подбирай на слух. Меня никто не учил, я сам подбираю на слух". И оставил мне гармошку. Воодушевленный такой оптимистической преамбулой, я схватился за таинственный инструмент и стал подбирать то ли "Амурские волны", то ли "На сопках Манчжурии". Тык-мык – не звучит. После долгого мучения вырулил-таки на вожаемую мелодию и, счастливый по уши, вздохнул наяривая. С нетерпением жду Виктора – похвастаться. Приходит судия, прослушивает и выносит приговор: "Ты ж неправильно играешь! Ты что, не слышишь?!" В итоге он несколько раз показал, как надо. Я кое-как запомнил, выучил и приступил к следующему вальсу. С ним повторилась та же история. Задача оказалось трудной, но желание было столь велико, а правильно звучащая музыка столь красивой и волнующей, что я, несмотря на отсутствие слуха, не отчаялся и не бросил это нелегкое дело.

Мое упорство (или упрямство) было вознаграждено: через год, когда я поступил в 8-й класс Вишневской средней школы, папа купил мне баян, и я стал заниматься в кружке баянистов при Доме пионеров. Учитель музыки, З. Василий Иванович, остался в памяти как добрый, спокойный, терпеливый человек, ни разу не повысивший голос.

А еще через два года в Караганде музыкально образовывать меня продолжил преподаватель Карагандинского музучилища. Будучи баянистом-виртуозом, он готовил меня на второй курс этого училища. И хотя мне не суждено было вступить в означенный музыкальный храм,

вся моя сознательная жизнь по сию пору связана с этим волшебным видом искусства, правда, несколько иного свойства.

Но цель моего паломничества в славный город шахтеров была совершенно иная: я решил осуществить папину мечту стать летчиком. В Караганде был неплохой аэроклуб, который к тому же был поставщиком курсантов в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков-истребителей. Но это совсем другая история, и о ней еще будет время поговорить.

Однако мы увлеклись и пора вернуться к папиным романтическим делам. Как-то с учениками он построил сначала катамаран, потом довольно большую дюралевую лодку и ходил на них в многодневные походы по реке Ишим: забрасывались на грузовике вверх по течению и затем сплавлялись. К сожалению, это было без меня, я тогда уже был студентом и летом то пропадал на аэродроме, то сплавлял плоты по Каме. Но суда я видел и очень впечатлился ими. Так что папа стал водным туристом значительно раньше меня.

1 сентября 1959 года (мой 6-й класс) на торжественной линейке я заметил в 5-м классе незнакомую симпатичную девчонку. Звали ее Светлана Л. У Светланы, как и у меня, отец – немец, мама – русская, и родители ее также были учителями, но – в Михайловской семилетней школе, откуда и явилась Светлана. Для меня до сих пор остается загадкой, почему родители сослали дочь свою к нам, в Волгодоновку. Ведь село Михайловка было больше нашего по размерам, по числу жителей и значительнее, солиднее по содержанию. Там, например, располагалась машинотракторная станция (МТС), где был сосредоточен весь технический парк района и откуда по разнарядке техника ежедневно направлялась в колхозы и совхозы района. Разумеется, это было неудобно, и вскоре МТСы упразднили.

Кроме технических преимуществ, Михайловка имела и географические: располагалась значительно ближе к райцентру и, следовательно, значительно сильнее ощущала дыхание культуры и цивилизации. Было и еще одно преимущество, подозреваю, что оно и явилось причиной Светиной ссылки, но об этом в свое время. Как бы там ни было, но эта симпатичная, оригинальная, не похожая ни на кого девочка прибыла именно к нам, пополнила ряды именно нашей школы. Нет нужды говорить, что я влюбился с первого взгляда. Жила она у своей тети, маминой сестры.

...И началась у нас в школе совсем другая жизнь. Светлана оказалась интересной, бойкой девчонкой, с ярко выраженными лидерскими качествами. Она вполне могла сойти за мальчишку, если бы не была столь привлекательной. Надо сказать, что Светлана попала в выдающийся класс, где было немало интересных, симпатичных девчат: были и задорные, и заводные, и задумчивые, и начитанные. Но в Светлане было еще что-то такое, что трудно выразить словами. К ней, как к магниту, потянулись многие. Мы чуть ли не каждый вечер собирались в школе, готовили номера художественной самодеятельности, играли в разные игры, которые Светлана то ли сама придумывала, то ли доставала из своей волшебной шкатулки, и, главное, разучивали и распевали привезенные ею блатные песни, дотоле невиданные и неслыханные. В них открывался совершенно неведомый романтический мир, воспевались доблесть и честь, звучал мотив любви и свободы, гулял ветер дальних странствий, звенели шпаги и ножи, пенилось пиво и лилась кровь, свершалось справедливое возмездие. Это были особые песни, простые и искренние, которых жаждала уставшая от чрезмерной серьезности и истосковавшаяся по чему-то чистому, высокому и героическому душа и которые были, есть и будут у всех народов и во все времена. Не случайно они имеют такой широкий географический охват и такое разнообразие бередящих душу сюжетов. Тут и японка, не устающая ждать русского капитана, и драка французских и английских моряков, и душераздирающая история с испанцем Джоном Грэем, носившим почему-то английское имя? Но в таком жанре, очевидно, всё возможно. И на Руси они всегда пелись, да мы до поры их не слышали и не знали.

Через два года, когда я продолжал образование в Вишневской средней школе, я понял, откуда эти песни, кто является их основным носителем и распространителем. Недалеко от

Вишневки, на противоположном берегу Ишима (как раз в сторону Михайловки), был "закрытый" рудник, где работали зеки, добывали какой-то стратегический металл. Зеков надо охранять, значит, нужны военные. Там и стояла часть. В нашем классе учились два пацана: Володя Е. и Володя Т. – сыновья офицеров из этой части. Е. был стилигаой, носил узкие брюки трубочкой и светлые волосы ёжиком. А вот Вовка Т. обладал более ценными талантами: был рыж и веснушчат, из-под его прически "аля Гитлер" смело смотрели познавшие жизнь глаза, в которых постоянно блуждали озорные искры. Он косил под блатного, ходил шаркающей походкой и почти открыто распевал блатные песенки, в том числе с порнографическими картинками и русским фольклором. Он знал их уйму, исполнял мастерски и совершенно естественно, как будто то, о чем он пел, происходило с ним самим. Само собой, я жадно накинусь на Т. и за два года учебы в Вишневке значительно пополнил свой романтический арсенал. Позже, в Казани, с головой уйдя в мир самодеятельной песни, я увидел много общего у этих двух жанров. Недаром все уважающие себя барды имеют в своем репертуаре блатные песни (Визбор, Окуджава и особенно Розенбаум и Высоцкий, последние вообще начинали с блатных).

...Близость "зоны" к Михайловке и, вследствие этого, ее культурологическое влияние на подрастающее поколение и, наоборот, значительная удаленность Волгоновки от этого мощного родника русской фольклорной песни и является главным преимуществом одного села перед другим. Смею предположить, что у родителей Светланы был другой взгляд и другое отношение к такому уникальному культурному пласту, как блатная песня, и они отправили нашу героиню куда подальше, чтоб избавить от дурных влияний. А может, наоборот, с целью распространения и популяризации редкостного жанра. Но мы, не оперившиеся еще птенцы, хватали все на лету и, безусловно, были на вершине блаженства.

Я, наверное, так и не осмелился бы признаться Светлане в любви, просто не знал, как это сделать, да и не уверен был в ответных чувствах, если бы она сама не сделала первый шаг. Она через кого-то передала мне записку следующего содержания: "Ты мне нравишься. Давай дружить". Предложение дружбы означало признание в любви. Я был на седьмом небе. Много раз перечитывал перевернувшее все во мне послание и слышал ее голос. Началась фантастически счастливая полоса в моей молодой жизни, полеты во сне и наяву. Все продолжалось как обычно, наш тесный круг собирался и функционировал по-прежнему, но теперь все знали, что я и Светлана – одно. Мне и в голову не могло прийти, что надо мной сгущаются тучи, что мне собираются подрезать крылья. Что-то такое витало в воздухе: ребята намекали мне, что вокруг нас со Светланой идет какая-то мышиная возня; но я был слеп и глух.

В один прекрасный зимний вечер я шел из кино домой и вдруг услышал топот за спиной. Каким-то шестым чувством я понял, что это по мою душу, но не обернулся: тренировал волю, наверно. Некто налетел на меня и, используя накопленную кинетическую энергию, сбил с ног. Надо признаться, что драться я не умел и не любил ("бить человека по лицу я с детства не могу"), но от опасностей не бегал и достоинство свое старался не ронять. Делом чести было разобраться в инциденте. Я вскочил и побежал за быстро удаляющейся фигурой в сторону клуба. Ночь была – хоть глаз выколи. Ребята, находящиеся возле клуба, сказали, что это Сергей Б.

Злоумышленник был идентифицирован, и этого пока было достаточно, я побрел домой. Во мне все клокотало, больше, наверное, оттого, что налет на меня исподтишка был актом подлости и низости. Я видел, что Сергей на Светлану неровно дышит, но такого подлого нападения не ожидал. Этот герой, будучи выше и крупнее меня, был далеко не храброго десятка. Но каково было мое удивление, когда в ответ на требование сатисфакции на следующий день он жалко пролепетал, что меня заказал мой лучший друг и боевой командир Иван Г. Иван извинялся, оправдывался, но дружба наша развалилась. Эта история закрепила мои позиции в глазах Светланы, но я бы предпочел, чтобы она вовсе не имела ни места, ни времени. В течение этого и следующего года больше никто не пытался перейти нам со Светланой дорогу.

...Она ушла сама. "Ушла... Завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной..." (Н. Гумилев). Причем ничто не предвещало разлуки. Вот как это было. В конце седьмого класса мы, как обычно, поехали в райцентр на комбинированный смотр-конкурс (спартакиада, художественная самодеятельность и пр.), который проходил два-три дня. Был теплый майский вечер. Мы гуляли в замечательном Вишневском парке. Вдруг, как молния, пронеслась весть: мой друг и одноклассник Григорий С. изменил своей невесте Люсе С., с которой дружил много лет, и встречается со Светланой. Это была трагедия. Переживал не только наш близкий круг, но и другие ребята. Люся, вся в слезах, бросилась ко мне на шею и буквально рыдала. Я впервые видел ее такой. Всегда сдержанная, ироничная, созерцательная, самая начитанная в школе, она была еще и на редкость красива. Я держал ее в объятиях и испытывал неожиданно блаженное состояние. Вот те раз, подумал я, что же это такое?! Когда и как в мой щедушный организм без моего ведома забралось это запретное чувство и в каких тайниках моего существа хранилось? Ведь Люся – невеста моего друга. Забыв о своем горе, я, как мог, утешал ее и, думаю, был искренен и верил в то, что говорил: мол, это случайность, все пройдет, все вернется на круги своя.

Не вернулось. Лето я провел в переживаниях, которые несколько приглушила работа на сенокосе в той же самой, вовсе не расположенной к унынию компании братьев С. С Гришкой все лето не встречался и не разговаривал, но как бы ни было мне кисло, я признавал за ним преимущества: высок, красив, силен, надежен. А к новому учебному году как-то все перегорело, улеглось. Ну что тут поделаешь, такова была Светлана: она была свободной и сама выбирала, что ей нужно, и на этот раз инициатива принадлежала ей. А мы с Гришкой отправились в Вишневку в восьмой класс, и дружба наша не претерпела урону. Каждые выходные мы приезжали домой в родное село, ходили на танцы, я играл на баяне и спокойно, может быть, даже с удовольствием смотрел, как Григорий со Светланой танцуют твист. После окончания Волго-доновской семилетней школы Света продолжила учебу в Целинограде, а я уехал в Караганду и не встречал ее боле.

И вот на первом курсе Казанского авиационного института я неожиданно получаю письмо от Светланы, в котором она предлагает возобновить дружбу. Не скрою, что-то всколыхнулось и заходило волнами в моем организме. Мы переписывались, письма были теплые с обеих сторон. Я был несколько сдержан, старался не расплескать "капли датского короля" из наспех склеенного сосуда и надеялся, что чувства наши воскреснут и постепенно окрепнут. Но вскоре я понял, что что-то главное все же утеряно, что драгоценные капли ускользают из плохо склеенного бокала. Врать не хотелось, но и признаться в своей нелюбви не было сил. Да и как в письме объяснишь, что внутри ничего (неужели-таки ничего?) не осталось и не за что зацепиться. Решил дожидаться каникул, чтобы при встрече, прямо и "честно" глядя в глаза, постараться найти какие-то необходимые слова.

Летом произошла эта горькая встреча. Я повез Светлану на мотоцикле за какие-то речные повороты, за какие-то сопки, в какие-то неведомые дали, как будто бежал от чего-то. И наконец встряхнулся, остановил этот бессмысленный бег, инсценировав поломку мотоцикла. Мы шли пешком, я вел злосчастный мотоцикл, который ни в чем не был виноват, и малодушно лепетал, что она – красивая, классная, что я ее недостоин, и еще какую-то чушь. А она шла рядом и молчала. И все сникала, сникала... И было так жалко ее и так тошно... Лучше бы она обругала меня последними словами, ударила по физиономии – всё легче было бы... Потом я не раз вспоминал Светлану и думал, что, может быть, зря оттолкнул ее. Больше мы не встречались, и я никогда не интересовался, где она и что...

Что читали и как учились... Читали до обидного мало, практически – ничего. Странно, что в нашем учительском доме почти не было художественных книжек. Несколько сборников русских народных сказок, "Всадник без головы" Майн Рида и "Город Солнца" Кампанеллы. Больше не помню. Позже мама говорила, что в школьные годы перечитала всю зарубежную

классику, не говоря о русской. Она также говорила, что хотела стать журналистом, но накануне войны не хватало учителей и ее, отличницу учебы, оставили в школе учителем русского языка и литературы. Потом, после войны, два или три года училась в заочном пединституте, но не закончила. Мама всегда что-то сочиняла: стихи, пьесы. Она показывала мне написанные ею на газетных листах, между строк, сочинения – не хватало бумаги во время войны. Потом был многолетний перерыв в писательском творчестве. В 90-х годах, имея за плечами солидный пенсионный и атеистический стаж, мама неожиданно уверовала в Господа, как говорят баптисты, приняла в сердце Иисуса Христа, и из нее прямо-таки фонтаном брызнули стихотворения и поэмы на религиозные темы. Были и вполне приличные. Регулярно печаталась в христианских изданиях в Германии.

Папа же имел солидное по тем временам педагогическое образование – Запорожское педучилище. Во второй половине 50-х годов, после окончания строительного техникума, он поступил в Алма-Атинский иняз, но – не доучился. Два раза в год нужно было ездить на сессию, как мальчишке, испытывать стрессы при сдаче экзаменов и прочие неудобства. Папа все делал осмысленно. Он говорил, зачем мне английский, который я никогда не буду преподавать. И вместе с тем он шутил по поводу того же английского (со слов преподавателя): чтобы научиться говорить на этом языке, нужно перекачивать во рту горячую картошку. Картошку-то он перекачивал, но язык не поддавался освоению. Пришлось бросить обучение, и не истязать себя и картошку. К тому же у него было любимое дело, которое влекло его, – строительство.

Насколько я помню, родители художественных книг не читали. Не помню также, чтобы они читали мне что-то в детстве. То ли некогда было, то ли не выработали привычку. Они с утра до вечера пропадали в школе, по вечерам проверяли тетради. Вижу их сидящими за столом и что-то мирно обсуждающими. Чувствовалось, что работу свою они любят.

Сказки я перечитал в младших классах, и, надо сказать, для меня это был хоть и сказочный, но реальный и волнующий мир, который оставил глубокий след в моей впечатлительной душе. Майн Рида и Кампанеллу прочитал в старших. Особенно сильное впечатление произвел на меня "Город Солнца". Для меня то, что происходило в этом городе, не было утопией, а было вполне реальным, естественным, осуществимым и желанным образом жизни. Я был уверен, что только так и нужно жить – и никак иначе. И в дальнейшем эти идеи в какой-то степени владели мной.

Я совершенно не помню, что мы проходили по литературе в старших классах, что читали по программе, а может, такое чтиво и вовсе не предусматривалось? А ведь в 6-м и 7-м классах русский и литературу вели профессионалы с высшим педагогическим образованием: в 6-м – Таиса Григорьевна из Москвы, в 7-м – Ольга Константиновна из Свердловска. И девушки были интересные, симпатичные, неординарные, одним словом, – пришельцы из других миров. Таиса Григорьевна к тому же – боевая, с огоньком, отчаянно гоняла на мотоцикле. Ольга Константиновна – задумчивая, мечтательная и... очень красивая. Их уроков ждали, несмотря на то что они были строги и спуску нам не давали, да и стыдно было мямлить у доски перед представительницами прекрасного пола возрастом ненамного старше нас.

Русский язык был моим любимым предметом. Мне нравились стройные правила и четкие определения – я до сих пор их помню. Именно здесь были заложены основы грамотности, которая доныне ассоциируется у меня с санитарно-гигиеническим состоянием, так же, кстати, как и нравственность.

Другим любимым предметом была математика, в которой я вижу много общего с русским языком: стройность математических систем, четкость правил и определений, неумолимая логика доказательств теорем.

Во что мы одевались... Обязательной школьной формы тогда, конечно, не было, но на нескольких человечках и на мне в том числе то ли со 2-го, то ли с 3-го класса красовалась мышиного цвета форма с блестящей, как у солдат, бляхой и даже военного образца фуражка

с кокардой. Помню, носил ее с удовольствием и даже гордился ею. Но мы по сути своей были неформалы и в старших классах все же отказались от псевдвоенного обмундирования. Тем не менее одевались просто, неброско. Стильная одежда, главным призванием и назначением которой был эпатаж, стремление отличиться, выделиться, накрыла нас за стенами нашей скромной семилетней школы.

До 5-го класса почему-то всех стригли наголо, но нам ничего иного не оставалось, как набраться терпения в ожидании лучших времен. Верхняя одежда: зимой – пальто с меховым воротником и шапка-ушанка, в неурочное время – фуфайка. Демисезонной одежды не помню. Первый цивильный костюм мне справили в 7-м классе. Обувь: зимой – валенки, весной и осенью в ненастье в младших классах – нелюбимые резиновые сапоги, в старших – вожделенные кирзовые, в сухую погоду – черные ботинки. Здесь нужно пояснить, почему мы не любили резиновые сапоги. А всего-навсего потому, что детские резиновые сапоги наши отлиты были не по форме взрослых мужских, а по модели женских, и нам казалось, что ходим мы в "девчачьих" сапогах, что, согласитесь, было унинительно. А в пользу кирзовых говорить нечего, ибо это была прославленная в военных походах обувь советских солдат.

Школьные принадлежности в младших классах носили в специально сшитых сумках с ляжкой через плечо (портфели были не у всех). Чернильницы-непроливайки и сменную обувь (только в грязь) транспортировали в других сумках с затягивающимся горлом. В старших классах уже у всех, конечно, были портфели.

Летом, как я уже свидетельствовал, одежда была простой и непритязательной до минимализма – трусы, а обувь – не обременительной, не имеющей срока давности и межремонтного ресурса. Название ее – "босиком". Впрочем, на излете нашей Волгодоновской школьной жизни физически необременительная одежда стала обременять нематериальную субстанцию – сознание. К тому же весьма ощутимым стало дыхание цивилизации, и хоть до узких брюк мы еще не доросли, но стильные ботинки на толстой подошве, стилизованной под манную кашу, уже заковали наши свободолюбивые босые ноги. А как вольготно и тепло было зимой в валенках.

Что ели... Никаких буфетов в нашей школе в то время не было. Сухие пайки с собой в школу не брали. Завтракали вместе с родителями. Кусочек колбасы собственного производства, реже деликатесы: окорок или сальтисон – свиное мясо, промолотое в желудковую оболочку вместе со свиной кожей, и так называемый кофе – молотое жженое пшеничное зерно (по-немецки – препс). Бутерброды намазывали не маслом, а смальцем (если обратить внимание на слово "бутерброд" – нонсенс).

Зимой корова давала молока мало, его едва хватало на импровизированный кофе, а перед отелом, ближе к весне, и вовсе прекращала доиться. После отела молока было вдоволь, но масло ели редко, а в приготовлении пищи вообще не использовали, так же, как и растительное. Подсолнечное масло использовали как деликатес, макали в него, круто посоленное, хлеб, картошку, иногда им заправляли овощные салаты. Масло, и коровье, и растительное, заменял смалец; на нем жарили-парили-тушили – картошку-рыбу-мясо и прочее...

Коровье масло в основном сдавали государству. Этот продукт сбивали на самодельных маслобойках, сконструированных и изготовленных папой. У нас было два варианта конструкций: мельница и поршневого типа. Но сначала молоко пропускали через сепаратор – довольно сложный агрегат, в котором использовался центробежный принцип: легкие сливки оставались ближе к центру вращения и стекали по одному желобу, а более тяжелая фракция – "обрат" отбрасывалась на периферию и стекала по-другому. Во вращение сепаратор приводился ручкой. Скислое сливками, сметаной, заряжалась маслобойка. Эти волшебные процессы превращения одной фракции молока в другую и затем – в третью были исключительно моей прерогативой. Из закисшего обрата делали творог (в магазинах он называется "обезжиренный"), но творогом этот продукт мы никогда не называли. У нас его величали сыром; говорили, напри-

мер: "вареники с сыром". А настоящий сыр я попробовал только в студенческие годы, и, надо сказать, он мне крайне не понравился.

Одно время сдавали не масло, а молоко, которое увозили в райцентр на молокозавод, превращали в масло, консервировали креолином и благополучно возвращали на круги своя за немалые деньги (наверное, компенсировали стоимость креолина). Масло было с неприятным привкусом, зато фабричное. Однажды креолина переборщили, и масло пришлось выбросить: даже свиньи отказались есть.

Вынуждены были также сдавать годовалых телят и свиней на мясо – живым весом. С освоением целины свиней вроде перестали экспроприировать, а бычков принимали у крестьянского населения еще долго. До середины 50-х годов сдавали также яйца и птицу.

Одно время наша семья держала овец, но недолго, года два или три. Сдавать овец государство не обязывало сельских жителей, а успехом у родителей (да и у других немцев) баранина, как видно, не пользовалась. Лично я баранину уважал и поесть ее вволю мог только у дяди Отто, который держал этих библейских животных постоянно.

Количество крупных животных в личном хозяйстве регламентировалось: одна корова (одно время Хрущев разрешил эксплуатировать двух, но быстро одумался) и две-три свиньи. Количество другой живности регламентировали время и корма: первого всегда не хватало, а второе не всегда было просто добыть.

Впрочем, птицы разных калибров у всех было вдоволь – сколько вырастишь. Диетическое птичье мясо, всеми любимое и предпочитаемое, ели в осенние месяцы. Варились благовонные куриные супы, неповторимый аромат которых уносился далеко за пределы села, жарились гуси, утки, у некоторых – индюки (мы не держали). Несколько тушек уток и гусей с наступлением холодов замораживали. Одно- или двухгодовалого бычка резали в декабре-январе, как правило, на две семьи. Одну свинью приговаривали с наступлением морозов (в ноябре), другую – в феврале-марте. Немцы вообще предпочитали свинину любому другому мясу, так как из нее можно было сделать массу вкусных продуктов и даже деликатесы.

Закалывание свиньи и следующее за этим производство мясных изделий у немцев – это специальный ритуал, подчиненный строгому иерархическому распорядку и регламенту, с скрупулезной расстановкой участников ритуала по местам в соответствии со специализацией, с точным расписанием технологических операций. Название этого действия – "резать (колоть) свинью" или Schweinfest – свинячий праздник. У нас сформировалась специальная бригада: Альберт и Алиса Розенфельды, Поль Роберт и Фрида, Кох Отто и Ида, папа с мамой и баба Кохша – итого девять человек.

Накануне, с вечера, папа доставал из потайного места комплект специальных ножей разных калибров (7 – 10 штук), выкованных колхозным кузнецом дядей Альбертом Розенфельдом из тракторных клапанов и ножовочных полотен, и правил их на кожаном ремне, как опасную бритву. Среди них был самый главный и самый большой обоюдоострый с острым концом нож, с помощью которого закалывалась свинья. Готовилось несколько мясорубок с многочисленными насадками для изготовления колбас (не меньше 5-ти сортов) и сальтисонов; большие семилитровые чайники для окатывания туши кипятком; большие десятилитровые и огромные трехведерные алюминиевые кастрюли. Мясорубки, как и ножи, использовались только в этих исключительных случаях. В специальных бочках приготавливались рассолы для засолки окороков и сала. Этим эксклюзивным ремеслом занимались дядя Альберт и дядя Роберт. Они же закалывали свинью. Папа также готовил деревянные приспособления и веревки для подвешивания туши. И т. д. и т. п. Свинью сутки до экзекуции не кормили.

К пяти утра все были в сборе. Но мы, хозяева, вставали гораздо раньше. Папа затапливал обе печи: на кухне и в сенцах, мама кипятила уйму воды, я был на подхвате. Кто-нибудь из женщин тоже приходил пораньше и помогал маме. Папа еще раз проверял, чтобы все необходимое было на месте. И ровно в пять комбинат начинал работу. Командовал парадом неиз-

менно дядя Альберт. Делал он все легко и весело, с шутками и прибаутками, что-нибудь скажет и весело, заговорщицки подмигнет, улыбка никогда не сходила с его озорного лица. Свиныю кололи непосредственно в ее загоне, потом с помощью приспособлений подвешивали за задние ноги к потолку. Первая технологическая операция была выполнена и обязательно отмечалась специальной металлической пятидесятиграммовой стопкой водки по кругу, тут же – в пригоне, и только мужики.

Потом с висящей вниз головой туши ножами соскабливали щетину, постоянно поливая ее крутым кипятком из чайников (кипятки носили женщины) одновременно с обеих сторон. В более поздние годы тушу сначала до синевы обжигали паяльной лампой, а затем скоблили, поливая кипятком, ножами. Завершалась эта ответственная гигиеническая процедура второй стопкой по кругу. Следующая операция: разделка туши (мужики) и промывка кишок и желудка (женщины). В процессе разделки изнутри вырезалось особо нежное мясо, которое почему-то называлось "шашлыком" и предназначалось для приготовления завтрака.

На этом заканчивался первый (назовем его – пригонный) этап и где-то в районе 8-ми часов утра мужики с чувством исполненного долга отправлялись на завтрак, где воссоединялись с женской бригадой и где их ждал дымящийся шашлык. Выпивалась всеми индивидуальная рюмка водки (мама пила вино), и на питье веселых напитков налагался запрет до обеда. Дальше начинала работать фабрика. Каждый был на своем месте и знал, что надо делать. Но прежде весьма любопытно взглянуть на исходную картину, напоминающую знаменитые натюрморты фламандских живописцев. На столах в определенном порядке лежали большие куски освежеванного мяса, в боевой готовности находились мясорубки с различными насадками, на которые будут нанизываться оболочки будущих колбас, а на одну из них – желудок для сальтисона. На плитах, на кухне и в сенцах, в ожидании стояли алюминиевые кастрюли для вытапливания смальца, варки колбас и сала.

...И пошло-поехало: от кусков мяса отделялось сало (иногда сало снималось на первом этапе с висящей туши), резалось на небольшие кубики и отправлялось в трехведерную кастрюлю для вытапливания. В мясорубках прокручивалось мясо и ливер и поступало в кишечные оболочки. Ливерные и часть мясных колбас вываривались в алюминиевых кастрюлях, а другая часть гирляндами вывешивалась в холодной кладовке в холодном виде. После варки к ним присоединялись остальные, в том числе кровяная. Особо готовился сальтисон – что-то вроде чувашского шартана, но, на мой непритязательный вкус, изысканнее и ароматнее. К сожалению, я не могу предложить гурманам технологию этого деликатеса. Помню, что мясо вместе с небольшим количеством свиной кожи варилось в специальном растворе со специями и затем пропусклось через мясорубку в желудковую оболочку. Часть мяса, предназначенная для борщей, заливалась водой, замораживалась и отправлялась на чердак. Параллельно дядя Альберт с дядей Робертом солили в бочонках сало и окорока. И так далее и тому подобное – всего не вспомнишь и не опишешь... Комбинат заканчивал работу в 8 – 9 часов вечера, и трудовой день, конечно же, увенчивался застольем. Излишне говорить, что всё делалось на подъеме, с вдохновением и хорошим настроением, с непрекращающимися разговорами и неиссякаемыми шутками. Словом, это был настоящий праздник – Schweinfest.

Однако вернемся к дневному рациону. На завтрак, как я уже говорил, – что-нибудь мясное, бутерброд со смальцем и кофе на женой пшенице. Обедал я сначала в гордом одиночестве, потом, когда сестры пошли в школу, – вместе с ними. Я снимал со стоящего на плите чугунок фуфайку и разливал по алюминиевым или эмалированным мискам еще горячий борщ. Лично я съедал его всегда с большим аппетитом (мама называла его "украинский" и готовила мастерски) вприкуску с огромной луковицей. Мясо таким успехом не пользовалось, а когда со временем желтело и приобретало несколько ржавый привкус, вообще становилось обязалошкой; но оставлять что-то в мисках, кроме костей для Тузика, не полагалось. К тому же мы чис-

лили себя членами "общества чистых тарелок", которое учредила мама. Не полагалось также оставлять кусочки хлеба.

Папа с мамой приходили позже, но борщ был все еще горяч. Вечером ели либо жареную картошку с колбасой и соленьями, либо, реже, пшеничную кашу, с молоком и без – кому что нравилось. В воскресные дни меню было разнообразнее: пельмени, супы из птичьего мяса, вечером фирменное немецкое блюдо "шокентильти" – нарезанное полосками бездрожжевое тесто, отваренное с картошкой и заправленное изрядным количеством растопленного смальца с жареным мясом или салом.

...Это зимой. Летом обедами не увлекались, в остальное время суток предпочтение отдавали овощам, рыбе и молоку. Если мне хотелось чего-нибудь необычного, вкусенького, я шел к тете Фриде, которую очень любил, и наслаждался фасолевым или гороховым супом и разнообразной выпечкой: печеньем, пряниками и эксклюзивом с немецким названием "цокаплюц" – раскатанное и уложенное на противне сдобное тесто, посыпанное сверху пропитанной сахаром мукой крошкой.

Пришла пора рассказать подробнее о волгодоновцах: взрослых и не очень... Волгоновку построили в 29 – 30 годах выкорчеванные с донских и волжских земель казаки (мама моя – волжская казачка). А в августе 41-го туда же вышвырнули советских немцев из Луганской области. Казаки и немцы быстро и крепко срослись. Объединила их не только общая беда, но и много общего в менталитете и традициях: честность, порядочность, трудолюбие, немногословность, стойкость, крепкий быт, морально-этические устои (я никогда не слышал, чтобы мужчины при детях и при женщинах матерились), полуспартанское, полупуританское воспитание детей (любой из взрослых мог не только сделать тебе замечание, но и отшлепать по заднице, а отец дома мог еще добавить; правда, это было крайне редко), украинские песни, наконец. А какие ставили спектакли в клубе! В основном юмористические украинские, иногда по маминскому сценарию – она была заштатный поэт и драматург, а папа – режиссер и хормейстер.

Вот в такой атмосфере мы росли и в итоге получили: 1) надежные прививки от подлости, предательства, карьеризма, пресмыкательства, пошлости; 2) стремление к свободе, чувство справедливости, рыцарское отношение к женщине, неумение прятаться в кусты (даже если очень хочется); 3) приоритет духовных ценностей. Последнее – от родителей. Папа с мамой навсегда останутся для меня образцом альтруизма: он с радостью дарил людям изготовленную своими руками мебель, бесплатно строил дома, мама раздавала выращенные ею по науке эксклюзивные сорта помидор разных цветовых оттенков и размеров.

Были у нас и природные артисты на селе, в том числе комедийного жанра, например, дядя Коля К., тетя Таня Б. и другие. От их лицедейства зрители покатывались со смеху.

Еще несколько слов о моем родном дяде Отто. Он был на редкость творческим человеком. Имея семь классов образования, он до всего доходил сам, читал техническую литературу, долго был главным инженером колхоза (а потом и совхоза) и, что называется, народным умельцем, Кулибиным, мог сконструировать что угодно. Когда на посту главного инженера его заменили молодые специалисты после сельхозинститута, он стал прекрасным огородником, на больших площадях выращивал для совхоза овощи и особенно прославился выращиванием бахчевых культур.

Когда я приезжал домой на каникулы из Казани, то всегда навещал своего незаурядного дядю. И, поверьте, приходил я к нему не ради галочки. Обычно немногословный и не проявляющий праздного любопытства, он с заметным интересом и, что мне особенно было лестно, с уважением расспрашивал меня об авиационной технике, о тенденциях в авиастроении, о студенческой жизни. Надо сказать, что мне не всегда было просто отвечать на его вопросы, и я невольно ловил себя на мысли, что не мне, а ему нужно было поступать в авиационный институт. Какой бы выдающийся авиаконструктор из него получился! А вот кулинарные пристрастия у нас с ним удивительным образом совпадали. Он угощал меня либо вареным карпом,

либо отварной бараниной. Карпа мы запивали густой, настоящей ухой, а баранину – горячим насыщенным бульоном. Спиртные напитки дядя мой не употреблял и меня не угощал. Табак на дух не переносил. Такое редкое сочетание качеств для творца: природный конструкторский талант и отсутствие вредных привычек. Если к ним прибавить цельность натуры, силу характера и завидную работоспособность, то лучшего и желать не нужно.

И вот на фоне наших с ним высоких, взаимоуважительных отношений я однажды умудрился пасть так низко, что до сих пор одно только воспоминание об этом позорном падении вгоняет меня в краску. Как-то за мной заехал на своем “Запорожце” мой двоюродный брат Яша и позвал воровать арбузы. Только мы набили багажник и уже собрались уезжать, как откуда ни возьмись, будто из-под земли, вырос дядя Отто на своей “Победе”. Описать свое тогдашнее состояние нету ни слов, ни сил. Казалось, дядя наш был обескуражен и удручен больше нас. Он только и смог произнести с горечью: «Мне приходится гоняться за “чужаками”, а тут родные племянники грабят среди бела дня. Что, не могли приехать ко мне в сторожку по-человечески?!» Надо сказать, что мы в нашем селе были единственными, кто предпринял эту постыдную авантюру. А вот спроси нас, ради чего? Вряд ли мы смогли бы ответить. Ведь дядя Отто выращивал арбузы и дыни исключительно для жителей нашего села, и урожаи были такими, что их некуда было девать. Их солили в бочках, хранили навалом в кладовках, а с наступлением морозов – под кроватями.

Долгое время нашим совхозом руководил Б-й, кандидат сельскохозяйственных наук, широко образованный и эрудированный человек; с ним можно было говорить на любые темы. Наш совхоз он вывел на передовые позиции и не столько по производственным показателям (мы никогда не плелись в хвосте), а именно по новаторству: он все что-то экспериментировал. Его хорошо знали в области, неоднократно звали в Целиноградский сельхозинститут двигать сельскохозяйственную науку, но он долго не соглашался; потом все же сдался. Не люблю громких слов, но он буквально гремел своими достижениями. В совхозе Б-го очень любили, он не оставлял без внимания ни одной просьбы. Так, когда моих сестер, отличниц учебы, завалили в пединституте на вступительных экзаменах, он зарезал двух овец, поехал в Целиноград и с блеском решил проблему: девчат приняли даже без пересдачи. Восток – дело тонкое...

Хочется сказать и о сельских богатырях, то есть – не просто сильных, а очень сильных. Их было трое или четверо, в том числе мой дядя Отто. Но я расскажу об одном из них, потому что он был еще и редкого свойства шутником. Имя его – Роберт Рей. Высокий, крупный, но не толстый, без живота. Он ходил, доброжелательно улыбался и как бы спрашивал глазами: не требуется ли его сила. Роберт Рей не хвастался своей силой, он просто не знал, куда ее девать. Он очень любил публику и был скорее артист, нежели спортсмен-тяжеловес, был рожден для цирка, но не знал об этом. Роберт говорил, например, при большом скоплении народа: “Спорим на литр, что, не отрываясь, выпью ведро воды (12 литров)”. Правила жанра требуют, чтобы кто-нибудь оппонировал спорщику, и, конечно, такой человек находился, хотя догадывался, что проиграет. Чрезвычайно довольный, утоливший жажду Рей Роберт с присущей ему душевной щедростью угощал всю честную компанию выигранным литром водки. Сам пил мало, чисто символически, а то сила уйдет – она не любит запаха алкоголя. Другой подвиг Геракла демонстрировался по тому же приблизительно сценарию, но в жертву вместо воды приносились 50 сырых яиц, причем роль была сыграна как всегда эффектно, не без артистического блеска.

NN-ые геракловы подвиги-фокусы опускаю, покажу “n+1”-й, фирменный, который Роберт продемонстрировал на моем родном дяде – тоже из когорты силачей, но в другой весовой категории, не менее 150 кг, что придавало фокусу особую остроту и интригу. Возле магазина, где и в обычное-то время многолюдно, а если появляется Роберт Рей, да еще весело и хитро всем подмигивает, – жди интриги. Из магазина выходит ничего не подозревающий дядя Отто, открывает дверцу солидной, респектабельной “эмки” (открывается исключительно вперед), грузно опускается на сиденье не менее грузной “эмки” (заимствован только корпус,

остальное честно собрал мой дядя честных правил), заводит мотор, включает передачу... Стоп! Именно в этот момент Роберт Рей поднимает автомобиль за задний бампер, и... аппарат, как упрямый осел, ни с места. Задние колеса крутятся, а ехать – не хотят?! Дядя так же солидно (и бровью не повел) открывает дверцу исключительно вперед, не спеша несет свои 150 кг к заднему мосту, со знанием дела осматривает его, довольный осмотром, возвращается в авто, повторяет необходимые для приведения в движение транспортного средства операции, и опять – ни с места. Не знаю, сколько раз еще ходил бы мой честный дядя взад-вперед, а терпения и спокойствия у него на десятерых (никогда не видел, чтобы он, хотя бы внешне, выходил из берегов), но народ, невзирая на красноречиво прижатый к губам палец Рея Роберта, был уже не в состоянии сдерживать смех, хотя сдерживать старался изо всей мочи: как-никак уважаемый человек, главный инженер совхоза.

Ну и в заключение этой главы коротко об одноклассниках. До 5-го класса нас, Волгодоновских, было семь человек. В 5-й прибыло из Вячеславки (отделение нашего совхоза) четверо. После 6-го класса два Волгодоновских парня ушли учиться на трактористов, а две Вячеславские девчонки забеременели и родили малышей: одна – в 6-м классе, другая – в 7-м. Это я сейчас говорю об этом просто, а тогда это воспринималось как ЧП. Хорошие были девчата, но будучи доверчивыми и привлекательными, стали объектом внимания приезжих пацанов, со специальностями уже, но еще без мозгов и, как говорят урки, без понятий. Жалко девчат: остались одни, но детишек своих не бросили. Нас в Волгодоновке родители строже держали в этом отношении.

Итак, в 7-м нас осталось семеро. Эрвина А. и Сашку К-ва утром привозили, а после уроков увозили в Вячеславку на подводе. Как-то Сашке родители купили новые коньки, и он согласился продать мне старые. После уроков я сел на подводу и поехал в Вячеславку за коньками. Его родители накормили меня и никак не хотели отпускать. Но я обнаружил какое-то непонятное упрямство и отправился в путь. Смеркалось, а путь был неблизкий – 9 км, да еще мимо скотского кладбища (метрах в двухстах от дороги), где обычно справляли тризну голодные волки. Я осознал это позже, но вернуться не хватило силы воли. Мимо кладбища я проходил в кромешной темноте. Ну и натерпелся я страхов!

О спорте. Папа вел физкультуру и все спортивные секции: легкую атлетику, гимнастику, лыжи, стрелковую секцию. Все учащиеся в той или иной степени занимались всем (мы все учились понемногу...). И все эти виды спорта мы представляли на районных зимних и летних спартакиадах. Лично я выступал по следующим дисциплинам: бег на средние дистанции (400 и 800м), иногда прыжки в длину, лыжные гонки (5 и 10 км), где я всегда был фаворитом.

В этой связи примечателен случай. В 7-м классе я уступил лидерство братьям С-м и на спартакиаду не попал. Я попросил папу взять меня хотя бы запасным, но он отказал мне. Тогда я взял лыжи и пошел в степь тренироваться. Был приличный мороз (-25°), но главное, дул сильный жесткий ветер. После каждого трехкилометрового круга выюга заметала лыжню, и она едва угадывалась. Я мобилизовал все свои резервы и яростно, со злостью, наперекор всем стихиям, ринулся накручивать круги. Это были даже не круги, а челночные рейды туда и обратно: туда – едва преодолевая ветер, обратно – под ветер. И вот, пробежав два круга, я стал задыхаться, т. е. в самом прямом смысле, мне не хватало воздуха. Потом воздух стал проходить через горло со свистом, но я упрямо сделал еще круга полтора. Наконец, горло заложило так, что воздух практически перестал поступать. И тут я испугался, до меня дошло, что я могу загнуться. Кое-как я доковылял до дому, все так же натужно, со свистом дыша, и слег с высокой температурой. Помню, что было очень стыдно. Провалился я долго...

В конце этой главы, как итог детского периода моей жизни, хочется выделить главное. В становлении моем великую роль сыграла атмосфера, в которой мы росли, воля и бескрайние степные просторы. Тема степи – это для меня тема свободы. Как взору выгодно в степи, так и духу должно быть выгодно при его стремлении ввысь. Вершины нужно покорять внутри

себя, и вершины эти беспредельно уходят в небо, как лестница, по которой ушел в небо Олег Янковский в фильме про барона Мюнхгаузена, как лестница Иакова, – не все это понимают. Не все понимают, что свобода – внутри нас, что можно быть свободным в тюрьме, и рабом – в роскошном особняке. Степной ковыль, ковыльная степь – особая субстанция, особая стихия, сколькими ассоциациями она откликается во мне. Прежде всего – воля, вольный ветер, наше босоное детство на берегу Ишима, где мы, как гуси, пропадали с ранней весны до поздней осени. Нам не нужна была опека, да нам, слава тебе Господи, ее никто и не навязывал – не принято было. И все это осталось в нас, зацементировалось, помогло встать на ноги, окрепнуть и идти дальше. Может, в моих словах много патетики, но я не боюсь, потому что это правда, – тому много свидетельств впереди.

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
в детские годы мои.
"Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу".
Тихо ответили жители:
"Это на том берегу".
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...

Тихая моя родина
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор.
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
(Н. Рубцов)

Глава 4. Вишневка

Вишнёвка... В этом звуке –
надежда и печаль.
Вернуть бы всё на круги...
И – ничего не жаль!

К сожалению, мы вынуждены покинуть родную обитель. На сей раз дорога наша устремляется в райцентр Вишневка, на юг в сторону Караганды, и измеряется расстоянием в 30 километров. Мы, Эрвин А., Григорий С. и ваш покорный слуга, отправляемся в означенный населенный пункт продолжать образование в Вишневской средней школе. Можно было бы предположить, что своим именем Вишневка обязана обильным вишневым садам, произрастающим в этом селе. На самом деле ни вишневых, ни каких бы то ни было других садов мы там не обнаружили, во всяком случае, на тот исторический момент.

Я думаю, что родители отправили меня именно в Вишневку, а, скажем, не в Целиноград, который всего на 10 км дальше, потому что они в этой школе работали и потому что там работал их друг и коллега П-ко Иван Никифорович. Когда мы приезжали в Вишневку, а это случалось довольно часто, то останавливались у него в доме. Что называется, дружили семьями. Хозяйка этого замечательного дома Марья Касьяновна – гостеприимная, интересная и живая в общении женщина. С сыном Николаем я учился в одном классе, и он на правах аборигена и будучи сильнее физически опекал меня, особенно на первых порах. Дочь их Лариса была года на два-три младше нас.

Вишневка – довольно крупный населенный пункт для села, но недостаточно крупный, чтобы называться городом. Зато – районный центр, а это ко многому обязывает. Но ведь и правами подобные административные единицы обладают немалыми. Здесь и силовые структуры, и органы власти, и другие различные организации (Дом пионеров, например) и предприятия, парк культуры и отдыха, наконец. И, конечно, в отличие от Волгоновки с ее патриархальным укладом и неспешным, размеренным образом существования, здесь гораздо сильнее ощущался ритм и пульс общественной, культурной и спортивной жизни. И географическое положение неплохое: с одной стороны река Ишим, с другой – на некотором удалении, достаточном, чтобы не слышать шума поездов и автомобилей, – железная и шоссейная дороги – две главные артерии, соединяющие основные областные и краевые центры Казахстана с его столицей.

Вишневская средняя школа... До 8 класса здесь учились только дети Вишневских жителей. А в 8 класс приезжали школьники со всего района, правда, только те, кто решил закончить среднюю школу. Большинство ребят шло в различные ПТУ. Особой популярностью пользовалось училище, где за два года приобреталась профессия "механизатор широкого профиля" (трактор + комбайн + автомобиль – по сути, три специальности). В Вишневской средней школе мы получали ту же профессию, но в течение четырех лет. В 8 классе изучали сельхозтехнику: плуги, сеялки, сенокосилки, в 9-м – трактор, в 10-м – комбайн, в 11-м – автомобиль. Заманчивая перспектива, не правда ли?

Такова участь районных средних школ – собирать под своим крылом учащихся со всего района. Но ведь ребята привозили с собой и те традиции, которые сложились в их школах, в их селениях, ту атмосферу, которой они там дышали, те нормы и правила поведения, которые они усвоили от родителей, от односельчан и в меньшей степени от учителей. Попробую как-то обобщить свои впечатления. В больших населенных пунктах люди более разнородные, более разношерстные, чем в малых, хотя бы потому, что народу больше и, главное, больше и разно-

образнее предприятия, организации, учреждения, учебные заведения, в которых этот народ служит, работает, учится.

От братьев наших меньших мы унаследовали инстинкт сбиваться в стаи (самосохранение, продолжение и умножение рода – не буду перечислять все причины). Мы, как представители *homo sapiens*, значительно обогатили и усилили этот инстинкт рядом принципов: 1) принцип корпоративности, основанный на: а) местном патриотизме (бей чужих); б) единстве целей и задач (учеба в школе, училище); в) общности интересов (танцы, кино и прочие развлекательные мероприятия); 2) принцип самоутверждения (желательно за счет других), основанный на: а) избытке физической силы и недостатке интеллекта (сила есть, ума не надо); б) деятельности гормонов в растущем организме – с природой не поспоришь; в) лаконичном и выразительном языке русского фольклора. Наш 8-й класс, хоть и был многочисленным и разнородным, но в нем, как и в любом здоровом коллективе, культивировался корпоративный принцип, но и о втором не забывали. Ребята были крепкие: могли и за себя постоять и честь класса отстоять.

Внутри стаи особых противоречий и противостояний не наблюдалось. Были, правда, эпизодические бои местного значения. Как-то Вова П., высокий, но очень худой и нескладный и весьма флегматичный юноша позволил себе опасно пошутить над моим другом и земляком Гришей С., перешел, так сказать, границу всяческих приличий. В результате Гриша С. повредил стену в классе. Я считаю, что в нанесении ущерба виноваты оба: Гриша потому, что плохо прицелился, а Вова потому, что слишком худой (попасть трудно) и потому, что увернулся. Но это не в счет: что это за бой – никто серьезно не пострадал, за исключением Гришкиной руки. А так мы жили дружно, в кино и на танцы ходили стаей. Время было бурное, новаторское, я бы сказал, революционное. В обиход вошли такие слова, как стиляга, чарльстон, твист, а в моду – узкие брюки, нейлоновые носки, ботинки на толстой подошве, прически "ёжик".

Из учителей хорошо помню только классного руководителя Дукарта Александра Эдуардовича, который вел у нас физику. Благодарю Господа, что он хранил его все эти годы и сберег в ясном уме и трезвой памяти таким же интеллигентным, бодрым и оптимистичным, чрезвычайно трогательным и родным. Так бывает только с чистыми, бескорыстными людьми, посвятившими жизнь свою другим, в данном случае – своим ученикам. Мы с сыном имели счастье посетить его в Вишневке два года назад. Очень хотелось бы еще раз увидеться.

Перед глазами – образ учительницы математики (к сожалению, не помню её имени), волевого, умного и очень требовательного педагога. Остальных, к сожалению, не помню, но сохранились в памяти та здоровая, творческая и доброжелательная атмосфера, которую они создавали, и тот высокий уровень преподавания дисциплин, который позволил мне через два года быть на равных с лучшими учениками города Караганды, которых собрали во вновь открывшуюся физико-математическую школу.

Мы с Эрвином А. снимали квартиру не то у родственницы его, не то у знакомой его родителей, немки тети Марты. Это была добрая крупная женщина с бельмом на глазу. Двухлетняя дочь ее Лиза была неизлечимо больна врожденным пороком сердца. Она успела закончить семь классов, и врачи запретили ей дальше учиться, а работать тем более. Она выросла и стала непомерно высокой, но поведение и сознание у нее остались детскими. Так, наверное, бывает с людьми, не обремененными никакими делами и заботами и поэтому не подверженными никаким волнениям и тревогам. Тетя Марта предупредила нас, что Лизе ни капельки нельзя волноваться и что любое расстройство может оказаться для нее последним. Так серьезно обстоили с ней дела. Надо сказать, что у Лизы был счастливый характер для этой роковой болезни: она была беспечна и весела. С нами, четырнадцатилетними, на равной ноге. У нее был большой арсенал всяких игр, и мы много играли, в том числе в карты. Она не расстраивалась, когда проигрывала: ей был интересен сам процесс игры. Я не помню, чтобы Лиза выходила на свежий воздух, она фактически была затворницей. Цвет лица у нее поэтому был бледный, слегка отливающий синевой, которую усиливал контраст с длинными черными волосами. Черты лица

правильные, нос прямой, губы тонкие, глаза умные, улыбающиеся. Для такого образа жизни она была достаточно эрудированной, много читала, в основном мелодраматические романы со счастливым концом, неплохо играла на гитаре. Но случались иногда и депрессии, и тетя Марта в такие минуты была при ней и своим спокойствием выводила Лизу из этого опасного состояния. Она знала, что дочка ее обречена, и это временами отражалось в ее глазах какой-то неуверенностью и тревогой. Но от Лизы, убежден, она это скрывала. Поэтому тетя Марта не работала, и единственным источником дохода были квартиранты.

Кроме нас с Эрвином, у тети Марты снимали жилье двое рабочих, которые, насколько я помню, работали на стройке. Дом был большой, разделенный на две сообщающиеся половинки, но с отдельными входами. Квартирантская половина состояла из небольших сеней и двух комнат. Одна из них – большая, проходная, в ней жили рабочие. Другая, в которой жили мы с Эрвином, была значительно меньше. В нашей комнате стояли две кровати с тумбочками и рабочий стол. В большой комнате, кроме внушительных размеров стола, располагались печь, обогревающая всё квартирантское крыло, и плита, на которой тетя Марта готовила нам с Эрвином пищу из привезенных нами из дома продуктов. Рабочие днем питались в столовой, а по вечерам дома жарили картошку и гоняли чай. Скоро и мы по настоянию этих ребят переместились из своей комнатухи в их огромную, похожую на манеж комнату. Здесь мы с Эрвином выполняли домашние задания и забавлялись играми с Лизой.

Один из этих замечательных ребят сыграл в моем возмужании, если можно так выразиться, весьма позитивную роль. Звали его Виктор. Это был молодой, недавно отслуживший в армии парень. Среднего роста, коренастый, мускулистый, он, если не ошибаюсь, занимался гиревым спортом. Во всяком случае, дома у него были гири (не считая гантелей, эспандеров и пр.) разных калибров, и он играл ими, как мячиками. Регулярно занимался зарядкой и в любую погоду обливался во дворе холодной водой; спиртного в рот не брал. Виктор и нас приобщил к физкультуре. Утром, хочешь не хочешь, вставай и выполняй довольно емкий комплекс упражнений. И – марш на мороз освежиться ледяной водой. А куда денешься: он же тяжелоатлет. Тысячу раз говорю Виктору: спасибо! За два года я так втянулся в эти физкультурные занятия, что в Караганде выполнял их на автопилоте, правда, обливался не на улице, а в ванной, но зато под ледяным душем, а это, кто пробовал, гораздо острее.

Другой рабочий был значительно старше Виктора. Ему было не больше 50-ти – иначе вряд ли его взяли бы на стройку, – но выглядел он старше своих лет, вероятно, потому, что регулярно употреблял веселые напитки. Ну он поэтому и был веселым человеком. Мне всегда хотелось называть его "дед Семен", но он был категорически против столь почетного звания и согласился на более скромное – "дядя Семен". Отдаленно он напоминал актера, сыгравшего деда Щукаря в "Поднятой целине", но актер этот сильно позавидовал бы дяде Семену. Он был небольшого роста, худой и как бы усохший старикашка, на узких сутулых плечах которого уютно устроилась небольшая и очень подвижная голова. У него вообще все было небольшое и подвижное. Почти всегда навеселе, он постоянно что-то оживленно рассказывал, щедро помогая себе мимикой и жестами. При этом в нем и на нем все ходило ходуном: руки, ноги, голова, туловище – как на шарнирах. На загорелом лице белыми волнами ходили морщины, бегали глаза, в глазах вспыхивали искры.

У дяди Семена был приличный запас всяческих былей и небылиц на самые различные темы, но чаша весов всегда склонялась к морской теме. В свое время он служил в морфлоте, отлично знал азбуку Морзе и с энтузиазмом обучал этому секретному языку нас с Эрвином. Он вообще считал, что нет ничего интересней и загадочней этого немого магического языка, на котором можно общаться, не прибегая ни к каким техническим средствам, ни к каким знакам и даже звукам. Была бы его воля, он вообще отменил бы все иные языки и все иные способы общения. Дядя Семен приносил обычно с собой после работы бутылочку вина и потихоньку тянул ее в течение вечера. Будучи человеком от природы нежадным, он и нам предлагал этот

тонирующий напиток. Думаю, что мы с Эрвином не отказали бы себе в удовольствии попробовать (только попробовать, что в этом такого?) волшебный напиток, от которого человеку становилось легко и весело. Здесь был явный пробел в нашем воспитании: курить – курили, а вот напитки, без которых не может обойтись ни одна гулянка, как-то прошли мимо нас. Но мы постоянно находились под бдительным оком Виктора, а впасть в немилость к нему никак не входило в наши планы.

Однако мы немного отвлеклись от дяди Семена и его неизменной любви к азбуке Морзе. Так вот, постепенно опорожня в течение вечера содержимое находящегося около сердца и греющего душу сосуда, а можно смело предположить, что и не одного, дядя Сеня, не переставая сообщать нам не раз рассказанную историю, медленно, но неуклонно переходил от возбужденного и взволнованного состояния в состояние задумчивости и озабоченности и, все больше удаляясь от нас, достигал в конце концов состояния вполне сомнамбулического, которое стирало все географические и временные рамки и позволяло ему перенестись в другое время и другое место. Он был уже где-то на боевом корабле в военной обстановке и, неся службу у аппарата Морзе в качестве радиста, непрерывно и монотонно бубнил, уронив голову на стол: "О – три тире, о – три тире, о – три тире (буква "о" воспроизводится на аппарате Морзе тремя длинными сигналами, а записывается – тремя тире)..." И так до тех пор, пока не засыпал. В следующий вечер повторялось то же самое с некоторыми вариациями. Вот такой был наш дядя Сеня: сколько лет прошло, а он все служит, война давно кончилась, а он все воюет. Романтик и патриот, патриот и романтик. Подводя итог моего рассказа о нем, я бы несколькими мазками охарактеризовал его так: небольшой, подвижный, уютный, добрый балагур, бесконечно преданный господину Морзе и его магической азбуке.

Обучение профессии "Механизатор широкого профиля" велось параллельно с изучением основных предметов и было поставлено на крепкую ногу. Этой профессии обучались только парни. В 8 классе мы досконально изучали сельхозтехнику: сеялки, плуги, бороны, сенокосилки, грабли, сдавали зачеты по теории и в одном из близлежащих совхозов проходили практику: сеяли пшеницу в мае месяце.

В бункер широкой пятиметровой сеялки, буксируемой трактором, загружалось зерно. Как только сеялка выходила на край поля, мы открывали клапаны дозаторов, установленных по всей ширине бункера с промежутками, соответствующими расстоянию между рядами, и зерно равномерно сыпалось через открывшиеся отверстия по желобам, погруженным в землю на определенную глубину. Сеялка перемещалась по вспаханному и пробороненному полю, влекомая неумолимой силой, в облаке пыли, а мы тем временем ходили по подвесной деревянной скамейке вдоль бункера и следили, чтобы зерно расходовалось равномерно, и при необходимости устранили неполадки. На каждую сеялку полагался один оператор. Пыль набивалась в глаза, уши, нос, въедалась в кожу лица так, что, когда мы снимали специальные защитные очки, напротив, оказывались в очках. Излишне говорить, что смыть этот присвоенный нами слой пыли в конце смены не было никакой возможности. Нас это не особенно смущало, мы были молоды и беспечны. Жили в общежитии, в одной большой комнате всем классом. Времени на кино и танцы не оставалось, но вполне хватало, чтобы подурочиться.

В 9 классе изучали тракторы, два типа: гусеничный ДТ-54 и колесный "Беларусь". Практику на этих типах тракторов я проходил в родном совхозе на сенокосе, причем и параллельно, и последовательно с основной работой. То есть днем я косил сено на сенокосилках в том же экипаже С-вых (см. предыдущую главу), а ночью должен был пахать землю под озимые на гусеничном тракторе Т-75, который таскал наши косилки. А после того, как сено будет скошено, я на тракторе "Беларусь" должен был возить его в село к скирдам, сделать несколько рейсов.

Такова была договоренность с руководством совхоза и с трактористом Виктором Г. Но сей почтенный муж (всего-то на два года старше меня и проработал не больше года) стал отговаривать меня: мол, на полях опасные солончаки, в которые можно ухнуть вместе с трактором,

как в болото, – я тебе и так напишу, что полагается. Но я, как говорится, уперся рогом и даже стал шантажировать его, что пожалуюсь начальству.

И вот в одну прекрасную ночь, после первой сенокосной смены, Виктор помог мне навесить плуг и вместе с ребятами пошел спать. В этот раз мы ночевали на полевом стане. А я в состоянии крайнего нетерпения и необычайного волнения поручил пахать поле, на котором меня поджидали коварные солончаки. Виктор рассказал, как солончаки выглядят ночью (днем я их видел не раз), дабы я их вовремя обнаружил и благополучно объехал. Я вырулил на поле (а поля в наших краях длинные, по несколько километров) и сделал первый, очень ответственный круг, потому что, если проложишь первую борозду криво, остальные, как проведенные по лекалу, будут такими же. Трактор, как норовистый конь, все время пытался уйти с борозды влево, и его постоянно приходилось урезонивать правым рычагом. Поэтому спать сначала не хотелось. А потом, ближе к утру, молодой организм стал настойчиво предъявлять свое законное право на сон. Вот тут-то меня и настигло чудовище, о котором я, честно говоря, запомнил. Оно схватило мою левую гусеницу и потащило вниз. Трактор сильно накренился влево и стал пробуксовывать, все больше уходя в солончак левой гусеницей. Еще немного, и мой стальной конь завалился бы набок. Но, к счастью, у меня хватило ума оставить попытки выбраться из цепких лап чудовища и заглушить мотор.

В крайне разбитом и подавленном состоянии, как будто это меня, а не моего коня терзал зверь, я приплелся на стан и тихонечко, чтобы не дай бог никого не разбудить, лег с краю на полу. Но разве мог я уснуть в таком состоянии... Утром Виктор проснулся и, увидев меня, сразу понял, в чем дело. И вместо того, чтобы обложить матом, расхохотался и успокоил: не ты первый и не ты последний. После чего сел на чужой трактор, поехал и вытащил моего коня на буксир. А меня вроде даже как бы похвалил: хорошо, что вовремя заглушил мотор и не завалился набок. Тогда пришлось бы повозиться.

Конечно, этими словами Виктор меня не успокоил. Ну, думаю, когда буду возить сено на "Беларусе", всем покажу, какой я классный тракторист. И с нетерпением стал ждать, когда мы кончим косить. Этот день в конце концов настал. Я пришел к начальству требовать обещанный трактор. Вопреки ожиданиям, мне его предоставили тут же, без всяких препирательств. Правда, сказали, что за ним надо сгонять во вторую бригаду на полевой стан, который находится в 10 километрах, за ж/д станцией. Кажется, я полетел за трактором на собственных крыльях. И за каким трактором! Который, как и автомобиль, ездит на четырех колесах, причем задние – ну просто огромные! Это вам не гусеничный, который ползет, как черепаха. Невозможно передать в словах то состояние, которое я испытал, когда завел стартером это высокое, как жираф, механическое существо, и оно понесло меня с большой скоростью. Таких слов просто не существует. Поэтому я ехал и пел, и душа пела, и сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки, – ему там было тесно, ему тоже хотелось лететь. Как я жалел, что никто не видит, как я классно управляюсь с этим гигантом.

В родном селе я прицепил огромную тележку и поехал за собственным сеном на собственном тракторе далеко за речку. Это было упоительное путешествие для души, находящейся в плену у тщеславия. Я гордо плыл от копны к копне, и рабочие совхоза, мои односельчане, грузили сено на плоскую платформу тележки. А я не грузил, мне не положено: я – водитель! Откуда же я мог знать, что впереди меня поджидает несчастье? Да разве могла прийти мне в голову такая бредовая мысль?! Я уже почти подъезжал к селу, осталось только форсировать вброд речку. Но перебраться на другую сторону реки мне было не суждено. На самом спуске к воде я вдруг почувствовал, что трактор почему-то перешел на черепаший ход. Оглянувшись назад, я увидел – о-о! лучше б глаза мои не видели этой ужасной картины, – что тележка с сеном лежит на боку. Мне осталось только спеть: "Кони не идут, слишком берег крут". Вместо того чтобы триумфально въехать в село, я с позором потащился просить о помощи. Конечно, из любой ситуации можно найти выход. С огромного стога сена, прищипи-

ленного к тележке, сняли веревки, тележку из-под стога вытащили, сено загрузили обратно и спокойно довели до положенного места. Но все это уже без меня.

Не могу не сказать о визите Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева в наши края. Его поезд следовал из Целинограда в Караганду и должен был ненадолго остановиться на станции Вишневка. Освоение целины вообще детище Никиты Сергеевича. Это он затеял эту сомнительную эпопею. И Акмолинск в Целиноград он переименовал. К этому времени уже была провозглашена программа, согласно которой коммунизм должен быть построен к 1980 году. У всех в ушах навяз лозунг: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Может быть, Н. С. Хрущев, как и я, прочитал в детстве "Город Солнца" Кампанеллы и проникся его идеалами? Что касается меня, то программа эта легла на подготовленную, зараженную идеями Кампанеллы почву, и я принял ее безоговорочно, безусловно и безупречно и готов был глотку перегрызть тому, кто посмел бы усомниться в реальности этой благой цели. А если говорить серьезно, я и сейчас считаю, что коммунистические принципы жизни единственно достойны человека и пока не осуществимы из-за нашего несовершенства, из-за наших непомерных претензий, из-за дефицита любви.

Конечно же, был митинг на станции Вишневка, конечно же, все близлежащее пространство было запружено любопытным и, возможно, сомневающимся народом. От нашей школы, кажется, был снаряжен автобус, но я не поехал: любопытством я не страдал (во всяком случае, не в такой степени, чтобы участвовать в унижающей человеческое достоинство процедуре), а убеждать меня было не нужно, я и сам мог убедить кого угодно. Н. С. Хрущева уважал и считал своим единомышленником.

Не помню, как Эрвин А. ездил в свою Вячеславку по выходным, но мы с Гришей С. каждую субботу, за редким исключением, отправлялись в родное село на поезде. И гораздо реже – с оказией на попутной Волгодоновской машине, которые приезжали в райцентр по каким-либо нуждам. В субботу после уроков мы сразу шли на станцию, которая находилась в двух километрах от Вишневки и, не заходя в помещение станции, ждали поезда где-нибудь поодаль, ближе к хвосту. Когда поезд останавливался, мы, как люди совершенно незаинтересованные, непринужденно прогуливались вдоль поезда на противоположной от станции стороне. На самом деле напряженно искали вагон, на торце которого были бы ручки. Ручки нужны нам были для того, чтобы, стоя на буфере между вагонами, держаться за них. Однако вагонов с ручками было гораздо меньше, чем без них, к тому же нам нужно было два таких вагона. И если вагон с ручками не попадался, а поезд вот-вот тронется, мы забирались на буфер, вдавливали свое тело в торцовую стену вагона и отдавали себя во власть зеленого змея и во власть страхам. Положение усугублялось тем, что хвост змея ведет себя обычно очень беспокойно, чувствуя на себе инородное тело и справедливо пытаясь от него избавиться, – на то он и хвост. Слава Богу, что всегда побеждали мы. Зато как весело шагали мы со станции домой, чрезвычайно гордые и довольные собой, что выстояли (в буквальном смысле) в неравном противостоянии. С ручками было гораздо веселей и практически безопасно, и, надо признаться, путешествий с ручками было больше. Конечно, родители не знали и даже не догадывались... И хорошо, что не знали. Представить невозможно, чтобы мой сын мог позволить себе такое! Правда, у него и у его поколения были свои экстримы, и неизвестно, кому было страшней.

Потом этот способ путешествовать на поездах я использовал, когда летом, после 10-го класса, мы с моим двоюродным братом Яшей и с бабушкой Кохшей ездили в г. Дамбул в гости к дяде Роману. Но тогда никакой нужды в этом не было, так как у нас у всех были билеты. Я на ходу открывал входную дверь в тамбуре, перебирался на буфер и по ручкам-ступеням поднимался на крышу вагона навстречу вольному ветру. Какое это было упоительное состояние, какое опьяняющее чувство! Впрочем, пусть за меня скажет обожаемый мною свердловский поэт Борис Рыжий:

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей

и обеими руками обнимал своих друзей –
Водяного с Черепахой, – щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети – грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром что ли – желторотый дуралей –
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей?
И на каждом на вагоне, вольной волею пьяна,
"Приму" ехала курила вся свердловская шпана.

Разумеется, я был не один такой храбрец. Тогда многие путешествовали таким образом, чтобы сэкономить деньги или – когда они отсутствовали. Были и несчастные случаи, когда ребятам сносило черепа о мосты и путепроводы. Но когда в такой черепной коробке не оказывалось мозгов, то очевидцам становилось все предельно ясно, и они только разводили руками. Понятно, что мною наряду с кайфом двигал чистейшей воды авантюризм и желание выпендриться перед младшим братом. А еще более авантюрно было то, что я и его уговаривал совершить это восхождение и даже пускался на шантаж. А он, вместо того чтобы хлебнуть свежего ветра (в вагоне была сумасшедшая жара) и вкусить радость свободы, наябедничал на меня бабушке. Достать они меня там не могли, но и я не хотел оставаться долго без еды. К тому же я не знал, что Яша меня выдал, и когда спустился с покоренных вершин как победитель, то был схвачен родной бабушкой и, вместо фанфар, посажен под унижительный арест. И это на виду у всего вагона! Позже, став студентом, я не раз пользовался этим дешевым способом перемещения в пространстве. А перемещаться приходилось много.

Надеюсь, я уже приучил читателя к частым и не всегда оправданным отступлениям. В родном селе мы появлялись как посланцы другого мира, более культурного и цивилизованного, ощущали себя носителями этой самой культуры и цивилизации и, хоть нос старались не задирать, чувствовали свое превосходство над односельчанами, особенно над младшими школьными товарищами. Нас теперь не привлекали вечерние киносеансы, мы даже к бильярду охладели. А привлекали нас всецело танцы, нам не терпелось показать отставшим от жизни односельчанам модные, динамичные твист и чарльстон.

Надо ли рассказывать вам о том, как невыносимо сладко очутиться в родном доме среди родных и бесконечно близких тебе людей, хотя бы и всего только на полтора выходных дня, – очутиться у родного очага, где весело горит огонь, да не горит, а пляшет от избытка счастья. О том, как ты садишься за накрытый только в честь тебя стол в предвкушении не то чтобы чего-то вкусненького, это уж как водится, а в предвкушении чего-то несравненно большего, чего и выразить нельзя, чтобы не соврать, но что надолго, если не навсегда, останется внутри тебя. Все это, как серьезно и справедливо сказал Э. Хемингуэй, – праздник, который всегда с тобой.

Вот, одинокий оборванец,
я приглашаю Вас на танец,
и это танго Вы танцуете со мной –
в старинном парке – вечером – весной.
Вот, я веду Вас неумело,
Рука от страха онемела,
Ужасно близко Ваше тело,

У Вас в глазах – таинственная даль.
Скрипит дощатая веранда,
Под тополями курит банда,
Мне не уйти. Но мне себя не жаль.
Танго и в окнах развалин золотое сиянье заката.
Усмехается Сталин с плаката,
И сирень расцвела на валу.
Сзади свист, и все ближе расплата.
Светит месяц в разбитом окне,
тянет гарью из мертвого танка...
По глухим пустырям, как во сне,
я домой Вас веду после танго.
(И. Шкляревский)

Глава 5. Караганда

"Кара..." – и мне не до шуток.
Было здесь всё в первый раз:
дружба, прыжок с парашютом,
наш удивительный класс!

Почему Караганда, а не Целиноград? Караганда расположена в трехстах километрах от Волгодоновки, а Целиноград в сорока. Из Целинограда можно и поездом, и автобусом, который ходит каждый день, а из Караганды только поездом, который прибывает на станцию ночью, а дальше, до родного дома, семь километров пешком. В Целинограде есть речка, а в Караганде нет. И аэроклуб, возможно, в Целинограде не хуже. Так почему же все-таки Караганда – черный город? Город отважных шахтеров, омертвевших терриконов и черных снегов? Да потому что в этом городе жила двоюродная сестра моего отца тетя Лида Приль с мужем дядей Васей и двумя детьми: четырехлетним Витей и двухлетней Ирочкой. Вот в этой замечательной семье мне и предстояло прожить два года. Сразу хочу категорически заявить, что эта семья стала для меня родной: тетя Лида и дядя Вася – за мать и отца, а Витя с Ирой – младшими Geschwisterами. Дядя Вася работал на шахте проходчиком, то есть добывал уголь глубоко под землей. А тетя Лида работала в ателье по пошиву модной одежды. Жили они в центре города на улице Ленина, в двухэтажном доме № 48 (сейчас бы сказали: элитном), в двухкомнатной квартире. Комнаты большие, изолированные, с высокими потолками. Профессия шахтера считалась привилегированной со всеми вытекающими последствиями. Дядя Вася раз и навсегда присвоил себе право ходить на мои родительские собрания и использовал это право неукоснительно и непоколебимо, а возвращался с мероприятия в прекрасном расположении духа и широко улыбался.

Мои новые родители являли собой весьма необычный вариант семейного союза и как никогда лучше демонстрировали один из дуалистических философских законов: "Единство и борьба противоположностей" или пушкинское: "волна и камень, стихи и проза, лед и пламень". Оба красивые, яркие, романтические, независимые, но он – мечтательный и неторопливый, она – деятельная и стремительная, он – мягкий и рефлексирующий, она – сильная духом и решительная, он – спокойный и лиричный, она – веселая и заводная, он – человек сугубо семейный и замкнутый, она – сверх меры общественная и общительная, наконец, он – интро-, а она – экстраверт. Они не уступали друг другу даже в мелочах: он – из-за мужского самолюбия, она – в силу боевого, задорного характера. Их противостояние было как спектакль, как спортивное состязание, как дуэль, и доходило порой до весьма драматических сцен.

Тетя Лида не хотела уступать дяде Васе ни на йоту даже тогда, когда была очевидно неправа, и я, когда оказывался свидетелем разыгравшейся баталии, видел и понимал, что стоит ей сделать небольшой шагок навстречу, в чем-то уступить и всё будет хеппи-энд, но она не делала этот шагок, как будто чувствовала, что будут нарушены законы драматического действия. И хотя я внутренне и возмущался этими её сценическими ходами, ведущими к обострению отношений и накалу страстей (хоть бы пощадила самолюбие своего визави!), но, как рыцарь, защитить однажды попытался именно её. Моя дражайшая тетя решительно остановила поединок, отвела меня в сторону и серьезно предупредила, чтобы я никогда больше не вмешивался и что они сами между собой прекрасно разберутся (я бы на её месте добавил: без сопливых, но не было такого слова в её лексиконе). Этот комментарий прочитывался приблизительно так: "Потерпи, будет тебе хеппи-энд, но спектакль нужно доиграть до конца!"

И действительно: всё всегда заканчивалось как нельзя лучше и даже, как в народе говорят, полюбовно. От звона шпаг не оставалось и звука, от словесной дуэли и отголосков, а от

разбитой посуды даже мелких осколков. Напротив, недавние противники сливались в союзе любви, которому могла бы позавидовать любая любовная пара, и потому, кажется мне, что это была не подслащенная, а настоящая любовь, назовем её – *любовь с перцем*. Позвольте, но стоило ли в таком случае ломать копья и разыгрывать комедь? А вот на этот вопрос я вам ответить не могу, да и вряд ли кто смог бы.

Мне приходилось бывать и в доме родителей дяди Васи. Это была во всех отношениях красивая пара. Мама его была просто красавица, и красоту свою сохранила до преклонного возраста (я посещал их в Германии в 2000-х годах). Кроме того, она была волевая и очень мудрая женщина. В их семье тоже царил матриархат, но совершенно иного свойства, иной модели. Их союз был гармоничным, интеллигентным и цивилизованным. Даже представить себе невозможно, чтобы меж ними мог быть разыгран спектакль, хоть отдаленно напоминающий баталию между их детьми.

Еще в глухое советское время, в 70-х годах, этой достойной паре удалось эмигрировать в Германию. Прекрасно устроившись в Фатерланде, они вызвали к себе детей, то есть дядю Васю с тетей Лидой. Дядя Вася почему-то наотрез отказался ехать и детям запретил покидать страну (к этому времени их детскую коллекцию пополнила Леночка). Он рассчитывал, что тетю Лиду это остановит. Но не тут-то было! Она собрала чемоданчик и, как у Высоцкого: "Потом уложит чемодан и – в Фатерланд, и – в Фатерланд!". А через некоторое время вслед за ней уехали и мои Geschwister: Витя, Ира и Леночка. И лишь через два-три года, убив в себе жалкие остатки гордыни, но внешне не подавая виду, с высоко поднятой головой в Фатерланд вступил мой неподражаемый дядя Вася. Вот это, я понимаю, спектакль! И сыгран, как по нотам! А чем не сюжет для фильма?! Куда там индийским мелодрамам до этого сногшибательного сюжета!

Эту драматическую, чисто в её духе эпопею с великим переселением тетя Лида описала мне лично, приложив шикарную цветную фотографию: она, роскошная европейская женщина (а вкус у неё был безупречный, недаром работала в ателье), в Париже на фоне своего ярко-красного автомобиля (другого цвета у него просто быть не могло!), а вместе с автомобилем они – на фоне Нотр-Дам де Пари. И это в 81-м приснопамятном году! Как сказал мой коллега по кафедре: "Убиться веником, накрыться тазиком!" А остальные члены кафедры в один голос, как Вовочка в анекдоте, всхлипнули: "Хотим в Фатерланд!" Вот такая у меня космическая и космополитическая тетя.

Когда я с женой Любой посетил тетю Лиду в 94 году в курортном городе Бад-Бергцаберн (это приблизительно там же, где знаменитый Баден-Баден – излюбленное место отдыха русской культурной элиты), она посмотрела на меня и сказала сокрушенно: "В чем ты ходишь?! Тебе не стыдно!" Мы поехали в магазин, и она купила мне вызывающий, потрясающий воображение (моё, конечно) шортовый костюм, тропические пейзажи на котором затмевали окружающий ландшафт, а пролетающие мимо попугаи всё норовили усесться на одной из пальм на моей рубашке. Оглядев меня критическим глазом, тетя удовлетворенно сказала: "Теперь ты похож на человека, и с тобой не стыдно выйти в люди". И мы большим семейным шалманом отправились на весь день в аквапарк, который показался мне тогда Восьмым чудом света.

Последний раз мы с Надей (моей второй женой) посетили тетю Лиду десять лет назад и, уверяю вас, она была все та же: веселая, неунывающая, с живыми горящими глазами, в кругу многочисленной и многоярусной семьи и, как обычно, в центре внимания и событий. Мы сидели за большим круглым столом на просторной террасе, естественным продолжением которой был причудливой красоты садик, оформленный по всем правилам ландшафтного дизайна, пили замечательные рейнские вина и пели советские песни под аккомпанемент немецкой гитары, подаренной мне моими милыми сестрами.

Я уже говорил на страницах этих записок, что с детства мечтал стать военным летчиком, а в летное училище в те годы легче всего было попасть через аэроклуб. С этой целью я и приехал в Караганду. Когда я пришел в аэроклуб, мне сказали, что на отделение пилотов я

смогу поступить на следующий год, когда мне исполнится 17 лет. А пока можно записаться в парашютную секцию. Но я почему-то проигнорировал это предложение.

Среднюю школу № 49, в которой мне предстояло учиться, только что построили, и в ней все было новым и свежим: стены, окна, классы, парты, столы, учителя и ученики. Школу, очевидно, решили сделать образцовой, да еще с физико-математическим уклоном, поэтому сюда были приглашены лучшие учителя города, и учеников собрали не самых слабых, по крайней мере, в наш 10-й класс. В классе было свыше тридцати человек, только парни. Девчата изучали науки в своем 10-м.

Классная мама у нас – Догаева Нина Михайловна, преподаватель немецкого языка. Английский все еще был не в моде, поэтому англичан было мало. Нина Михайловна поистине была для нас мамой: нянчилась с нами, как с малыми детками. Но не это меня поразило, в Вишневке Александр Эдуардович возился с нами не меньше. На первом же уроке немецкого я был обескуражен: куда я попал, в русский город Караганду или, может быть, в какой-нибудь Франкфурт-на-Майне? Что они себе позволяют: они, русские, свободно говорят по-немецки, а я, немец, их не понимаю?! Невольно вспомнишь Высоцкого: «Он кричал: "Ошибка тут: это я – еврей!.." А ему: "Не шибко тут! Выйди, вон, из дверей!» На переменах наша классная шла не в учительскую, а бежала к нам и делилась тем, что успела узнать, увидеть, прочитать. И никаких наставлений, никаких нравоучений, с нами – как с равными. Нина Михайловна... – как много в этом звуке, в этом имени...

Первую же пробную контрольную по математике мы написали на двойки. А ведь все были отличники и хорошисты. Началась кропотливая, но очень интересная работа. Математику вела Лазовская Нинель Григорьевна, и как вела! По институтской системе: сначала читала лекции, а потом проводила практические занятия. Дело, конечно же, не в форме. Она обрушила на нас такой сложности задачи, которые привычным методам не поддавались. Для них нужна была тончайшая вязь умозаключений, неумолимая логика математической архитектуры. И так же, как ажурный архитектурный рисунок шпилей и башенок Кельнского собора, красивы были доказательства математических теорем. Сначала мы недоумевали: что тут доказывать, и так все ясно. Но это обывательские рассуждения, а не математическое мышление. Здесь нужно было совсем другое сознание: философское, а не обыденное. Нинель Григорьевна выдавала нам не стандартные задания, а, как мы тогда говорили, задачи повышенной трудности, – она старалась оторвать нас от стереотипов. Эти задачи постоянно крутились в наших тугих головах, они не отпускали нас и преследовали всюду, где бы мы ни находились: дома, в школе, в кино, на прогулках, – преследовали как нечто материальное, как навязчивая идея. Помню, как перед кинотеатром в ожидании киносеанса мы писали на песке формулы, пытались найти решение.

Кроме занятий, предусмотренных учебным планом, были еще и внеклассные по математике, которые вела Нинель Григорьевна, и занятия в кружке юных физиков и математиков при пединституте. Вел кружок мой земляк из Волгодоновки, профессор, доктор физико-математических наук Кецле Гарри (отчество не помню) – высокий красивый молодой человек с неизгладимой печатью интеллекта на интеллигентном, украшенном очками лице. Я сразу узнал его и не поверил бы своим глазам, если бы сам он не подошел ко мне с расспросами. Потом меня просто распирало от гордости за земляка. Занятия в кружке захватили нас целиком и полностью, несмотря на то что задачи по механике сначала давались с большим трудом. Признаться, что по-настоящему, не формально, я понял механику, когда сам стал преподавать эту ньютоновскую науку в Чувашском госуниверситете много лет спустя. А пока мы радостно, но осторожно входили в неведомый, но упоительный мир математики и физики. И сознание потихоньку стало сдвигаться от обыденного к математическому.

Необычны были и уроки литературы, которую вела Андреева Адель Николаевна. Мы разбирали не только программные произведения, но и современные, недавно появившиеся в печати. В сочинениях, которые мы писали дома и в классе, ценился самостоятельный взгляд

на ту или иную проблему, самостоятельная характеристика персонажей, необычная трактовка событий, поступков. Особое внимание уделялось стилю изложения. Так однажды, после проверки моего сочинения, Адель Николаевна поинтересовалась, на каком языке мы говорим в семье, и пояснила, что в моих предложениях порядок слов близок к принятому в немецком языке. Память не сохранила мне имен других учителей, но оставила впечатление доброты, интеллигентности и профессионализма. Низкий поклон им за это.

С большим волнением вспоминаю одноклассников. Кого ни возьми, у каждого что-то свое, индивидуальное, не сопряженное со стадным инстинктом. Не помню, чтобы кто-то стремился выделиться, самоутвердиться, завладеть лидерством. С Семеном Альтером мы жили в одном дворе, чуть дальше, в частном доме, – Толик Герасименко, еще дальше – Володя Плескачевский. Запросто ходили друг к другу, вместе готовили уроки. Утром Сенька Альтер заходил за мной, и мы вместе шли в школу пешком; если опаздывали – бежали. Идти было довольно далеко. Дорога шла сначала по благоустроенной части города, приблизительно квартал, затем выходила на пустырь в район новостроек, в ненастную погоду грязный, а зимой продуваемый всеми ветрами и буранами.

Однажды мы все-таки опоздали на занятия и ничего лучше не могли придумать, как пойти в кино. Но потом какие-то неугомонные червячки тронули какие-то чувствительные струнки, и мы пошли с повинной к нашим наставникам. Нина Михайловна отправила нас к директору. Не могу сказать, что этот визит улучшил настроение, и, чтобы утолить тоску, я доверился перу и бумаге и отразил наши похождения и мытарства в рифмованном тексте: "Встаю я утром, но не рано, когда нежданно, нежданно ко мне заходит мой дружок, и с ним бежим мы на урок. Но в школу мы не успеваем. Ну что же, если опоздаем, идем на детское кино – мой друг со мною заодно. С кино плетемся в школу мы. "Ребята, вы откель, с Луны?" – учитель спрашивает нас, когда мы в свой заходим класс. Что остается нам сказать, стоим, не в силах глаз поднять. "Придется мне на первый раз к директору отправить вас". По коридору под конвоем идем с дружком мы. Вслед гурьбою чувихи валят и, в укор, кричат нам вслед: "Какой позор!" – и т. д. в том же духе...

Володя Плескачевский – стройный, красивый юноша, чуть выше среднего роста, со слегка выющимися русыми волосами. Всегда одетый с иголочки, по последней моде, будучи классным боксером, он никогда не задавался. Спокойный, выдержанный, надежный, доброжелательный, он в любой момент готов был прийти на выручку.

Каким-то образом образовался тесный круг: Валера Марушев, Саша Семавин, Юра Пламеневский, Наташа Стародубцева из девичьего 10-го класса и "скромный автор этих строк". Валера, как и я, занимался баяном, Юра играл на аккордеоне, Саша был самым начитанным из нас. Мы много времени проводили вместе, вместе ходили в драмкружок и в кружок балльных танцев. Танцы давались мне тяжело, зато я любил смотреть, как танцуют Юра и особенно Валера с Наташей. Это была очень красивая пара, смотреть на них было сплошным наслаждением – аж дух захватывало. Учитель танцев под Новый год изобразил их в вихре вальса на стене в актовом зале, где стояла елка. Случайно я узнал, что Наташа – парашютистка, и срочно побежал записываться в парашютную секцию.

Иногда мы собирались на квартире у Саши Семавина. Он жил у тети, которая часто бывала в геологических экспедициях, и квартира была в нашем распоряжении. Предметом зависти моей была богатая библиотека. Я никогда не видел столько книг, собранных в одном месте, и с интересом рассматривал незнакомых авторов. Изредка мы позволяли себе запретный плод – крепленое вино, но и без вина нам никогда не было скучно.

Совсем недавно в автомобильной катастрофе погибли Юра Пламеневский и его супруга. За несколько дней до происшествия я говорил с Юрой по телефону. Прошедшим летом собирався съездить к нему в Тюмень, но помешал коронавирус.

Юра Пламеневский, Георгий Пламеневский, Георгий Победоносец. Вот с этим святым, с этими именами: Георгий и Пламеневский у меня и ассоциируется образ Юры. Таким он и был на самом деле: человеком с горящим сердцем, защитником слабых. Красив, статен, подтянут, он и внутренне был собран, чист и красив. По натуре ярко выраженный лидер, он не терпел расхлябанности, не выносил пошлости, был строг и бескомпромиссен к себе и того же требовал от других. В классе он был нашим старостой, не формальным, а настоящим вожаком и далеко не всегда лицеприятным. Будучи неисправимым идеалистом и рафинированным эстетом, он хотел, чтобы всё вокруг было красиво и все были красивы. Гордый и независимый, он не заботился о своем имидже, не заморачивался, какое произведет впечатление. Человек крайне равнодушный и непримиримый к негативным явлениям, Юра по собственной инициативе выпускал классную сатирическую газету, сам рисовал карикатуры, сам писал текст, часто в афористичной форме, и мог пропесочить в ней любого, невзирая на лица и обстоятельства. В кругу друзей был неизменно простым и естественным, милым и скромным, живым и интересным собеседником. С ним всегда было комфортно и надежно. Я часто бывал у него дома (он жил недалеко от меня), хорошо знал его маму-красавицу и младшую сестренку. Эх, Юра, Юра! Друг мой сердечный... Для меня ты всегда – Рыцарь без страха и упрека... Как д, Артаньян, как Дон Кихот.

Приходилось бывать мне и в семьях одноклассников Иосифа Брейдо и Юры Шапиро. Отцы у них, насколько я помню, были военными (у Юры, кажется, военврач). Запомнилась исключительно теплая, дружеская, интеллигентная и демократическая обстановка в их домах. Иосиф – умный, спокойный, немногословный, но всегда отзывчивый юноша; школу окончил с золотой медалью. Юра – веселый, где-то даже бесшабашный и, может быть, поэтому обладающий сильным магнетическим полем, куда неизбежно попадали и пропадали все, кто встречался взглядом с его улыбающимися, обаятельными глазами. Несмотря на то, что отмеченные качества, казалось, не слишком располагали к прилежанию и к успешной учебе, Юра был удостоен серебряной награды.

Два предмета: история и обществоведение представляли для меня специфическую трудность. Их успешное освоение требовало титанической работы с первоисточниками (труды Ленина, Маркса) и регулярного штудирования передовиц центральных газет. Конспектирование первоисточников давалось мне с большим трудом, а чтение газет было просто пыткой. Эти шедевры политической литературы, эти светочи передовой мысли действовали на меня гипнотически в буквальном смысле: я ментально, моментально и монументально погружался в летаргический сон, и возвращал меня к жизни только звучный гонг о закрытии библиотеки. В этой связи вспоминается "Отчаянная песенка преподавателя обществоведения" Юлия Кима: "Люди все, как следует, спят и обедают, чередуют труд и покой. Только я все общество ведаю, ведаю, а оно заведует мной... – и в конце: – Выберу я ночку глухую, осеннюю, я уж все давно рассчитал, лягу я под шкаф, чтоб при легком движении на меня упал "Капитал".

Не помню, чтобы папа с мамой когда-нибудь читали газеты, но я знал, что все нормальные люди должны уметь читать эту передовую литературу. Я пробовал научиться этому нелегкому делу самостоятельно, но у меня ничего не получалось: мой тщедушный организм не в состоянии был воспринимать этот высокий штиль и понимать эту высокоорганизованную материю, мой хилый желудок отказывался переваривать эту пищу богов. Я страшно переживал по этому поводу: как так, все могут читать газеты, а я не могу. И как, скажите на милость, было мне существовать в то замечательное время тотальных политзанятий и еще более тотальных политинформаций? У меня даже развился комплекс на этой почве и преследовал меня вплоть до повсеместной отмены пресловутых политзанятий и политинформаций. Но я все-таки нашел способ существовать, даже будучи таким патологическим неучем, вернее, меня каждый раз выручали друзья и коллеги на каком бы участке фронта я ни находился: они проводили политинформации вместо меня.

В мае 1964 года я совершил свой первый прыжок с парашютом. Это было ни с чем не сравнимое, дотоле неизведанное ощущение и состояние. Когда я вывалился из самолета, все внутренности устремились к горлу и готовы были выскочить из хаотично кувыркающегося и обезумевшего организма. Но стоило раскрыться парашюту, сознание не просто вернулось в утробу, но наполнило её каким-то диким восторгом: душа ликовала, сердце птицей билось в груди. Мы были совершенно невменяемы и что-то дико орали друг другу. Под нами раскинулась какая-то неправдоподобная, схематичная, как на карте или плане, земля, с небольшими прямоугольниками полей, с миниатюрными коробочками домов, с крошечными кудряшками деревьев. Мы увидели крест, куда должны были приземлиться, и перемещающиеся точки людишек на старте. Все было крошечным, миниатюрным, лилипутским и очень смешным, а мы были огромны и как бы попирали страну Лилипутию болтающимися ногами.

Лето после 10-го класса было довольно-таки содержательным и насыщенным. Во-первых, мы с двоюродным братом Яшей и бабушкой Кохшей съездили в г. Джамбул к дяде Роману и весьма неплохо провели там время. Нескончаемые сады, изобилие фруктов, дынь, арбузов, благовонные восточные рынки, купание в арыках, жгучая вязкая жара при абсолютно неподвижном воздухе – всё это неотъемлемые приметы южных районов Казахстана.

Может быть, заслуживает внимания следующий эпизод. Под карнизом чердака, на самом верху, я увидел несколько больших осиных гнезд, возле которых флегматично летало несколько ос, и решил пощекотать им нервы. Приставил к фронтону длинную лестницу, взял толстую палку и на глазах у брата Яши отважно полез вверх. Добравшись до ближайшего гнезда, я сшиб его палкой, и тут же огненными стрелами в меня вонзились тысячи жал. Сраженный наповал, я полетел вниз с огромной высоты. На удивление, я ничего у себя не повредил. А вот образ свой я поменял на более обычный и привычный для этих мест. До конца дня я отлеживался в арыке, зарывшись в ил. Получилось, что не я им, а они мне изрядно пощекотали нервные окончания.

Вторую часть лета провел я в родном селе. Я был застигнут врасплох: на меня обрушилась любовь в образе Прекрасной Дамы, даже двух. Одна из них Валя, другая – Света. Обе они были из бригады маляров-штукатуров, которая прибыла из Целиноградского ПТУ, кажется, на практику. Жили девчата в общежитии, и, когда я приехал из Джамбула, мой двоюродный младший брат Володя успел развить в этом "осином гнезде" бурную деятельность. Разумеется, и меня затянуло в эту воронку. Вечера и выходные дни мы проводили очень весело. Ходили в кино, на танцы; я играл на баяне, а девчата танцевали. Потом до рассвета ходили по селу и горланили песни под баян. И всё это на трезвую голову.

Однажды залезли на ветряную мельницу, высотой никак не меньше пятиэтажного дома. На излете наших походов заваливались в общагу и вели любовные разговоры. Валя, например, спрашивала: "Ты кого больше любишь, меня или Свету?" Я отвечал честно, без тени сомнения: "Конечно, тебя!" Когда такой вопрос задавала Светлана, я говорил то же самое без зазрения совести. Я преподавал Вале несколько уроков езды на мотоцикле, и она носилась по селу, как заядлый наездник. Признаюсь, очень переживал за нее. Классные были девчонки, вспоминаю их со светлой грустью.

Еще одно знакомство подстерегало меня этим летом – знакомство, оказавшееся, как говорят, судьбоносным. К нам приехали с концертом из какого-то села нашего района студенты Московского авиационного института, что-то они там строили. Все в стройотрядовской униформе, красивые, легкие, веселые, они вдохнули в нашу устоявшуюся сельскую жизнь какой-то свежий, легкокрылый ветер, какой-то неповторимый, непривычный для наших ноздрей аромат. А песни какие они пели! Мы таких и не слыхивали: "Качает, качает, качает задира-ветер фонари над головой. Шагает, шагает, шагает веселый парень по весенней мостовой..." – просто подхватывает и уносит в неведомую страну, в неведомые дали. После концерта я пригласил ребят к себе домой, и мы до утра без умолку о чем-то говорили. В частности, они поведали

мне о том, что у них при институте есть авиаспортклуб, где можно заняться любым из авиационных видов спорта: парашютом, планером, самолетом. Вот в этот момент и заронили они в мой "ослабленный нарзаном организм" запретное зерно. Но сказали, что лучше поступать в Казанский авиационный, что он сильнее Московского.

Хочется рассказать о моем двоюродном брате Володе Кохе. В первой главе я писал, что родился он в 50 году в первой семье моего дяди Отто, который вскоре завел другую семью. А тетя Катя, мать Володи, вышла замуж и сына забрала с собой. Отчим дядя Костя был славный человек и к Володе относился как к родному сыну. Он не то что не наказывал его физически, слова грубого Володя от него никогда не слышал. Володя любил бывать в нашей семье, так что я воспринимал его как родного брата. Рос он свободным и смышленным и, я бы сказал, несколько разбитным. Мать хоть и старалась держать сына в строгости, но у неё это не очень получалось.

Володя был независимым, веселым, озорным и совершенно неприхотливым. Мы с ним иногда уезжали на мотоцикле на рыбалку с ночевой на дальнюю старицу. В скалах, обрывающихся в воду, разводили костер, а под утро засыпали прямо на камнях. А на самой зорьке выплывали на лодке, сделанной из колесной камеры трактора "Беларусь", в клочья молочного пара, клубящегося над зеркальной гладью воды.

Володя рано научился играть на гитаре, где-то разучил блатные песенки (в конце 50 – начале 60-х съезжалось много молодежи на освоение целины) и с удовольствием распевал их приезжим девушкам.

Однажды у него случился роман с одной целиноградской девчонкой, приехавшей на лето в Волгоновку к родичам. Но молодая особа, вернувшись к себе в Целиноград, мало того, что забыла свою деревенскую любовь, но еще и написала моему брату уничижительное письмо. Я принял оскорбление на свой счет и написал этой особе от имени брата дерзкое письмо в стихотворной форме (я тогда как раз баловался ритмом и рифмой). И что вы думаете: любовь вернулась к деде, как миленькая. Вот уж поистине, – магическая сила рифмованного слога. Зато сие эфемерное чувство навсегда покинуло сердце моего отмщенного брата, и к увещеваниям целиноградской дивы он остался черств и равнодушен.

После школы Володя поступил в Целиноградский медицинский институт. Будучи художественно одаренным и имея счастливый характер и хорошее чувство юмора, он активно участвовал в художественной самодеятельности института – словом, был на виду и на высоте.

И вот когда мой брат был в успехах, как в шелках, и ничего особенного не ожидал, в Целиноград осенью нагрянула та самая комиссия, которая двумя годами раньше перекрыла мне дорогу в летчики. Володя ради интереса попробовал и прошел все три комиссии: медицинскую, аттестационную и мандатную. Это и решило его судьбу. Он уехал в Ставрополь, окончил летное училище и стал летчиком-истребителем. В училище он так же, как и в мединституте, участвовал в художественной самодеятельности, был бессменным конферансье. По окончании училища брат мой женился и уехал служить сначала в Хабаровск, потом на Сахалин.

Мы встретились с ним в 77 году, когда он приезжал на побывку в Волгоновку один, без семьи. Он, тогда еще совсем молодой человек, был в звании подполковника и занимал должность замкомполка по политической части. Это был совсем другой человек, нежели тот, которого я знал когда-то. Он ни на что не жаловался, но я почувствовал, что его будто что-то придавило, приземлило, во всяком случае, выглядел он старше своих лет. Он сказал мне, что уже два года собирается поступать в академию, но всё почему-то откладывает. Намерению этому, однако, не суждено было свершиться, так как вскоре брат мой погиб при загадочных обстоятельствах. Со слов тети Кати, приехавшие к ней с соболезнованиями сослуживцы сказали, что Володя пошел на перехват нарушителя границы, таранил его и упал в океан; туда и сбросили венки. У него остался сын Володя, который даже связывался со мной и с моими сестрами в 90-х на предмет переселения в Германию.

Наконец я достиг возраста, когда можно было учиться на летчика. Из нашего класса еще три человека решили связать свою судьбу с этой романтической профессией. После того, как мы прошли врачебно-летную комиссию (ВЛК), начались занятия в аэроклубе. Если мне не изменяет память, мы изучали тринадцать авиационных дисциплин (больше, чем в школе): аэродинамику, конструкцию самолета Як-18У, двигатель, самолетовождение, аэронавигацию, радио- и электрооборудование самолета, приборное оборудование, гидравлическое оборудование, основы радиообмена, метеорологию, спасательные средства, аэродромное оборудование. По шести дисциплинам были предусмотрены экзамены, по остальным – зачеты. После сдачи экзаменов и зачетов – наземная подготовка на аэродроме: запуск двигателя, руление, радиообмен, имитация взлета, полета по кругу, посадки, фигур высшего пилотажа.

И – в небо. Мы должны были налетать 42 часа по программе летной подготовки, чтобы потом продолжить обучение в Ставропольском высшем военном авиационном училище летчиков-истребителей.

Но еще задолго до наземной подготовки мы отработывали до автоматизма согласованные движения рук и ног для выполнения той или иной фигуры высшего пилотажа: в классе на тренажере, а дома, сидя на табуретке и держа в правой руке палку (воображаемую ручку в кабине самолета), а ногами упираясь во что-то твердое, как в педали. Программа была чрезвычайно насыщенная и трудная. Но нам все было нипочем. Главное, что мы были пилотами-курсантами, будущими летчиками-истребителями, и у нас уже начали отрастать крылья.

Занимались с невиданным энтузиазмом. Занятия проходили вечером, четыре раза в неделю по четыре урока, под руководством опытных преподавателей. Каждую дисциплину изучали в хорошо оснащенных спецклассах: двигатель на стенде, приборы, агрегаты, узлы, шасси и пр. – все в натуральном виде. Кроме того, все дублировалось красочными плакатами. Обучение этому непростому делу было поставлено на серьезную, твердую ногу. В начале каждого урока обязательный обстоятельный опрос; и охват курсантов был довольно широкий, во всяком случае, участвовали все. А ведь был еще одиннадцатый выпускной класс, и там тоже надо было работать, не щадя живота и других, не менее важных органов.

Май месяц. Сданы экзамены и зачеты. В ожидании медицинской, аттестационной и мандатной комиссии из Ставрополя мы начали выезжать на аэродром для прохождения наземной подготовки. Прибыла комиссия и зарубила меня по состоянию здоровья. Диагноз: конъюнктивит глаз. Вот тебе раз, что еще за конъюнктивит? Слова-то такого не слышал. Запомнил злополучное слово и побежал в поликлинику. Посмеялись, успокоили: "Ну какой это конъюнктивит! Легкое покраснение глаз от недосыпания. Спите нормально, и через неделю все пройдет". Я, в крайней степени отчаяния: "Но через неделю от комиссии не останется и следа, умотает в свой Ставрополь!" – "Объясните, убедите", – последовало напутствие.

Помчался объяснять и убеждать председателя всех трех комиссий. Сей высокий чин не стал возражать против диагноза "легкое временное покраснение глаз", но сказал приблизительно следующее: "Летчик должен быть *абсолютно* здоров, здесь и сейчас". И добавил успокаивающе: "Что вы переживаете? Отлетаете программу в родном аэроклубе этим летом, потом столько же – следующим и с восьмьюдесятью четырьмя часами – милости просим к нам в Ставрополь. Вам даже легче будет учиться". Ну что мне оставалось после такого оптимистического напутствия? Благоприятный для меня вариант был загублен решительно и бесповоротно, и я вынужден был играть свой водевиль по навязанному мне сценарию. Летом отлетаю программу, осенне-зимнюю навигацию отработаю либо трактористом в родном селе, либо электромонтажником на заводе, где, согласно школьной программе, получил специальность и проходил практику, следующее лето снова отлетаю, потом, как сказал Владимир Семенович, уложу чемодан и – в Ставрополь, и – в Ставрополь.

Однако радужным планам этим не суждено было сбыться. Немного поостыв от переживаний и вспомнив мою встречу со студентами Московского авиационного, я оказался, как

витазь на распутье, на перекрестке трех дорог: 1) летать в аэроклубе два лета и потом, если повезет, – в Ставрополь; 2) поступать в Казанский авиационный институт и там летать в авиаспортклубе; 3) поступать на второй курс Карагандинского музыкального училища, по классу баяна, – зря что ли занимался по три-четыре часа в день с преподавателем названного учебного заведения. И хотя учителя склоняли меня ко второму варианту, родители предоставили мне право выбора. Чашу весов неожиданно качнул в сторону второго варианта мой друг и одноклассник в одном лице, Валера Марушев. Оказывается, он давно намылился на радиотехнический факультет Казанского авиационного института. Вот те раз! Так бы сразу и сказал.

Мы сели на Ил-18 (первый раз летел на таком шикарном самолете) и взяли курс на Казанский авиационный институт, полетели сдавать экзамены, тем более что нам, как гражданам, имеющим правительственные награды (а у нас с Валерой по золотой медали), разрешается сдавать только один предмет: математику письменно и устно.

Важно украшен мой школьный альбом –
молотом тяжким и острым серпом.
Спрячь его, друг, не показывай мне,
снова я вижу, как будто во сне:
восьмидесятый, весь в лозунгах, год
с грозным лицом олимпийца встает.
Маленький, сонный, по чёрному льду
в школу вот-вот упаду, но иду.
Мрачно идет вдоль квартала народ.
Мрачно гудит за кварталом завод.
Песня лихая звучит надо мной.
Начался, граждане, день трудовой.
Все, что я знаю, я понял тогда –
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был – на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
"...личико, личико, личико, ли...
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма... –
в ватный рукав выдыхает зима:
Аленький галстук на тоненькой ше...
греет ли, мальчик, тепло ли душе?"
Всё, что я понял, я понял тогда –
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был – на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.
Ржавая, в чёрных прожилках звезда.
И – никого. Ничего. Никогда.
(Б. Рыжий)

Глава 6. КАИ. Начало

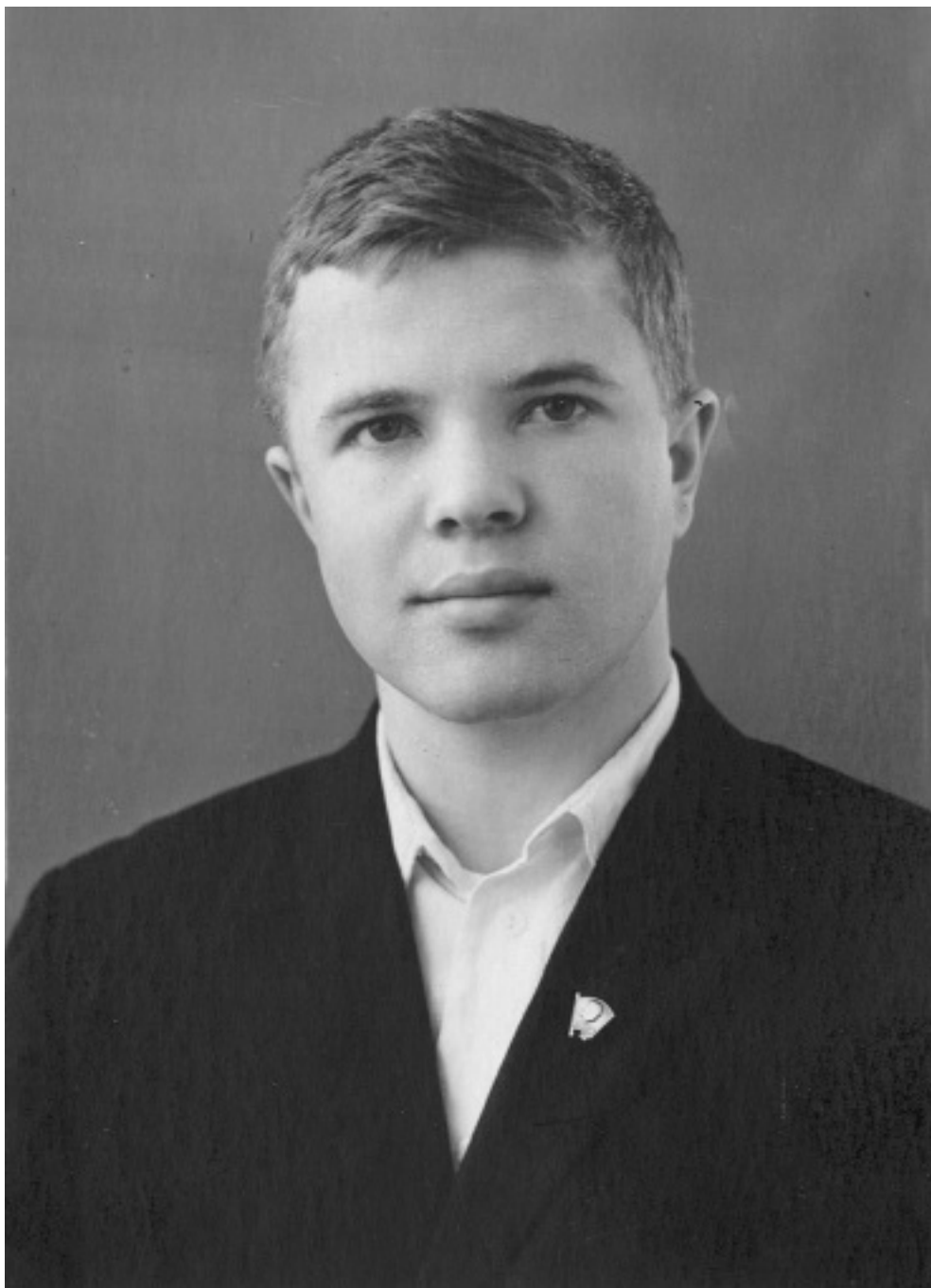
КАИ – мое начало,
для взлета полоса.
Душа мечтать устала
и рвется в небеса.

В Казани мы с Валерой разбежались в разные стороны: он – на 5-й радиотехнический факультет, я – на 1-й факультет летательных аппаратов. Едва поселившись в общежитии № 1 на Большой Красной, я пошел в приемную комиссию и спросил, можно ли будет здесь, в КАИ, летать на самолетах, чем привел в недоумение и замешательство членов высокой комиссии. В конце концов мне разъяснили, что в КАИ учат *строить* самолеты, а не *летать* на них. Если вы прибыли с намерением летать, то вы подали документы не по адресу, вам следует поступать в авиационное училище либо, на худой конец, обратиться в аэроклуб. И ни слова об авиаспортивном клубе, который, как случайно выяснилось через год, действительно был в КАИ. Может быть, в приемной комиссии не знали об этом? Я пошел в аэроклуб. Там мне сообщили, что надо выбирать что-то одно: либо учиться в КАИ, либо поступать в аэроклуб, надевать военную форму и летать в качестве пилота-курсанта, что приравнивается к службе в армии. А дальше – варианты: 1) можно отслужить три года в аэроклубе и уйти в запас; 2) отлетать программу 1-го года и поступать в любое летное училище, военное или гражданское: с налетом – зеленая улица; то же самое можно сделать после 2-го года и после 3-го. Я спросил, можно ли учиться в институте и летать спортсменом в аэроклубе. Мне ответили, что бывают наборы в спортивное звено, но не каждый год, – следите за объявлениями. Что оставалось делать, решил поступать в институт, а там будь что будет. Чтобы быть поближе к самолетам и не прозевать набор в спортивное звено, решил пока заняться парашютом.

Примеры заданий по математике показались мне очень легкими, решение просматривалось невооруженным глазом, и я как-то заскучал. Да и учеба в институте не была для меня приоритетом, а в главном деле я пока терпел фиаско.

Вечером, выйдя на балкон, я сначала услышал, а потом увидел, что внизу у парадного подъезда общежития на скамейке сидят ребята и поют какие-то необычные песни. Я спустился вниз и полюбопытствовал, что это за песни такие? Имена авторов мне ни о чем не говорили: Визбор, Окуджава, Высоцкий, но песни тронули за живое. Мне сразу захотелось присвоить эти небывалые песни: не только слушать, но и петь их. Так произошло знакомство с жанром туристской-самодельной-авторской песни, с которой я уже никогда не расставался.

Письменный экзамен по математике написал на "5". На устном посмотрели письменную работу и, не сказав ни слова, поставили "пятерку". Я удостоверился, что зачислен на 1-й курс 1-го факультета летательных аппаратов по специальности "самолетостроение".



Олег Кох – студент 1 курса КАИ. 1965 г.

Узнал также, что общежитие мне не светит, так как доход в моей семье на душу превышает пятьдесят рублей. У тех, кому дали общагу, было меньше двадцати. "Господи, – подумал я, – какие бедные люди бывают на свете!" И даже пролил слезу. Позже я узнал, что только дураки представляют правдивые справки о заработке родителей. На следующий год привез фальшивую и получил *законное* место в общежитии. А пока я сел на поезд и покатыл домой.

Занятия на 1-м курсе 1-го факультета проходили далеко от главного здания КАИ, на окраине города в районе авиационного завода. Вот там, недалеко от учебного корпуса, на улице Олега Кошевого, я и нашел квартиру.

Хозяева, муж и жена, то ли марийцы, то ли чуваша – люди спокойные, непритязательные, нелюбопытные, неразговорчивые, что меня вполне устраивало. У мужа эти характеристики были выражены в самой крайней степени. Маленький плюгавенький мужичонка неопределен-

ного возраста, с куда-то запрятанными и какими-то закисшими глазами, он представлял бы собой неодушевленный предмет, если бы изредка не перемещался от кровати до кухонного стола и обратно. Не знаю, каким образом он общался с хозяйкой, но я не слышал от него ни единого слова, ни единого звука. Если бы он был глухонемой, то выражал бы свои эмоции с помощью мимики и жестов. Но в том-то и дело, что лицо его было совершенно статично, а руки нужны были только для принятия пищи и, вероятно, чтобы справить нужду. Он все время лежал на кровати и ходил только на кормежку. Признаков болезни он тоже не обнаруживал: не стонал, не кашлял, не принимал лекарств. В общем, это было совершенно безобидное существо, только внешне напоминающее человека. Жили мы с ним вместе и еще с клопами в отдельной комнате. Хозяйка же, наоборот, была ядреная бабенка, плотная, в меру упитанная, не старше пятидесяти, не злая, не добрая – никакая. Жила в проходном зале, в нашу комнату никогда не заходила. Психологически я чувствовал себя с ними вполне комфортно.

Надо было как-то налаживать быт, к которому я, признаться, не был готов. Посуды у меня не было, продуктов тоже, готовить я не умел. Надо было с чего-то начинать. Хозяйка разрешила пользоваться посудой, и осталось сходить в магазин за продуктами. Спросив свой организм, чего он хочет на ужин, я пошел в магазин и купил картошки. Кое-как почистил любимый продукт, включил газ, поставил на газ сковородку, нарезал пластинками картошку, немного подумал и налил в сковородку воды, закрыл крышкой и, весьма довольный тем обстоятельством, что я, оказывается, *умею* готовить, пошел в свою комнату дожидаться, пока поджарится картошка. Почувствовав запах гари, я распахнул дверь своей комнаты. Из кухни валил густой сизый дым. Вырубив газ и открыв крышку сковороды, я обнаружил вместо белой картошки черные угли. Почему-то я совсем не расстроился, несмотря на то что остался без ужина. И хозяйка, придя с работы, мне ни слова не сказала – верх инфантилизма, – посоветовала только: попробуйте вместо воды налить масла. В следующий раз я так и сделал – и все получилось.

А вот детки мои освоили поварское дело в туристских походах довольно рано. А куда денешься: голод, говорят, не тетка. Сын Андрей, например, в восемь лет в походе на костре пёк блины. А на первом курсе Питерского университета варил такие пахучие щи, что сбегалось пол-общаги, и вряд ли ему что-нибудь перепало. Но ведь смысл не в том, чтобы набить собственное брюхо, а в том, чтобы спасти от голода кучу страдающего народа.

Быт я худо-бедно наладил, а вот с клопами подружиться не сумел. Мужичка они, как своего, не трогали, – может, у него кровь была другого цвета? – и со всем энтузиазмом накинулись на меня. Эти кровожадные насекомые чувствовали себя как дома: ничего и никого не боялись и разгуливали по стенам и потолку даже среди бела дня. А ночью они, как штурмовики, пикировали с потолка на спящий объект. Я включал свет, отлавливал их десятками и методично и бесстрастно давил на подоконнике, разбрызгивая собственную кровь. И так за ночь несколько раз. Самое удивительное то, что внутренне я смирился с таким соседством: смешно ведь раздражаться и обижаться на этих маленьких, тощих, плоских насекомых – им ведь тоже есть хочется. Хозяева терпят, а чем я хуже?

Однажды – кажется, это были выходные – к хозяевам приехали гости из деревни – муж и жена. То ли какая-то родня, то ли просто знакомые. Понятно, устроили на радостях праздничный ужин. Позвали и меня, но я почему-то отказался: наверно, подумал, что неприлично сразу соглашаться. Но второй раз приглашать не стали. Застолье как застолье: самогон, закуска, разговоры – все чинно, мирно, со знанием дела. И мужичонка восседал за столом наравне со всеми, и самогон прилежно выкушивал. Для меня, само собой, вечер был безвозвратно потеряян. Ничего делать я уже не мог, и мне оставалось только сидеть и сквозь закрытую дверь слушать звонкий бульк наливаемой самогонки и аппетитный хруст ядреных, домашнего посола огурцов. Мне было и жалко, что я добровольно и опрометчиво отказался побаловать себя деревенскими разносолами, и любопытно посмотреть, как это делают другие, поэтому я чаще,

чем того требовал организм, бегал в туалет, осторожно открывая дверь в зал и протискиваясь между стеной и сидящими за столом гостями.

Любой праздник когда-нибудь да кончается. И этот в конце концов завершился. И, на удивление, без пыли и без драки. Завершился, прямо скажем, бездарно и прозаично. Стоило ли пить самогонку? Как-то без суеты, по-деловому, убрали посуду и на полу, где только что стояли стол и стулья, размахнули пуховую перину и, умиротворенные принятыми питием и яствами, улеглись в таком порядке: варяжский гость посередине, женщины по обе стороны от него. Мой мужичок как ни в чем не бывало приковывал на свое постоянное лежбище, причем ничто в нем не изменилось: тот же бессловесный облик, те же закишие глаза. Ну хоть бы огонек блеснул, просто робот какой-то. Что делать, и я, не солоно хлебнувши, отправился смотреть голодные сны.

И вдруг среди ночи – шум, гам, какая-то возня. Что такое?! Уж не клопы ли начали буянить? Ан нет: это две женщины с победоносными воплями таскают друг друга за волосы. Оказывается, гость, вкусив материальной пищи, ощутил острую потребность в духовной и, вероятно, в знак признательности за оказанный теплый прием, решил уважить хлебосольную хозяйку. Законная супружница, не оценив жертвенного порыва суженого, устроила постыдную потасовку. Да ведь не виновника принялась бутузить, а совершенно невинного человека. Хоть и греховодник, а – свой, авось пригодится еще. А "свой" стоит и, как и положено самцу, спокойно ждет, кто кого одолеет и, следовательно, кто ему достанется.

Казалось, что после такой драматической развязки гостям ничего другого не оставалось, как ретироваться "по старой смоленской дороге", не претендуя даже на законный посошок. Как бы не так: женщины, вполне удовлетворенные клочками выдранных волос и полученными тумачками, как ни в чем не бывало улеглись, как и прежде, по обе стороны виновника драмы, используя его, очевидно, в качестве живого барьера. Дохнуло чем-то языческим: так, вероятно, когда-то без всяких ханжеских предрассудков и частнособственнических инстинктов жили наши предки. Ну вот, а я уж, грешным делом, подумал, что погран один из основных вселенских законов, а именно: закон сохранения энергии, и драгоценный энергоноситель истрачен зря. А нужно было всего-навсего набраться терпения и дать возможность внутренней энергии спокойно, с достоинством перейти во внешнюю. Все опять-таки завершилось мирно, и остаток ночи участники спектакля, а также свидетели его провели, вполне удовлетворенные исходом.

Начались занятия. Идти до учебного корпуса было недалеко, нужно было только пересечь парк. Учебная группа – 25 человек по плану; кажется, было больше. Казанских – трое или четверо. Кроме меня, еще два человека снимали квартиру на той же улице Олега Кошевого: Толик Батманов и Гена Климов. Остальные жили в общежитии на улице Короленко. Это довольно далеко, приблизительно посередине между нашим учебным корпусом и главным зданием КАИ. Я часто заходил к Толику с Геней. Жили они в дружной рабочей семье из четырех человек, занимали одну комнату в трехкомнатной квартире, питались вместе с хозяевами. Вскоре меня пожалели (хотя я вроде не жаловался) и предложили пополнить их веселую компанию. И действительно, жить стало веселей. Толик Батманов, серьезный молодой человек атлетического сложения – после армии, – взял над нами шефство: утром, перед занятиями, – зарядка, пробежка в парке, завтрак и – на лекции. Гена Климов удивил меня тем, что имел фотоаппарат и, несмотря на юный возраст, был искушен в тонкостях этого волшебного искусства. Он сразу обрушил на меня все свои познания в области фотографии, и мне ничего не оставалось, как пойти в магазин и купить семидесятидвухкадровый фотоаппарат "Чайка".

В один из теплых солнечных дней той осенней поры, которую в средней полосе принято называть бабьим летом, небольшая компания из пяти человек отправилась в воскресное путешествие в окрестностях Казани. Кроме меня и Валеры Марушева, были две Гали, одиннадцатиклассницы, и десятилетний брат одной из Галь, которая к тому же приходилась Валере дальней родственницей. Проводниками нашими, на правах аборигенов, были девчонки. Жили они

в том же районе, что и я, то есть на окраине Казани. Поэтому нам не пришлось пользоваться городским транспортом, и прогулка наша от начала до конца была пешеходной. Мы шли по лесной дороге, пересекали какие-то поляны, потом опять углублялись в лес, где-то жгли костер, наверное, что-то ели.

Можете себе представить состояние человека, который никогда не видел настоящего леса. И что значит просто идти по дороге без всякой цели весь день? Для меня все было нереально, как во сне, как в сказке. На обратном пути, когда солнце уже ушло за вершины деревьев, я отстал от ребят, отошел от дороги в глубь леса, лег навзничь на мягкий мшистый ковер из желтых листьев, закинул руки за голову и стал смотреть в голубое небо, куда уносились белые березовые стволы. Как живо играли березы переливающейся в лучах заходящего солнца золотой листвой. И вдруг я почувствовал, что я – дома, что мне никуда не надо и, главное, не хочется уходить. И позже, когда я стал заядлым туристом, это чувство ни разу не обмануло меня.

Наверное, во все времена студенческая жизнь имела два основных аспекта, две главные составляющие, две ипостаси, что ли: главную и второстепенную, обязательную и необязательную, приятную и не очень – то есть часть жизни, связанную с учебой, и другую часть, непосредственно с учебой не связанную. У каждого эти две части соотносились по-разному. Кто-то большую часть времени, сил и души отдавал главному поприщу (имеется ввиду постижение наук), другие – наоборот. Как бы мне ни хотелось говорить об обязательной стороне студенческой жизни, начну именно с нее, так будет правильно. А потом уж, сбросив обременительный груз, налегке отправимся в увлекательное путешествие по различным студенческим странам и континентам.

Пытаюсь вспомнить и представить своих однокурсников, преподавателей и, главное, себя и свое состояние именно в первые дни учебы, свое отношение к главному делу, ради которого все это вокруг нас организовалось и затеялось, осознать, что же с нами, вчерашними школьниками, произошло, зачем мы пришли в этот храм с звучным названием Казанский авиационный институт и кем станем после его окончания. До сих пор не могу понять, почему я сразу не задал себе эти простые, естественные и самые насущные вопросы и даже не пытался это сделать. Не пытался хотя бы в общих чертах представить спектр возможных приложений и использования знаний, полученных в КАИ, не пытался ответить на простой, но важный вопрос: нужно ли это мне?? И что вообще мне нужно? И наши наставники не очень старались нам это разъяснить. Помню, что из их уст не раз звучала расхожая, но мало что объясняющая фраза: "Выпускник КАИ может работать везде: от директора завода до директора совхоза". Причем произносилась она с гордостью и апломбом. В этом случае я соображал, что если действительно представится такой выбор, то я бы пошел директором совхоза, так как роль последнего я хотя бы приблизительно представлял и так же приблизительно знал, как ее достичь. А вот как добратся до высот директор завода, я не имел ни малейшего представления.

Не говорили нам и то, что подавляющая часть выпускников будет нести службу на боевом посту мастера участка и что главной боевой задачей и главной зубной болью его будет правдами и неправдами выполнить ежемесячный план, причем часто в таких условиях, когда нормально и достойно этот план выполнить невозможно. И уж, конечно, не принято было говорить, что значительная часть нашего брата должна будет выполнить свой патриотический долг, то есть отслужить два года в рядах доблестных вооруженных сил – зря что ли тебя дрессировали на военной кафедре. И благо, это было бы сразу после учебы. Тебя могут выдернуть из налаженного русла бытовой, семейной и профессиональной жизни в любой исторический момент, когда ты этого меньше всего ожидаешь. И этот дамоклов меч может висеть над тобой всю сознательную жизнь. Ни от кого, кому пришлось хлебнуть армейской баланды, не слышал я восторженных всхлипов, а вот о том, что офицеры с военных кафедр – изгой в армейской среде, – довольно часто. Ничего удивительного: люди с заметными следами интеллекта на лице

в подобных средах – белые вороны, которых так и хочется клонуть, ну просто мочи нет, как хочется.

Случалось, и судьбы калечили. Жил на нашем курсе поэт Коля Д. Неисправимый романтик и уж совершенно патологический патриот, человек с обостренным чувством правды. Не обычной, обыденной, а какой-то глобальной, исторической что ли правды. Я всегда удивлялся, как в нем уживались поэт и технарь. Лично я технику не любил (правда, не сразу это понял), а патриотизм вообще считал, мягко говоря, лишним, провинциальным и, по существу, ложным чувством. Однако мы были с ним близки: он, как многие деревенские, был прост в общении и, невзирая на некоторые странности, вполне простительные для поэта, обладал неким магнетизмом.

Он распределился на Горьковский авиационный завод и, как молодой специалист и вдобавок отец двоих детей, получил две комнаты в трехкомнатной квартире. Через два года после окончания института, когда Коля прочно встал на ноги как авиационный инженер и значительно укрепил свои позиции на поэтическом фронте, имея при этом надежные тылы в семейной жизни, его неожиданно призвали в вооруженные силы. Любой нормальный человек расценил бы этот произвол, по крайней мере, как вмешательство в личную жизнь. Любой, но не Коля. Потому что Коля был поэтом. Он быстренько сдал мне свою квартиру, чему я был бесконечно и непомерно рад, собрал монетки, схватил в охапку жену и дочек и, в крайней степени возбуждения, двинул, нет, не выполнять свой гражданский долг, не тянуть лямку – фу, какие низкие, недостойные поэта слова, – он помчался умножать доблесть и честь русского воинства.

Бог мне свидетель, что я не ерничаю и тем более не издеваюсь над святыми вещами, а говорю как никогда серьезно, тем паче, имея в поле зрения трагический финал этой истории. Ибо уверен, так оно и должно быть, как представлял себе это покойный поэт, как было всегда в русской армии и, надеюсь, и сейчас имеет место в нравственно здоровых воинских частях.

Коля писал мне восторженные письма о новом для него военном поприще, в том числе в стихотворной форме. Он писал, как он захвачен военной романтикой, как нравится ему военная форма и лейтенантские погоны, какие радужные сны ему снятся. Например, что он гордо марширует в бесконечных рядах военных людей и как над ним развеваются знамена воинской славы, и что он уже не шествует, а летит, подхваченный, как крыльями, этими знаменами. Писал также, что печатается в армейской газете и что это всячески поощряется командованием.

Не понимаю, как он умудрился так долго, в течение двух лет, пребывать в состоянии эйфории? У других (с их слов) разочарование и прозрение наступало гораздо раньше, гораздо раньше они начинали подвергаться остракизму, в силу прививки свободы, полученной ими в свобододолюбивом институте, и ненужного в подобной среде чувства человеческого достоинства (ты начальник – я дурак и т. д.). Как бы там ни было, но Коле до такой степени пришелся по душе армейский образ жизни, что он решил связать свою жизнь с этим ведомством и подписал контракт на 25 лет. Вскоре после этого тональность писем резко изменилась. Не буду описывать эволюцию происшедших с Колей перемен и тем более не представляю, как ему удалось вырваться из этой структуры (наверно, приложил ПМ к виску – к своему, конечно), но он вернулся совершенно надломленным человеком, запил, в состоянии алкогольного опьянения стал обнаруживать агрессию, чего раньше с ним никогда не было, и однажды был сброшен с поезда и погиб. Так закончилась жизнь поэта-романтика, не способного на компромиссы.

Однако вернемся к вещам основополагающим. Дело ведь не в том, что после института нужно было работать мастером на заводе или служить в армии, надо – значит, надо. И многие прошли через это. И мастерами были неплохими, и план выполняли, и по служебной лестнице потихоньку поднимались, некоторые дошли и до директоров завода или их заводов, и в армии служили и до генералов дослуживались, а уж до полковников – обязательно. И, конечно, не виноваты наставники: говорили – не говорили, разъясняли – не разъясняли, – разве в этом дело.

Нечего сетовать на наставников, захотел бы – узнал. А я пустил все на самотек. Передо мной все еще призрачно мерцала надежда как-нибудь вырваться на летную профессию. Ну просто мания какая-то, навязчивая идея. Хорошо, что не вырулил, ибо одно дело – романтика и совершенно другое – военная служба. Далеко не каждый на это способен.

А ведь возможностей найти дело по душе с “каёвским” (стихийно сложившийся местный термин, обозначающий причастность к Казанскому авиационному институту) образованием было предостаточно. Кроме производства, были еще и всевозможные КБ и НИИ, академические институты и университеты, где можно было и преподавать, и науку двигать. В конце концов, можно было просто учиться, по-настоящему осваивать предметы, создавать интеллектуальный потенциал, а там видно будет. Но я и вкус к учебе умудрился потерять, который у меня всегда был. На лекциях мне было неинтересно, и я постепенно перестал их посещать.

Позже я не раз спрашивал себя, почему так случилось? Ведь у меня, как ни у кого, были великолепные стартовые данные для мощного взлета. Первая причина – отсутствие определенной цели. Вторая, как мне кажется, избыток свалившейся на нас свободы и дефицит ответственности. Я как бы чего-то ждал, на что-то надеялся. О том, чтобы направить свои устремления в диаметрально противоположное гуманитарное русло – например, заняться филологией, журналистикой и пр., – и мысли не возникало. А о том, чтобы попробовать свои силы на писательском фронте, боялся даже подумать. Правильный выбор профессии, поприща, на котором ты мог бы реализовать данные тебе Богом способности и которое захватило бы тебя целиком со всеми потрохами, вообще очень трудное дело и мало кому удается.

Оставим эти бесполезные абстрактные разговоры и поговорим о конкретных вещах. Как был организован учебный процесс? На первом курсе читались общеобразовательные предметы: естественные и гуманитарные. Кроме преподавателей начертательной геометрии и матанализа, не помню никого.

Первый, Лев Алексеевич Балабанов, был личностью неординарной. Чуть выше среднего роста, несколько сутуловатый, легкий и подвижный, как боксер на ринге (впоследствии мы узнали, что он действительно был боксером), он и в речи был легок и подвижен. Всегда в превосходном настроении, с неизменной улыбкой на лице и с великолепным чувством юмора, он легко завладевал вниманием слушателей, я бы сказал, приковывал к себе внимание и не отпускал до конца лекции. Материал излагал живо, образно, играючи. А ведь что такое начертательная геометрия или, как говорят студенты, начерталка? Это постоянная демонстрация теоретического материала на доске сложнейшими пространственными рисунками и чертежами, то есть эпюрами (с французского эпюр означает чертеж). Как правило, преподаватели этого предмета пользуются линейкой, циркулем и другими инструментами. Лев Алексеевич никакими инструментами не пользовался, а прямые линии, эллипсы и круги изображал безупречно. Он, например, одним взмахом руки проводил окружность на доске, другим движением ставил центр этой окружности и просил кого-нибудь проверить большим циркулем. Проверяли: идеально! – высший пилотаж. Занятия с Львом Алексеевичем всегда были занимательными спектаклями, в которых мы были не только зрителями и слушателями, но и действующими лицами. Чувствовалось, что он любит студентов. Мы платили ему тем же.

Показателен следующий случай. Как-то вечером Лев Алексеевич обходил комнаты нашего общежития с дежурной проверкой: посмотреть, как устроен быт, не злоупотребляют ли студенты алкоголем и прочее. Зашел к нам в 309-ю, поговорил с присущими ему улыбкой и юмором (в будние дни мы редко выпивали) о том о сём и пошел в следующую, 311-ю. Мы знали, что у ребят в гостях девчонки, но не знали, что они уже легли спать, притомились, наверно, после трудового дня (предупредить мы их всё равно не смогли бы). Лев Алексеевич постучал – не открывают. Еще раз, настойчиво. Открывается дверь, и разгневанный Володя Лубнин (высокий, крепкий физически парень, обладающий мощным ударом) – бац в торец незваному гостю. У Льва Алексеевича реакция боксера: увернувшись от удара, он нанес Луб-

нину ответный. Короче, преступная группировка была разоблачена, но никаких санкций не последовало. В оправдание Лубнина можно сказать, что у него с гостьей дела были серьезные и завершились они вальсом Мендельсона.

Второго преподавателя я запомнил не потому, что он был бледным и бесцветным – этим никого не удивишь, – а потому что он был косноязычным и как бы неуверенным в себе, и нужно было напрягаться, дабы что-нибудь понять. Наверняка, он был интеллигентным, деликатным человеком, но для преподавателя это, как говорят математики, необходимые, но далеко не достаточные качества.

Больше ни одной, сколь-нибудь выдающейся личности на двух первых общеобразовательных курсах назвать не могу. Лекции читались в лучшем случае нормальным голосом с достаточным количеством децибелов, но, как правило, монотонно, без взаимодействия с аудиторией.

Невооруженным глазом было видно, что общеобразовательные дисциплины как бы второстепенны, необязательны. И со стороны студентов отношение к ним было соответствующее: скорее бы перевалить через этот злополучный перевал из досадных и никому ненужных предметов. Но ведь именно этими предметами закладывается фундамент, и не только научный и инженерный, но и культурный. Многие спецпредметы, насыщенные высшей математикой и физикой, понимались студентами в лучшем случае поверхностно, интуитивно и буквально заучивались для сдачи экзаменов, а потом благополучно забывались, как кошмарный сон. Поэтому советская инженерия потеряла творческое начало, утратила основную функцию, содержащуюся в слове “инженер”, – человек, создающий что-то новое. На заводе инженер стал толкачом, портным, кое-как сшивающим концы с концами, диспетчером, администратором, начальником; в КБ – преимущественно чертежником; в НИИ – перекладывателем бумаг из одной стопки в другую, – кем угодно, только не творцом.

И только единицы соответствовали слову инженер и оправдывали это высокое звание, но не столько благодаря глубоким и прочным основам, приобретенным в вузе, сколько благодаря самообразованию и разгадыванию когда-то непонятых ребусов и кроссвордов, содержащихся в изящных математических выкладках и физических законах. И приходило запоздалое прозрение, и из груди невольно вырывался восторженный вопль: “Надо же! Оказывается, это так просто и так красиво!” Недаром в сознании студентов, а позже и выпускников укоренились антитезы, не однажды изрекаемые сначала отцами вузов – неоперившейся студенческой братии, а затем корифеями производств – молодым специалистам. Одни говорили: “Забудьте все, чему вас учили в школе!” Другие: “Забудьте все, чему вас учили в институте!” Вот как я могу ответить на эти антитезы: более глубоких и основательных знаний и по естественным, и по гуманитарным дисциплинам, чем в трех школах, в которых я учился с неподдельным интересом, я нигде не получил: ни в институте, ни даже в аспирантуре. Поэтому я их не только не забыл, но и постоянно использовал в своей работе.

Настоящих специалистов среди преподавателей КАИ (не только ярких ученых, профессоров, докторов наук, но и талантливых педагогов) можно по пальцам перечесть. Среди них Вахитов М. Б., Одинокоев Ю. Г., Воробьев Г. Н. Разумеется, взгляд у меня весьма ограниченный и сугубо субъективный, особенно на чисто научные достижения, а они, несомненно, имели место. Но ведь мало обладать могучим научным потенциалом. Не менее важная задача, а может быть, и главная: заинтересовать, зажечь студентов, научить их летать, а не ползать, дать почувствовать красоту и изысканность той или иной науки. А это может сделать только преподаватель. Перефразируя Некрасова, можно сказать: “Ученым можешь ты не быть, а преподавателем быть обязан”.

Скажу больше: преподаватель не только сам должен обладать мощным нравственным, интеллектуальным и культурным потенциалом, но и открыть глаза студентам на красоту и многообразие окружающего мира, показать, что мир един и неделим и что все в нем взаимосвя-

зано: история, музыка, литература, изобразительное искусство, архитектура, наука, инженерия – все виды деятельности человека, все стороны человеческой жизни, все грани личности двуногого существа из породы *homo sapiens*. Он должен объяснить студентам, для чего мы строим самолеты, делаем ракеты. Ведь не для того, чтобы убивать! Правильно расставить приоритеты. Наконец, довести до нашего сознания, вдолбить в наши тугоплавкие мозги простую истину, что самолет будет *правильно* летать и нести по свету все лучшее, что накопило человечество, если у строителя этого чудо-аппарата у самого за спиной будут крылья, в голове – ясный и *здоровый* ум, в душе звучать музыка сфер, в очах гореть звезды, а в сердце – радостное ощущение того, что все люди – *братья!* Для чего же мы тогда изучали историю и литературу в школе (а жаль, что не продолжили в институте) и философию на втором курсе? И ведь это не так уж трудно. Вместо того чтобы твердить без конца, что КАИ – пуп земли и прививать тем самым никому ненужный и даже вредный квасной патриотизм, посоветовать, между прочим, посмотреть тот или иной спектакль в драмтеатре или премьеру оперы в театре им. Мусы Джалиля, сходить на концерт в филармонию, прочитать ту или иную книгу, в конце концов, самому прочитать какое-либо стихотворение из сборника, "случайно" оказавшегося в портфеле. И ведь это не нужно делать натужно, притягивать за уши. Читая лекцию или проводя другие занятия, сплошь и рядом невольно натыкаешься на какую-либо фразу из классики.

В стольном граде Казани, в многонациональном граде Казани, в студенческом граде Казани, прочно вросшем корнями в щедро удобренные историческими событиями пласты и обладающем посему богатыми культурными традициями, возможностей для образования и направления студентов на путь истинных ценностей гораздо больше, чем может вместить человек. Уверен, многие преподаватели не отказывали себе в удовольствии черпать живительную влагу из упомянутых благодатных пластов. К тому же преподаватель для студента – всегда авторитет, во всяком случае, обязан быть таковым. О себе скажу, что я этого не почувствовал. Не ощутил я даже элементарной поддержки в учебе со стороны деканата, которую этот орган единственно и призван осуществлять. И не я один. Сколько ребят, влюбленных в авиацию и пришедших в КАИ, что называется, по зову сердца, были отчислены за неуспеваемость, не успев даже понять, как это произошло. А ведь вступительные экзамены сдали все и немалый конкурс выдержали (блатных, как я понимаю, в КАИ тогда не было), – значит, могли учиться.

Но вот какой парадокс: почему же тогда выпускники КАИ ценились довольно высоко, да и сейчас, насколько я знаю, ценятся. В первую очередь, благодаря учебному плану. Ведь такого спектра сложнейших дисциплин, напичканных физикой и математикой, и такого количества курсовых проектов с чертежами по 5 – 6 листов, которые без напряжения серого вещества выполнить невозможно, вряд ли сыщешь в других технических вузах. Мне, проработавшему без малого 40 лет преподавателем на машиностроительном факультете Чувашского госуниверситета и в других технических вузах г. Чебоксары и занимавшему одно время должность проректора по учебной и научной работе одного из них, есть с чем сравнивать. Во-вторых, благодаря высокому потенциалу студентов КАИ, и не только техническому. И, в-третьих, благодаря нашим учителям, хорошо знавшим свой предмет. Хотя, как я уже говорил, не всегда умевшим ярко и вдохновенно донести его до слушателей.

Это я сейчас ворчу, как геморроидальный старик, и скриплю, как несмазанная телега, взирая на все эти дела со своей преподавательской колокольни. А тогда я жил вполне безмятежно и счастливо и ни в какой поддержке, опеке и в каких бы там ни было разъяснениях не нуждался. Я был даже горд, что являюсь студентом прославленного, элитного, да еще и авиационного вуза. И, чтобы подчеркнуть свою причастность к избранному заведению, купил в военторге военную рубашку защитного цвета, прицепил к концам воротника две летных птички и два года с гордостью носил ее.

А теперь вспомним о другой, для многих более привлекательной ипостаси студенческой жизни. Недаром принято говорить, что студент чем только не занимался: пел, плясал, ходил

в походы, невзирая на погоду, а в свободное от приятных занятий время даже и учился, как поется в старинной студенческой песне: "От Евы и Адама пошел народ упрямый, такой неунывающий народ: от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год". Совершенно непонятно, откуда у студентов вдруг ни с того ни с сего появлялись и начинали бить мощные родники всевозможных талантов. Здесь были артисты всех жанров, музыканты, играющие на всех инструментах, композиторы, певцы всех тембров и музыкальных диапазонов, дирижеры, поэты, чтецы, сценаристы, режиссеры, танцоры, юмористы, художники, строители, спортсмены, туристы... – и прочая и прочая. Была даже своя киностудия "КАИ-фильм".

Не надо забывать, что это было время после двадцатого съезда партии, когда был развенчан культ личности Сталина, и люди вздохнули свободно и обрели надежду на нормальную человеческую жизнь и свободное, неподцензурное творчество. Людям *разрешили* открыто высказывать собственное мнение без боязни быть преследуемыми. Это было время брожения умов и кипения страстей, мощного выброса интеллектуальной и творческой энергии и энтузиазма. Позже это время назвали Оттепелью, а энтузиастов Шестидесятниками. К сожалению, власти довольно быстро опомнились и стали закручивать гайки, бросили все силы на погашение очагов и источников этой энергии и зело в этом преуспели. "Да нам-то что: мы были влюблены и, кроме покровительства акаций, другого не просили у страны..." (Ю. Ряшенцев). Но это было потом (гайки, стукачи и пр.), а пока жизнь била ключом (не пугайтесь: пока это – не гаечный ключ, а всего-навсего родник), сияла радужными красками и много чего сулила впереди.

Начнем с того, что в КАИ был уникальный Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), не уступавший профессиональным театрам ни одной позиции и превосходящий многие из них универсальностью и какой-то необычайной свежестью, злободневностью, остротой, юмором и задором. СТЭМ наш пользовался большой популярностью не только в Казани, но и гастролировал по городам и весям как внутри страны, так и за рубежом. Организатором и вдохновителем его был талантливый музыкант, композитор, поэт, дирижер и режиссер в одном лице Семен Каминский. Сердцевиной и жемчужиной СТЭМа был великолепный джазовый оркестр, в котором были все необходимые джазовые инструменты. Каминский дирижировал, играя при этом на рояле. Вот этим СТЭМом нас, первокурсников, и ошарашили на концерте, специально устроенном в честь посвящения в студенты. Ничего подобного лично я ни до, ни после не видел. Ликовал блистательный оркестр, звучали замечательные песни, в том числе глубокие, философские С. Каминского: про гнома, про злую осень, о вечном поиске смысла жизни (до сих пор их помню и пою). А уж всевозможным юмористическим миниатюрам о студенческой жизни, от которых мы надрывали животики, казалось, не было конца. И, конечно, ликовала и рвалась из грудной клетки душа.

Вторым чудом света была факультетская стенгазета "Самолет", которая не раз брала призовые места во всесоюзных конкурсах. Если не ошибаюсь, она выпускалась не реже одного раза в семестр, приурочивалась ко всем большим праздникам, измерялась десятками метров, занимала все стены коридоров на втором, кажется, этаже 3-го здания КАИ, где, начиная со второго курса, проходили занятия нашего 1-го факультета летательных аппаратов, и содержала столько разных разностей, а главное, бездну юмористических текстов и карикатур на злободневные темы, что на переменах стояла такая ржачка, что дрожали стены и дребезжали стекла.

Как-то постепенно мы притирались друг к другу в группе, в лекционном потоке. А ребята, жившие в общежитии, спланивались еще теснее, особенно вокруг сковородки с жареной картошкой – тут смотри не зевай! Мы кое-что узнавали друг о друге, о наклонностях, кто чем занимается помимо учебы. Если говорить об общих для многих увлечениях, то это прежде всего занятия, так или иначе связанные с авиацией, и среди них в первую очередь авиамодельный спорт. Были начинающие парашютисты, а были ребята, которые о самолетах знали все, и не только отечественных.

В ту далекую эпоху имело место мощное движение – боевые комсомольские дружины, сокращенно БКД. В институте я членом БКД не был, но знаю, что эта служба была, как поется в песне, и опасна, и трудна. Дружина – боевая, но без боевого оружия. У ребят выучки никакой, опыта нет, сердца молодые, горячие, пропитанные чувством праведности дела, которому служат. А преступник вооружен, опытен, ему терять нечего (век свободы не видать), он пойдет на самые крайние меры. Так и случилось со студентом нашего первого курса Артемом Айдиновым. В критической ситуации он, безоружный, не задумываясь пошел на вооруженного бандита и погиб.

Не менее мощное студенческое движение – стройотряды. Но и его порыв и романтика прошли мимо меня, так как летнее время я отдавал авиационным видам спорта. А жаль: там могли пригодиться мои навыки в строительном деле, которые я перенял от отца: заливка фундамента, кирпичная кладка, плотническое и столярное дело.

Перед моим мысленным взором выплывают, как из дымки, многие, дорогие мне лица ребят. Но как рассказать о них, как начертать их портреты, где найти правдивые, нефальшивые краски. Видно, мне, как и любому уважающему себя технарю, без инструкции не обойтись. Да где ж ее взять?! Придется написать самому.

Чтобы сразу, прямо и бесповоротно зарекомендовать себя хорошим и правдивым художником и тем самым усыпить бдительность изображаемого предмета и, главное, людей, хорошо его знающих, нужно начинать с таких характеристик, где меньше всего риска быть уличенным в фальсификации, а попросту говоря, во вранье. Прежде всего это геометрические и арифметические параметры, которые можно легко проверить.

1. Возьмите линейку, рулетку, портняжный метр, в конце концов, любую веревку.

2. Бесцеремонно, но со знанием дела подойдите к изображаемому объекту и измерьте: а) размеры его во всех координатных осях: рост, ширину, толщину; б) длину носа; в) расстояние промеж глаз; г) высоту лба... и прочая и прочая. Измеряйте все, что только можно измерить, лишним не будет.

3. Скрупулезно сосчитайте все родинки и бородавки (веснушки – по вдохновению) на лице объекта и укажите их точные координаты (на теле только в том случае, если изображаете обнаженную натуру). Это ваша фишка: при идентификации такие приметы действуют так же магически, как пароль. Сколько, казалось бы, безвозвратно утерянных в младенчестве невинных существ было обретено в преклонном возрасте благодаря именно этим приметам... и не только в Индии.

4. Укажите на первый взгляд незначительные, но при внимательном рассмотрении и, главное, при некотором осмыслении – характерные детали, которые человеку с развитым воображением могут сказать о многом: а) форму носа, а также наличие (отсутствие) оптических приборов на нем; б) цвет глаз и полную цветовую палитру щек и ушей и непременно в динамике, то есть в зависимости от эмоционального состояния, погодных условий, количества выпитого, политической обстановки в стране и за ее рубежами; в) состояние волосяного покрова (или его полное отсутствие); г) не помешает группа крови, а также ее цвет.

5. Напишите несколько математических формул и скажите, что они описывают: а) горбинку на носу; б) крутизну лба; в) в спираль закрученные усы; г) абрис живота и т. д. – проверить никто не будет, а действует убедительно.

6. Усадите объект на стул (поставьте у стены, положите на кровать), придайте ему наиболее выгоднейший (для себя, конечно) ракурс и заставьте застыть на 3 – 4 – 6... (сколько понадобится) часов.

7. Подойдите к мольберту (если вы пишете живописный портрет кистью) или сядьте за стол с лежащим на нем чистым листом бумаги (если вы пишете словесный портрет гусиным пером) и запечатлейте все собранные вами параметры на холсте (картоне, деревянной доске, бумажном или металлическом листе).

8. Не поспешите на радужные краски и украсьте портрет безобидными, но выигрышными мелочами: а) сделайте более значительными лицо и осанку; б) более умными и выразительными глаза; в) подрумяньте бледные щеки; г) уберите седые волосы из прически; д) сделайте более волевым (или просто волевым) подбородок; е) сбросьте годков эдак 5 – 7 – 10, но не переборщите: здесь важно знать меру. Небольшая доза лести никогда не противоречила изобразительным средствам, а, напротив, усиливала впечатление. Даже знаменитые художники не брезговали этими пикантными мелочами. Вспомните портрет А. С. Пушкина, мастерски исполненный О. Кипренским. И сам А. С. Пушкин рад был “обманываться”, – он так прямо об этом и сказал: “Но это зеркало мне льстит!” А кто не обрадуется, если его изобразят молодым и красивым? На то оно и *изобразительное*, и *искусство*! Кому нужен хваленый реализм, если он никому не приносит радость? Поэтому лично я, если уж и признаю реализм, то только социалистический... Однако давно пора приступить к начертанию незабвенных образов.

Саша Нечитайло – высокий симпатичный парень, всегда подтянутый, спокойный и позитивный, с открытой приветливой улыбкой на точеном, спартанского типа лице. Серьезно занимался легкой атлетикой.

Женя Вавилова, обладая теми же эмоциональными характеристиками, что и Саша (не случайно они очень скоро соединились в нерушимом союзе любви и посему в необременительных брачных узах), но, кроме того, заметными лидерскими задатками, стала центром притяжения в группе и помимо своей воли – комсоргом этого первичного административного подразделения.

Миша Левтеров – родом из Донецка, светловолосый молоденький мальчишка (как будто остальные были стариками) с чуть вздернутым носом и нежной, того самого цвета кожей, который принято называть “кровь с молоком”, и поэтому покрывающейся – при малейших признаках волнения – размытыми бледно-розовыми пятнами. Тем не менее был ироничен, остроумен, доброжелателен, обладал хорошим чувством юмора и говорил на хорошем русском языке – его всегда приятно было слушать. Но главная его фишка: он был наблюдателен, имел хороший вкус и врожденное чувство прекрасного и поэтому был неплохим художником-любителем. Кстати, все эти качества вкупе замечательно проявились в факультетской газете “Самолет”, а рисовать “Самолет” во все времена было высшим пилотажем. От себя добавлю: Миша был и остается настоящим другом, и я бы с ним пошел в разведку и на любое испытание, а это, согласитесь, кое-чего стоит.

Саша Гармаев из Улан-Уде. Достойный сын бурятских степей и гор. Крепкий, коренастый, с обветренным мужественным лицом, экономный в словах, но щедрый и отзывчивый в делах. Невзирая на юный возраст, чувствовалось, что он уже что-то испытал, что-то знает такое, за что на него можно положиться.

Мила Корепанова была действительно милой, симпатичной и настолько привлекательной девчонкой – и сама знала об этом, – что могла себе позволить легкий каприз, который удивительно шел к ее милому личику и был таким же естественным, как и она сама. Впрочем, это не мешало ей быть активной, с комсомольским задором девчонкой и всегда – в центре внимания.

Гера Кочетков из Рузаевки Мордовской АССР. Небольшого роста, с правильными чертами подвижного лица, с умным цепким взглядом, который, в зависимости от ситуации, мог быть серьезным и сосредоточенным, а мог быть очень веселым и озорным. Гера обладал редкой способностью с архисерьезным видом говорить о смешных вещах. В нем самым невероятным образом сочетались лидерские качества, аналитический ум и природный юмор. Он был талантливым актером, настоящим лицедеем и мог сыграть любую роль, но особенно удавались ему комические, что он и демонстрировал с ошеломительным успехом в институтском СТЭМе и в КАИ-фильмах.

Его можно было бы сравнить с хорошо ограненным алмазом, одинаково ярко и щедро сверкающим всеми своими гранями, но, в отличие от алмаза, Геру никто не огранял, он от

рождения был таким. Я никогда не видел, чтобы он занимался, пытался над учебниками (мы жили в соседних комнатах), но он всегда все знал, первым выполнял все задания и курсовые проекты, причем делал это легко и быстро, как бы невзначай. К нему можно было обратиться с любым вопросом, за любой помощью, и он никогда не отказывал, всегда помогал легко и просто. Ему не нужно было ничего изображать из себя, пыжиться, "обладать волевым подбородком" – он был силен, прост и естественен, как горный поток, как сама природа, и всем с первого взгляда было ясно: перед ними – настоящий лидер, вожак, и стая пойдет за ним хоть на край света. Он и был нашим вожаком, неизменным и незаменимым старостой группы во все время учебы. Мила, вышедшая за Геру замуж, была за ним, как за каменной стеной.

Люся Хазова – с каким волнением и с какой радостью я произношу это имя. Одна мысль о ней озаряет все вокруг и, главное, – все внутри тебя. И ты видишь не все то наносное и ненужное, что старательно копил всю жизнь и с чем не можешь и боишься расстаться, а ты вдруг обнаруживаешь, что и в тебе есть что-то хорошее, обнадеживающее, ради чего стоит и хочется жить. Откуда этот свет, какова его природа? Я никогда не задумывался об этом, как не задумываются о том, почему светит солнце, почему волнуется и рокошет море и почему так завораживает нас, почему так гипнотически действует на нас огонь, почему поют птицы. Светит – и светит, рокошет – и рокошет, горит – и горит, поют – и поют. Какое тебе дело?! Живи и радуйся! Невольно приходит на ум стихотворение Евгения Баратынского "Муза":

Не ослеплен я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюбленную толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной красотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.

Есть люди, в которых на первый взгляд вроде бы нет ничего особенного: они спокойны, уравновешенны, деликатны, доброжелательны, общительны. Но если вы попытаетесь ответить на вопрос, чего у них нет и быть не может, то вы сделаете для себя неожиданное открытие, вы будете немало удивлены. Например, если вы захотите увидеть в них качества, которые есть практически у каждого нормального человека, такие как эгоизм, пусть даже и разумный, зависть, раздражительность, гнев, злопамятство, пустословие и пр., то вас ждет разочарование: как так, у всех есть, а у них – нет. За что же Бог обидел их, почему обделил? Ну что я вам могу сказать, если я и сам не знаю. Я могу только ответить на это словами моего дяди, который на вопрос "почему?" всегда давал исчерпывающий ответ: "Ну потому!"

Они не будут навязывать вам собственное мнение, бить себя в грудь и до хрипоты, с пеной у рта спорить, отстаивая свою собственную правоту, свою доморощенную точку зрения; не будут очно или заочно обсуждать кого-нибудь и тем более осуждать. Они не могут лгать, сплетничать, с умным видом изрекать банальные вещи, выдавая их за истину в последней инстанции и тем паче приписывая ее себе; не могут поддерживать пошлые и, Боже упаси, скабрёзные разговоры (это вы обнаружите по их вдруг покрасневшим щекам). Им не знаком язык упреков и тем более ультиматумов, от них не услышишь грубого слова. Им не нужно казаться лучше, чем они есть, стараться создать о себе выгодное мнение и благоприятное впечатление, потому что все лучшее они в избытке получили при рождении и даже задолго до появления на свет.

В них как бы сосредоточились вся мудрость веков, все то хорошее, что есть на земле, на небе, на море – вообще в природе, все те богатства, которые накопило человечество за многовековую историю. К ним не пристаёт никакая грязь, они как бы снабжены фильтрами и противоядиями. Это не значит, что они закрывают глаза на все негативное и зажимают нос, проходя мимо навозной кучи, пронося себя как драгоценный и хрупкий сосуд и боясь расплескать содержащийся в нем не менее драгоценный напиток. Просто они обладают способностью переплавлять негативную энергию в позитивную, не прилагая, вероятно, особых усилий. Этот органический процесс часто идет помимо их воли, благодаря тому свету, который поднимается из глубины их существ, как из глубины веков, как из глубины культурных исторических пластов, и неизбежно выходит на поверхность. И мы видим его в выражении их лиц, в мимике, в улыбке, в каждом движении. И он никуда не девается и никогда не кончается – даже когда человек уходит от нас, – как никогда не кончается солнечный свет, даже ночью, потому что мы знаем, что он есть, помним о нем и с нетерпением ждем рассвета. Не потому ли мы так радуемся восходу солнца?! Таким людям не нужно думать, как вести себя в той или иной ситуации, не нужно натужно улыбаться, сочинять выражение лица. Они всегда органичны и естественны, как сама природа. Не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, что они монументальны и статичны, как памятники, и безучастны ко всему, как роботы. Отнюдь. Они интересны, живы, отзывчивы, с ними комфортно, тепло и уютно.

Мне не раз приходилось встречать на своей жизненной дороге по-настоящему красивых людей и даже некоторое время идти вместе с ними рука об руку. И каждый раз я радовался и понимал, что пока есть такие люди, мир не безнадежен, что еще не все потеряно, что у нас еще есть шанс... К сожалению, чаще всего эти замечательные представители вида *homo sapiens* принадлежали не моему социальному слою (о пресловутых слоях говорю условно, чтобы выразить мысль). И я увидел, что красота этих избранных (кем?) людей и свет, от них исходящий, не зависят ни от социальных, ни от других каких бы то ни было слоев и наслоений, не зависят от национальной принадлежности и меньше всего – от *интеллектуальной* составляющей образования. Недаром прозорливые люди всегда говорили, что горе – от ума. Разумеется, здесь несколько смещен акцент: сказано это было с некоторой долей иронии и даже горечи. Всестороннее, многогранное, *одухотворенное* образование, направленное в правильное русло, никому не может принести вреда, тем более – горя.

Ну что меня постоянно уводит в банальные вещи, в прописные истины! Кроме оскомины, от этого – ничего хорошего! Это потому, что я взялся за неразрешимую задачу: объяснить необъяснимое, разгадать неразгадываемое, заглянуть туда, куда заглядывать не следует, потрогать то, чего трогать нельзя. И тут же кто-то, как непутевое дитя, бьет тебя по рукам: не лезь, куда не следует! Но ведь ужас как хочется!

Впрочем, речь ведь совсем не об этом, точнее, не совсем об этом. Речь о том, что Красота и Свет, о которых мы говорили, – не следствие и не причина и вообще причинно-следственной связи не подчиняются. Это – первооснова, как Бог и как Любовь. И вообще эти категории, по сути – синонимичны или, во всяком случае, неразрывно связаны: нет одного без другого. Я бы еще добавил сюда такую штуку, как Свобода. Хотя в этом нет особой необходимости: скажешь Бог, подразумеваешь – Свобода; Любовь, Красота – тоже Свобода и т. д. Что-то меня опять возносит в область патетики. Ладно, снизим градус.

Вот в этой связи одно жизненное наблюдение. Как-то еще в студенческие годы мне не то чтобы пришла мысль, а я как-то четко увидел, что если бы то, что творится в наших головах (говорю исключительно о себе), отразилось на наших физиономиях, мы бы в лучшем случае умерли от смеха, в худшем – от ужаса. Мы были бы настолько уродливы, что это не могло бы присниться никаким Гойям, Босхам и Брейгелям.

И еще: шествуя по долгой дороге жизни, я обратил внимание на то, что у некоторых людей красота с годами куда-то девается, и они становятся непривлекательными и даже оттал-

квивающими. А у других – красота сохраняется и даже умножается, и над ними не властны ни время, ни место, ни внешние обстоятельства. Разве что накапливается горечь о том, что имея все, чтобы быть свободным и красивым, человек предпочитает цепи и уродство и теряет то лучшее, что у него было. "И увидел он Анну Валерию в темной раме окна. Если свет переходит в материю, – вот она. Ее волосы в небе шумящие, словно тысячи птиц, оглушали разлукой щемящею выше гор и границ" (И. Шкляревский).

Дамир Сафиуллин – казанский парень, был знаменит тем, что играл на гитаре и ходил в туристские походы. Высокий, крепко сложенный, немногословный, с крупными чертами невыразительного, небогатого эмоциями лица. Казавшийся старше своих лет, он не то чтобы был неприступен, но как-то не располагал к знакомству и общению. Зато вполне соответствовал суровому образу – ни в коем случае не имиджу – путешественника. Кто бы мог подумать, что за грубой внешней оболочкой таится рафинированный интеллигент, неисправимый романтик, тонкий лирик и нежная, легко ранимая душа. Именно эти качества притягивали к нему не только девчат, но и парней, особенно когда Дамир брал в руки гитару.

Коля Егоров. Внешне отдаленно был похож на Сергея Есенина. Экзальтированный и влюбчивый, потенциально мог разбить любое девичье сердце и потенцию эту использовал с самыми благими намерениями, причем иногда действовал осторожно и аккуратно, а иногда решительно и напористо. Но так же, как быстро и ярко вспыхивал, точно так же окончательно и безнадежно угасал. И не терзался об этом и не угрызал себя, то бишь мазохизмом не страдал. На таких типах надо вешать табличку: "Осторожно! Сердце!"

Коля не то чтобы был взрывным, неуравновешенным и тем более раздражительным и гневным человеком – это даже представить невозможно. Напротив, это был уравновешенный, безобидный и совершенно безопасный субъект. Но состояние равновесия у него было какое-то особенное, своеобразное. Не знаю, с чем бы это можно было сравнить? В электротехнике – с несущим, не изменяющимся во времени сигналом, около которого происходят колебания с небольшой, но тем не менее имеющей всплески амплитудой, на постоянство (равновесие) основного сигнала практически не влияющей; то есть этот процесс можно назвать, если не постоянным в истинном смысле слова, то вполне устойчивым и никому не угрожающим. В механике тоже есть такие процессы, например, процесс с нагрузками (напряжениями), меняющимися по асимметричному циклу, степень асимметрии в котором настолько велика, что нагрузки можно считать постоянными. Но для истинного понимания этого процесса нужно по меньшей мере прочесть лекцию, и то для подготовленного человека. Поэтому электротехническая версия более убедительна для описания модели Колиной уравновешенности.

Он был не то что суетливым, но каким-то неровным и резким во внешних проявлениях, догадываюсь, что и во внутренних тоже. Поэтому, наверно, и речь его не была ровной, ни эмоционально, ни физически, то есть по количеству децибелов: она то нарастала, как гул самолета, то убывала. Но направление и устойчивость генеральной линии от этого нисколько не менялись и не отклонялись ни на гран, ни на йоту, как будто Коля точно знал, как будто у него в печенках сидело: шаг влево, шаг вправо – побег! расстрел! В этом отношении его можно сравнить с горцем, который, идя по горной тропе в нужном ему направлении, вынужден то подниматься, то спускаться, то обходить препятствия (камни, валуны), и он делает это привычно и незаметно для себя.

Коля был крепкий орешек, все его существо пронизывала прочная крестьянская жила. Не стержень, не хребет, а именно – жила. Стержень, сколь крепок бы ни был, можно переломить – найдется такая сила, – а Колину жилу переломить нельзя: она будет гнуться, но не сломается.

Кроме отмеченных редких и посему выдающихся качеств, Коля был тем человеком, с которым помимо его воли и желания происходят самые курьезные истории, самые невероятные приключения. Приведу те, что остались в памяти. Сидим мы как-то в студенческой сто-

ловой, едим на первое молочный суп и, как часто мы это делали, травим застольные анекдоты, которые человек со слабыми нервами и, главное, со слабым желудком слушать не может и не должен. Но у нас они вызывали почему-то совсем другую реакцию: мы, от недержания, прыскали со смеху. Прыснул и Коля. Ну и что тут особенного: прыснул – и прыснул, никто бы даже внимания не обратил, если бы не совершенно подавленный, совершенно растерянный и убитый, вынимающий душу, цепенящий, как из преисподней, полусшепот, полустон: "Ребята, я ничего не вижу! Я, кажется, – ослеп!" Оказывается, Коля не только прыснул, но и брызнул... А чем может брызнуть вечно голодный студент, жадно уплетающий густой молочный суп? Правильно: молочной струей. Но вот о чем бы вы никогда не догадались, по какой траектории полетела эта струя, получив сильнейший импульс из Колиного чрева? Вы, да и любой другой нормальный человек, сказали бы, что струе, получившей огромную начальную скорость из любого чрева, ничего другого не оставалось, как помчаться по прямой траектории, разгоняя скачки уплотнения. Правильно: из любого чрева, но не из Колиного. У Коли она описала немыслимую и не описываемую математически кривую и заляпала ничего худого не ожидавшие и ничего подобного в жизни не испытывавшие, мирно и спокойно усевшиеся на надежном Колином носу очки! И, конечно же, Коля ослеп. А кто бы не ослеп в подобной ситуации?!

Другой случай. Как-то среди ночи мы все до единого проснулись от дикого вопля, что-то вроде: "Режут! Убивают!" Мы все кинулись на помощь, но бандита и след простыл. Мы действительно увидели Колину окровавленную ногу. Это он во сне пинал ногами железную кровать, которая, очевидно, и оказалась тем самым кровожадным бандитом. Трудно сказать, кто пострадал больше: физически, наверно, Коля, а психически, несомненно, кровать, не ожидавшая нападения и испытывавшая немалый стресс.

Не могу сказать, то ли в силу выдающихся человеческих качеств или благодаря уникальной способности притягивать чудеса, ничего для этого не делая, а скорее всего, за все это в совокупности Колю очень любили. И не только девушки – им по штату положено, – но и мужики всех рангов, всех сословий, всех темпераментов, а также весовых категорий и религиозных исповеданий. И не мудрено: ведь Коля, как говорят в Одессе и окрестностях, был, есть и будет добрым парубком и, конечно же, своим в доску, и для жителей Одессы в том числе. Впрочем, я предупреждал вас в самом начале, когда только взялся за кисть, чтоб начертать неуываемый и незабываемый Колин образ, что дело это неизбежно закончится любовью. Но ведь приятные вещи не грех и повторить.

Валера Краснов. Родом из Чувашии, которая с некоторых пор и для меня стала родной. Вырос в деревне, и в КАИ приехал из деревни, и спокойно, без натуги поступил в легендарный вуз, и не звучали фанфары в честь этого выдающегося события, и никто не бросал букетов к его ногам, а если бы и бросил, он бы не понял и в недоумении спросил: зачем загубил цветы и испортил красоту? И вообще он все делал и жил ровно, спокойно, ненатужно, точно так, как естественно и размеренно идет жизнь в родной деревне, как спокойно течет река, в которой он и его сверстники, как гуси, купались и возрастали.

Валера и к учебе относился так же, как к сельскому труду. Делал все своевременно, быстро и добротнo, но без излишних изысков; как копал картошку: скосит ботву, выкопает корнеплоды, высушит и соберет их, разделив на три сорта: крупную на еду, среднюю на семена, мелкую – скоту. А не так, как горожане-дачники: сажают по ниточке, а после сбора – моют и сушат. Горожане, наверное, могут себе это позволить, а для сельских жителей такая технология – непозволительная роскошь: запустишь остальные дела, которым в деревне несть числа. Но позвольте, скажете вы, уж в студенческие годы можно расслабиться и сачкануть. В том-то и дело, что не все могут, не у каждого получается. Тут нужна специальная лентяйская подготовка, специальный настрой души и всего организма, который достигается годами тренировки и медитации и стоит немалых усилий: и физических, и моральных, и психических. Говорю вам

как человек, искушенный в этих делах и завладевший на этом полигоне хорошо укрепленными и устойчивыми позициями.

А Валера привык идти по пути наименьшего сопротивления: получит тему реферата – и сразу его напишет, получит задание на курсовой проект – и тут же его выполнит. А что значит выполнить курсовой проект? Это значит: а) обосновать актуальность темы в свете последних решений съездов и пленумов; б) произвести расчеты по сложным математическим формулам; в) написать пояснительную записку в 30 – 40 страниц; г) по результатам расчетов начертить 5 – 6 листов чертежей формата А-1 (841 на 597мм) и д) защитить этот проект, то есть доказать, что ты не купил его на рынке и не передрал у товарища.

И нет бы подойти ответственно к такому серьезному предприятию, как делают все нормальные студенты, то есть дать проекту созреть (ведь никто же не срывает незрелый плод – можно отравиться), а организму морально подготовиться, подождать пока сойдутся звезды по гороскопу и пр. Ну и что, что сессия на носу? Сессия не волк, в лес не убежит, может и подождать... Но нет, не может Валера отнестись к делу, как все остальные: неспешно и основательно – нет специальной подготовки, соответствующей закалки. Ну выполнил ты сгоряча курсовой за три дня, а чем ты заполнишь остальные 133 дня до сессии? Ведь с тоски можно помереть! Но деревенского парнишу голыми руками не возьмешь и с толку не собьешь. Он сделает проект за три дня, а потом возьмет художественную книжку, опрокинется навзничь на кровать, уйдет в увлекательный мир русской или зарубежной классики, и вернуть его оттуда так же трудно, как выдернуть картежника из игры в преферанс, когда он сидит на чистейшем мизере. Валера даже предложенный ему стакан портвейна "Три семерки" или "Солнцедара" примет между двумя эпизодами, закусив третьим.

Самое большее на что он способен, это помочь с курсовым проектом или в любом другом техническом вопросе, и то, если вы его об этом попросите, – деликатный человек навязывать помощь никогда не будет. И сделать ему это так же просто, как принести ведро воды из колодца. Так, например, когда меня выгнали из общаги за пьянку, Валера, не говоря лишних слов, подвинулся на своей односпальной кровати и просто и убедительно сказал: "Ложись". И на целый семестр кровать стала двуспальной, пока я не отбыл срок своего изгнания.

Не сказать, чтобы Валера был закрытый человек, просто у него не возникало потребности поделиться своими переживаниями, впечатлениями о прочитанном, а тем более пожаловаться на что-либо и кого-либо – этого даже представить нельзя. Но вместе с тем чувствовалось, что где-то глубоко в его утробе идут какие-то вулканические процессы, дремлют вулканические силы, и только иногда они прорываются наружу в виде вспыхнувшего взгляда, резко вскинутой головы, неожиданного возгласа, необычной реакции на какое-то действие: булькнет бурун на реке, разгонит круги по воде – и будто его и не было. Например, однажды на перемене кто-то полез в Валерин портфель в его отсутствие, наверно, за книжкой или конспектом. Вернувшийся после перекура и увидевший покушение на святая святых Валера истошно крикнул на всю двухпоточную (150 человек) лекционную аудиторию: "Не лезь! Там деньги!" Это прозвучало как гром среди ясного неба из уст немногословного и негромкого человека и таким душевраздирающим голосом, как будто в портфеле лежала гремучая змея или граната с выдернутым кольцом. А у Валеры в портфеле покоились всего-навсего профсоюзные деньги; может, он их действительно заминировал. Перепуганные не на шутку плательщики профсоюзных взносов так и прозвали рьяного и свирепого профорга: "Не лезь – там деньги".

После института Валера руководил конструкторским отделом на Чебоксарском заводе промышленных тракторов и немало преуспел на этом поприще. Наша с ним дружба расширилась до семейных масштабов и продолжалась вплоть до его кончины.

Миша Одинокоев – среднего роста, с приятным интеллигентным лицом и приветливым, внимательным взглядом, всегда обращенным к собеседнику и расположенным больше к улыбке, нежели к серьезным и занудным разговорам. Вы, вступая с Мишей в диалог, неиз-

бежно попадаете в поле его обаяния и, если внимательно присмотритесь и прислушаетесь, то обнаружите, что о чем и о ком бы вы ни говорили, вы никогда не найдете среди действующих лиц Мишиной персоны. Хотя он ни в коем случае не создавал впечатление закрытого человека. Миша будет говорить о чем угодно и о ком угодно, но о себе не скажет ни слова. Такое качество не часто встретишь. Если бы не фамилия, вы бы никогда не догадались, что Миша – сын известного ученого, профессора Одиноква Ю. Г., который читал нам лекции по курсу "Расчет самолета на прочность". Он и на кафедру к отцу не пошел, а будучи круглым отличником и получив "красный диплом", имел полное на это право. Излишне говорить, что у него не было ничего фальшивого и показного; он был неизменно доброжелателен, приветлив, ровен и прост в общении и всегда был готов прийти на помощь.

Витя Ермаков. Как рассказать о человеке, с которым ты прожил всю сознательную, да и бессознательную жизнь, как говорится, рука об руку, нога об ногу, бок о бок, ноздря в ноздю и пр. и пр. Когда десятилетиями люди живут рядом (расстояние, даже и небольшое: Чебоксары – Казань, не имеет значения; а были и другие расстояния: Горький – Казань, Целиноград – Казань), слышат голоса друг друга, видят друг друга мысленным взором, ощущают дыхание друг друга, имеют много общего за плечами и знают друг о друге и об их семьях буквально все, то хочешь не хочешь, прорастают друг в друга, волей-неволей становятся близкими и родными.

Это может быть и хорошо, и плохо, а иногда даже и опасно. Потому что близкого человека легче обидеть, нагрубить ему и даже глубоко и серьезно ранить. Это как в неокрепшей семье: вроде любили друг друга, дарили цветы, поженились, души друг в друге не чаяли и вдруг бац! – разошлись, разбежались, причем часто, – сжигая за собой мосты, чтобы не осталось никакой надежды вернуть все на круги своя. Так бывает и среди друзей, если не бережем друг друга, если ставим свои интересы выше интересов другого, если не научились прощать друг друга. Слава тебе Господи, что с нами пока этого не произошло и, надеюсь, теперь уже не произойдет. Уж слишком сложно, многоуровнево, многослойно переплелись наши корни и корни наших детей. Уже начинают переплетаться корешки внуков. И порой трудно сказать, какие связи прочнее, насыщеннее, например, мои с Витей или мои с его сыном Андреем? Но можно сказать со всей определенностью: если порвутся одни, то останутся другие и, следовательно, неизбежно восстановятся порванные. Вот ведь какая механика.

А пока – сухая хроника:

- 1) со второго курса жили в одной комнате в общежитии;
- 2) ходили вместе в турпоходы и делили все радости и трудности этого необычного, романтического образа жизни;
- 3) летали вместе на планере, прыгали с парашютом;
- 4) Витя женил меня – был свидетелем на моей свадьбе, я женил его – был свидетелем и тамадой на его свадьбе;
- 5) пока не осели окончательно: Витя с семьей в Казани, я с семьей в Чебоксарах, постоянно держали друг друга в курсе событий и изредка обменивались визитами;
- 6) когда осели – то же самое, но взаимные визиты стали регулярными;
- 7) в 2016-м Витя с Люсей купили дом в деревне Новое Кушниково на берегу Волги по соседству со мной, где я с семьей живу уже без малого четверть века. Так что мы теперь общаемся не только виртуально.

Разумеется, за этими сухими сведениями не увидишь и тем более не ощутишь всех жизненных перипетий, всей гаммы испытанных чувств. Стоп, машина! У меня ведь сейчас другая задача: кинуть свой беспристрастный взор в то незабвенное время, "когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли", и увидеть Витю молоденьким мальчишкой. Ну что я вам скажу, не присматривался я к нему в то время. Он был моим другом, а это значит, что тылы мои были надежно прикрыты. Ну и на кой, извиняюсь, мне за кем-то присматривать?! Как жили? Да ничего особенного: жили-были, в лес ходили, водку пили, песни пели. Был ли он персоной

нон-грата? Да вроде нет: как все. Ну, аристократ, ну, педант. А кто тогда был не аристократ и не педант?

Впрочем, постой-постой! Есть один грешок! А если покопаться, может, и не один. Сейчас мы его выведем на чистую воду. Уж больно много девчат крутилось вокруг него, непростительно много, ну просто ловелас какой-то, аж завидно! А он, черт меня подери, делал вид, что он тут ни при чем. Но может, действительно ни при чем, может, они сами к нему приставали? Не-ет, так не бывает: привораживал, поди, каким-то зельем, зря что ли в лес ходил да коренья собирал. Вот тебе и аристократ! Шаман, да и только! Да-а, темная история... Да канула в Лету. Так что теперь уж шито-крыто, Маргарита.

А если серьезно, Витька был чертовски обаятелен, и зелье тут действительно ни при чем. Но кроме качеств, которые в цене у женщин, Витя обладал не менее ценными мужскими, но говорить об этом при живом друге я бы лично не решился: покажет мне Ермаков... И кузькину мать, и где раки зимуют. Осмелюсь назвать только одно: он был архинадежным и приходил на помощь в самых критических ситуациях, когда у других не оставалось ни физических, ни психических сил. Однажды таким нуждающимся оказался и я. Поэтому имею полное моральное право об этом сказать. И пусть Ермаков на меня бочку не катит и батон не крошит – так ему и передайте.

И еще. Бывают у молодых людей качества, которые не то что хранятся под спудом, за семью печатями, но до поры как бы дремлют, не находя явного применения. У Вити это – внутренняя устойчивость и настойчивость, цельность и целеустремленность. Какое редкое сочетание статических и динамических характеристик, не правда ли? И не просто сочетание, а взаимодействие, и не простое взаимодействие, как в химической реакции, а векторное, как в полупроводнике или в обратном клапане (технари знают): туда идет, обратно – нет. Это, пожалуй, уже процесс, когда потенциальная энергия переходит в кинетическую, когда сжатая пружина может ударить, натянутая рогатка – стрелнуть (ударение на последнем слоге), поднятый кирпич – упасть на голову. Так и у Вити: устойчивость со временем преобразовалась в настойчивость (даже переходящую в упрямство), цельность – в целеустремленность.

Я не знаю, когда у Вити появилась эта навязчивая и замешенная на кофейной гуще идея прорваться на борт? Об этом знает только он сам. Эта идея была совершенно несостоятельная, не имевшая никаких перспектив, никаких шансов... Одним словом, – идея-фикс. Потому что для ее осуществления нужно было поработать в аэропорту простым техником, куда брали ребят даже из ПТУ (стоило ради этого учиться в КАИ??), неизвестно какое время. Никто и никогда не даст тебе гарантии и не скажет, когда ты попадешь на борт и что ты должен сделать, чтобы стать бортмехаником. Потому что техников – сотни, а бортмехаников – единицы. Я узнал об этом Витином помешательстве (иначе сие не назовешь) через три года после окончания института, когда сам уже работал инженером в Целиноградском аэропорту и знал ситуацию не понаслышке, а изнутри, что называется, из первых рук. Сколько я сил потратил, сколько извел бумаги, чтобы уберечь непутевое дитя и вернуть в нормальное творческое инженерное лоно. Но как я ни вопил, сколько ни пускал пузырей, как ни старался открыть Витины зенки на это безобразие и ни вытаращивал свои, все было тщетно: Ермаков был слеп, глух, непроходим и непрошибаем.

И что вы думаете! Упрямый Ермаков совершил то, чего никому никогда не удавалось за всю историю авиации, и поэтому завоевал законное право занять до сих пор пустующее место в книге Гиннеса. Он не только стал бортмехаником, а весьма скоро и бортинженером самолета Ил-76 компании "Аэростан", но и в высокой должности бортинженера был мобилизован в английский воздушный флот и в этом качестве облетел весь наземный мир. А вместе с ним и я, грешный чревоугодник, испытывал на своем желудке лучшие блюда китайской (а также многих других) кухни, наслаждался лучшими испанскими и чилийскими винами, не отказывал себе в удовольствии смаковать японские суши, обмакивая их в многочисленные соусы и

не забывая любоваться весенней сакурой или всесезонными каменными садами... И прочая и прочая – всего не перескажешь.

А взять печально-известный и вместе с тем героический Кандагар. Это ведь авантюра той же самой всеядной компании "Аэростан", совершавшей свои отчаянные рейды с английских аэродромов. А был еще и Красноводск (ныне Туркменбаши), где уже экипаж Виктора Ермакова в течение недели находился под арестом в антисанитарных условиях и в атмосфере уничижительного отношения к ним представителей власти: то в результате изнурительных переговоров приведут их из самолета в гостиницу, то внезапно, не дав даже отпыхнуть и хоть немного отдохнуть, отведут под конвоем обратно в самолет... И так несколько раз. И не дано им было знать, как долго продлятся эти изощренные издевательства.

Ну где ещё, скажите на милость, найдешь таких отъявленных экстремалов, если не среди выпускников Казанского авиационного института! И ничего удивительного нет в том, что Герой России, командир воздушного судна Шарпатов Владимир Ильич, бежавший вместе с экипажем из кандагарского плена на своем собственном самолете Ил-76, находившемся под неусыпным оком талибов, окончил Казанский авиационный институт.

Я мог бы рассказать и ещё кое-что из доблестных приключений храбрых экипажей компании "Аэростан" – чего не найдешь ни в печати, ни в интернете, – но, как говорят, не уполномочен. Так что за более подробной и развернутой картиной Ермаковских (а также его боевых товарищей) походов обращайтесь к нему самому.

Что касается меня, то я сообщил однокурсникам, что занимаюсь парашютным спортом, что успел в школе сделать один прыжок и, конечно, не преминул поделиться впечатлениями и ощущениями, этот прыжок сопровождающими. Наверно, я сделал это настолько эмоционально и убедительно, что за мной в парашютную секцию потянулись некоторые ребята из нашего и даже из соседних потоков, в том числе начинающий бард Валера Боков.

В этой связи вспоминается эпизод, как ранним зимним утром мы, перворазники (специфический термин, настолько органично вошедший в плоть и кровь парашютного спорта, что никаким синонимом заменен быть не может!), едем на аэродром на аэроклубовском "ГАЗ-66", восседая в кузове на уложенных парашютах, и молчим. Я, бывалый парашютист, хорошо понимая состояние ребят и девчат перед первым прыжком, рад бы помочь, да не знаю, как это сделать. На аэродроме, как обычно, предстартовая суэта, отвлекающая от ненужных дум и переживаний: разгрузка парашютов, поиски своего основного, собственноручно уложенного накануне, и запасного, уложенного инструктором, парашютов (свой обнаруживается быстро, а за запаской нужно еще побегать – может сразу и не достаться), подгонка подвесной системы, общее построение, разбивка на взлеты. Перед своим взлетом (10 – 12 человек) опять построение, тщательная проверка инструкторами парашютов и надежно ли привязаны валенки, посадка в бьющий от нетерпения копытом и сдувающий тебя с ног плотной тугой струей самолет АН-2, и в сопровождении грохота моторов: бодрого и ликующего самолетного, спокойного и сосредоточенного инструкторского и двенадцати лихорадочно стучащих наших – вперед и вверх! Назад пути нет! А что делать? Пеняй на себя – никто тебя силком на веревке не тащил. Да не дрейфь ты так сильно: сам не сможешь сделать шаг в бездну, инструктор поможет пинком под зад. Ибо в самолете, кроме двух летчиков и, иногда, инструктора, никто оставаться не должен. Таков закон, и закон неумолим.

В самолете мы садимся на откидные сиденья, смонтированные по обоим бортам. Инструктор обыденно, по-деловому проходит вдоль сидений, привычным движением руки достает из-под резинки на запаске карабин, цепляет его за трос под потолком самолета и каким-то непостижимым образом вселяет в нас не то что спокойствие, но некоторую уверенность, что все будет окей.

А меня так и подмывает желание выпендриться, показать, что я не первый раз прыгаю, что мне все до лампочки. И когда подходит моя очередь, я, не дожидаясь раздирающей душу

и барабанные перепонки сирены, разбегаюсь и ухаю в открытую дверь. И тут неотвратимо и властно берет меня в оборот испытанная мною однажды непонятная механика: моя внешняя оболочка разгоняется быстрее, чем внутренние органы: очевидно, но непонятно почему, обладающие большей инерцией. В результате чего ты уходишь вниз, а печенка и мочевого пузыря норовят взмыть вверх, и это, доложу я вам, ощущение не из приятных. Хорошо, что оно длится всего три секунды (а кажется – вечность), а то ведь недолго остаться и без органов, которые могут еще пригодиться. Но вот над тобой хлопает купол, органы возвращаются на свои законные места, и тебя опять раздирает свинячий восторг, закручивает мозги наркотический кайф, и страсть как хочется принять новую дозу.

Домой мы возвращаемся на том же грузовике, сидя теперь уже на распушенных парашютах. И черт меня подери, если у кого-нибудь хоть на мгновение закрывается рот... На следующий день Валера Боков принес в общагу песню, в которой он отвел страждущую душу и которая начиналась правдивыми технологическими словами: "Парашюты еще с вечера уложены и моторы, как сердца, зачехлены..." В следующий раз нам уже не так грустно: мы вооружены Валериной песней и яростно горланим ее, разгоняя утреннюю дрему и умиряя не в меру разгулявшиеся нервы.

В мае месяце, когда вода еще не прогрелась для комфортного купания, я стал ездить по вечерам, когда стемнеет, на правый берег Казанки. Там в воде на приличном удалении от берега стояла вышка, с которой можно было прыгать в воду и съезжать по желобу, как с детской горки. Сначала я ездил один с нашей квартиры на улице О. Кошевого: Толик с Геней не относились к категории любителей купаться ночью в прохладной воде. Потом ко мне присоединились ребята из нашей группы. Как-то раз я приехал раньше ребят, включил на полную громкость новенький транзисторный радиоприемник, по которому транслировался проходящий в то время конкурс Чайковского, и поплыл к вышке. Увидев на берегу силуэты ребят, я спрятался в лабиринтах ферменной конструкции вышки и стал их поджидать. Ребята покрутились на берегу и пошли в ту же сторону, откуда пришли. И конкурс Чайковского стал удаляться вместе с ними. Я подумал, что они решили меня разыграть, и поплыл к берегу. Не успел я доплыть, как друзья мои вернулись, но без музыки. Спрятали неподалеку, подумал я, но решил не доставлять им удовольствие и сделал вид, что судьба транзистора меня не волнует и музыкальный конкурс не интересует.

Мы вволю купались, покатались с водной горки и пошли на остановку трамвая. Смотрю, ребята никак не обнаруживают желание вернуть мне приемник. И тут во мне закопошились нехорошие мысли, но я, еще надеясь на чудо и стараясь сохранить лицо, как бы между прочим сказал, что, мол, сдаюсь, ваша взяла, отдайте приемник – там идет конкурс Чайковского. Короче, выяснилось, что, когда они подходили к пляжу, навстречу им попала кучка ребят с транзистором, из которого лилась чарующая музыка. Всё понятно, сказал я, эти герои так же, как и я, не равнодушны к классической музыке, и это их в некоторой степени оправдывает. Но зачем они прихватили еще и мои часы "Маяк"? На этот вопрос я ответа не нашел.

Часть лета после первого курса я прыгал в аэроклубе. Потом решил навестить моих тетюшек, маминых младших сестер, на Украине. Сначала поехал к тете Вере в город Волноваху (40 км от Донецка). Муж ее, дядя Ваня, на войне потерял правую руку. Он был похож на моего отца: такой же позитивный, интеллигентный, доброжелательный, с чувством юмора. А тетя Вера – вылитая мама моя, только выше ростом. Умная, рассудительная, с прямым, открытым взглядом, она удивила меня тем, что курила. А дядя Ваня был некурящий, хотя прошел почти всю войну. Редкая рокировка вредной привычки между двумя близкими людьми. Жили они душа в душу, но детей у них не было. Тем более любили они всех племянников, которые гостили у них каждое лето. Чаще всего приезжали дети тети Кати (младшая сестра тети Веры), так как жили недалеко в Харьковской области. Ленинградские племянники, Витя с Галей, тоже не забывали свою гостеприимную тетюшку.

Этим летом настала моя очередь испытать на себе любовь и заботу тети Веры и дяди Вани, раньше я у них никогда не бывал. В это же время приехала моя кузина Галя из Ленинграда. Август месяц, разгар лета, а купаться в Волновахе негде. Несколько раз съездили на электричке на Азовское море в г. Жданов (ныне Мариуполь). Старшим товарищем и гидом нашим постоянно был дядя Ваня: человек романтического настроения, он с удовольствием выполнял эту миссию. Азовское море мелкое, теплое, купаться – одно удовольствие. Дядя Ваня устроил нам с Галей экскурсию по Жданову, но я об этом ничего не помню. Ездили на экскурсию и в шахтерскую столицу Донецк, но и об этом городе память ничего не сохранила.

Однажды наша боевая троица затеяла десятикилометровое пешеходное путешествие на какую-то речку, которая оказалась живительной водной артерией среди песков и чахлой, обожженной солнцем растительности, довольно-таки неплохо населенной купающимся народом. В промежутках между омовениями и заплывами играли в волейбол. Я носился и прыгал по песчаному пляжу, как мячик. От избытка чувств и внутренней энергии прыгал больше, чем бил по мячу, и череда этих прыжков занесла меня в яму, заросшую жухлой травой, куда я прыгнул за мячом. Выскочил оттуда с окровавленной правой ногой. В яме на своем законном месте лежала груда битого стекла (где ж ему еще находиться?). Порезы были глубокие, перерезано сухожилие. Кровь кое-как удалось остановить, к ране приложили подорожник, лопухи, чем-то перевязали. Я сгоряча порывался играть, но дядя Ваня убедил меня, что это не шутка и надо идти домой, так как транспорта никакого не предвиделось. Сначала я, как мог, бодрился, потом боль стала усиливаться и наконец сделалась невыносимой. Остаток пути я буквально висел на плечах Гали и дяди Вани.

Сутки перед отъездом (билеты были взяты заранее) я лежал на кровати с подвешенной к потолку распухшей ногой, которая судорожно дергалась. Потом с помощью костылей и дяди Вани сел в вагон, и мы с сестрой Галей отправились к другой нашей тете в поселок Коломак Харьковской области.

У тети Кати большой дом, большая семья и огромный сад; на столе – украинская горилка, дымящийся украинский борщ, источающий одурманивающий аромат, и вареники с вишней, которая поспела в саду у дяди Гриши. А за столом – вся дружная семья: кроме тети Кати и дяди Гриши, их дети: Толик с женой, Танечка, старшеклассница, и Наталка.

В поселке молодежная жизнь была ключом. Днем купались в большом ставке (пруд по-нашему), вечером собирались за околлицей. Мы с Галей втянулись в местную компанию быстро и безболезненно: на второй день спокойно гутарили (говорили) на украинской мове (языке). А вот купаться мне еще неделю было нельзя, но через два дня терпение мое лопнуло, и я стал нырять в ставок прямо с мостков с забинтованной ногой. После водных процедур тетя Катя делала мне перевязку.

Несколько дней оставшихся каникул я провел в родной Волгодоновке в кругу родных и близких мне людей.

Так вот мое начало, вот сверкающий бетон
И выгнутый на взлете самолет...
Судьба меня качала, но и сам я не святой,
Я сам её толкал на поворот.
Я сам толкал её на поворот.
Простеганные ветрами и сбоку, и в упор,
Друзья мои из памяти встают:
Разбойными корветами, вернувшимися в порт,
Покуривают трубочки – "Салют!"
Покуривают трубочки – "Салют!"
Моя ж дорога синяя лежит за острова,

Где ждет меня на выгнутой горе
Подёрнутая инеем пожухлая трава
И пепел разговоров на заре.
И пепел разговоров на заре...

Так вот обломок шпаги, переломанная сталь,

Вот первое дыхание строки.

Вот белый лист бумаги,
вот непройденная даль.
И море вытекает из реки.
И море вытекает из реки.
(Ю. Визбор)

Глава 7. КАИ. Продолжение

Марийская тайга...
Души моей отрада:
и спелые снега,
и летняя прохлада.

Ну вот, теперь я не бездомный человек: у меня есть дом и семья. А семья – это не случайное собрание разнородных людей. На первом курсе в процессе неизбежного общения прежде всего с одноклассниками наметились некоторые взаимные симпатии. Разумеется, происходило это на подсознательном, интуитивном уровне независимо от воли и желания. Понятно, что я, проживший год на частной квартире, не мог даже прикоснуться к внутреннему миру ребят, к которым чувствовал неосознанное влечение. Другое дело – мы втроем, я, Толик Батманов и Гена Климов, толкавшиеся целый год в одной комнате, действительно успели кое-что узнать друг о друге. Но и это не обязательно. Важно, чтобы было желание у одного человека понять другого. А если есть еще хотя бы мизерная способность, да не способность даже, а настроенность пожертвовать каким-нибудь пустячком, какой-нибудь ничтожной привычкой ради сохранения мира, лада и комфортных, ненапряженных отношений, – то лучшего и желать не надо. Все это у нас у троих оказалось в запасниках и за год умножилось. И добро бы и дальше плыть вместе в одной лодке. Но Толик был отчислен за неуспеваемость, а Гена не захотел жить в общежитии, или не хотели родители.

Пришлось мне подбирать новую компанию. Действовал я прямолинейно: подходил и предлагал поселиться вместе в одной комнате. Так сформировалась наша комната № 309, основной костяк которой сохранился до окончания института. Вот ее состав: Миша Левтеров, Валера Краснов, Коля Егоров, Женя Назаров из параллельной группы, Витя Ермаков, Володя Никитин и ваш покорный слуга Олег Кох. Вот те раз, получается семь человек, а комната шестиместная. Если бы это был не дебют нашей жизни в этом общежитии, я бы не удивился, внимания бы даже не обратил. Впоследствии (и даже уже очень скоро) мы никогда не жили вшестером, доходило и до двенадцати. Но в самом начале, в момент заселения, мы не могли сразу, без надлежащей психологической подготовки дойти до такого нахальства, тем более что у нас был очень строгий комендант Виктор Иванович; кажется, фронтовик. Но если правильно подойти к служивому человеку, найти нужные струны души и грамотно, нефальшиво сыграть на них, то можно подобрать ключ даже к такому суровому сердцу, как у Виктора Ивановича. Таким ключом оказалась всего-навсего бутылка водки. И не обязательно поллитровка – вполне достаточно было и чекушки. Как банально, скажете вы, опять пьянка, опять коррупция – ничего оригинального и тем более душевного. И окажетесь неправы. Виктор Иванович не был ни алкашом, ни взяточником. Просто он свято чтит исконно русские обычаи и традиции: не нами установлено – не нам и отменять. Ведь что такое чекушка? Бессердечный человек скажет: "Как что?! Аварийная доза для опохмелки!" А душевный человек возразит: «Не-ет. Это теплоноситель, передающий тепло от одного сердца к другому. Это – "спасибо", переплавленное в материальный экстракт». Пустые слова на Руси никогда не были в цене, а может быть, и в чести. Он, может, ее и пить-то не станет, а будет носить у самого сердца. Не потому ли Виктора Ивановича никто никогда не видел пьяным. Выпившим он был только один раз, когда мы навсегда покидали родную общагу. Увидев слезы в его очах, мы по-настоящему поняли, кем были мы для него и кем – он для нас.

Вернемся, однако, в комнату № 309. Итак, мы выяснили, что в момент заселения, а это было в конце августа 1966 года, нас не могло быть семеро. Будем проводить расследование.

Володя Никитин был отчислен после зимней сессии, значит, кто-то пришел позже и занял его место. Скорее всего, это был Валера Краснов. Впрочем, это не важно.

Общежитие № 1 Казанского авиационного института располагалось на углу улиц Большая Красная и Красина в купеческом особняке – красивом четырехэтажном здании с колоннами, с угловым парадным подъездом, на который можно было вспорхнуть по широкой парадной лестнице. Над ним широко и просторно раскинули свои разлапистые кроны могучие вековые липы, хранящие память о всех его обитателях и как бы стремящиеся уберечь их от бурь и потрясений. Под сенью этих исполинов можно было найти спасительную прохладу в знойный день или укрыться от дождя в ненастье. Обитель наша нашла приют в тихом укромном местечке, куда не долетал шум большого города. Вместе с тем большой город был совсем рядом, по крайней мере, его историческая и культурная часть.

Если вы выйдете из общежития и пойдете по Б. Красной направо, то через 150 – 200 м упретесь в кремлевскую стену, повернув налево вдоль которой, так же скоро придете к главному входу в Казанский кремль. Прямо перед вами откроется весь кремлевский ансамбль: Спасская башня, Спасо-Преображенский собор, а за ним – знаменитая башня Сююмбике, откуда, по преданию, бросилась в мятежные воды Казанки татарская княжна Сююмбике – бежала из-под венца во всей своей нетронутой красе.

Если вам взбредет в голову повернуть от общежития налево по Б. Красной, то через два-три квартала вы окажетесь на левом крыле площади Свободы, на которой прямо перед собой увидите живописное поле роскошных роз всех цветов и оттенков.

Здесь меня так и подмывает поведать вам криминально-романтическую историю, которая произошла в начале лета следующего за текущим года, когда нас, казанцев, осчастливила своим творческим визитом Мирей Матьё. Приходит наведни ко мне в комнату мой друг-старшекурсник поэт Юра Ведерников (красивый, открытый всем ветрам парень, удивленные глаза которого могли, казалось, вместить целые миры, как земные, так и вышние) и, глядя на меня сверкающими восторгом очами, из которых шли искрящиеся высоковольтные разряды, вопрошает: "Ты знаешь, что к нам в Казань приехала Мирей Матьё?!" – "Не плохо бы прежде узнать, что это за особа и что привело ее в стольный град Казань в столь непростое для нашего брата времечко (полным ходом шла сессия)?" – ответил я вопросом на вопрос. "Ка-ак, ты не знаешь, кто такая Мирей Матьё??" – с неподдельным ужасом воскликнул мой бедный друг. "Прости, брат, врать не буду, – ни в одном глазу", – попытался я хотя бы частично погасить гневные молоньи в страдающих очах. У оскорбленного поэта был такой потерянный образ (а если молвить точнее, – полное отсутствие образа; дофантазируйте сами, каким может быть человек без образа), что он меня либо пришибет, либо ни в жисть не даст прочитать боле ни одной строчки из своих сочинений. Вряд ли бы я смог перенести последнюю "египетскую казнь", если бы друг мой сердешный не сменил гнев на милость (на то он и поэт, чтоб "милость к падшим приывать"). Видать, преклонение перед неведомой мне женщиной у моего друга было столь велико, что он простил мое невежество и быстро перешел к делу.

Нам предстояло осуществить дерзкий по замыслу план операции, который могла родить только голова гениального поэта. Мы должны были чем свет, на ранней утренней зорьке (или на поздней вечерней, ибо в июне, как известно, одна заря спешит сменить другую, так что даже гениальный поэт, каковым несомненно был мой друг, не разберет, утренняя это зорька или вечерняя) нарезать охапку самых роскошных роз и вручить их очаровательной женщине, которая к тому же ещё и поет. Только что мы успели сократить поголовье роз на центральной площади Казани, как с разных её сторон благословенную утреннюю тишину прорезали пронзительные свистки. "Обложили, гады..." – вихрем пронеслось в наших, не изведавших этой ночью сна головах, и следом за этой праведной мыслью – запоздалое сожаление: "Надо было снять часовых, да кому ж могло прийти в голову, что им не спится в столь ранний час!" – "Мы всё пройдем, но флот не опозорим, мы всех приедем, но роз не отдадим!" – воскликнул поэт, и

мы ринулись в ту сторону, откуда пришли и откуда не слышно было "соловиных трелей", т. е. – по Большой Красной. Но едва мы втекли в родную улицу, сулящую спасение, как увидели впереди "соловья" в милицейской форме. Он спокойно стоял и манил нас пальцем, как заманивает миской пшенной крупы птичница неразумных цыплят: "Цып-цып-цып..." Если бы не сумерки, не успевшие рассеяться, мы наверняка увидели бы на лице полисмена самодовольную улыбку спрута, затягивающего петлю на наших хрупких шеях. Рефлексивно развернувшись в обратную сторону, мы уперлись взглядом ещё в двух "соловьев", маячивших, подобно миражам, на углу пятого здания родного института. Не успев ничего толком сообразить, мы неожиданно обнаружили слева и чуть впереди, в сторону общаги, дорогу в которую перегородил нам ночной страж, узкую брешь между домами и, не сговариваясь, юркнули в неё в надежде выскочить на улицу К. Маркса. Но не тут-то было: мы наткнулись на глухую стену высотой не меньше двух с половиной метров и поняли, что доблестные охранники королевских роз загнали нас в капкан. Несмотря на безысходную ситуацию, мы не могли скрыть друг от друга восхищения великолепно, как по нотам, разыгранной комбинацией.

Но ведь прекрасные розы ждала не менее прекрасная женщина. Это придало нам решимости и мобилизовало оставшиеся ресурсы. Юра подставил спину и приказал: "Вперед и вверх!" Я, как петух на осла в "Бременских музыкантах", вспорхнул другу на спину и, взмахнув ещё раз крылами, оказался на стене. Надеюсь, оставшуюся часть фантастического перелета через неприступную преграду читатель совершит без нашей помощи, а мы с Юрой, оказавшись по другую сторону рубикона, триумфально ушли по улице К. Маркса в родную общагу, не обронив ни единого лепестка и не уронив рыцарской чести.

Финал этой, похожей на сказку, но тем не менее действительной и, слово в слово, правдивой истории представляет, надеюсь, ничуть не меньший интерес. На подступах к концертному залу, где должен был состояться концерт дивы, царил ажиотаж. Как можно было пробиться сквозь эту уплотненную до предела массу поклонников певицы, готовых отдать ей свои сердца, но не имеющих возможности сделать это без билетов на руках, лично я не представлял. Но надо было совершенно не знать поэта Юру Ведерникова, чтобы допустить мысль, что такой пустяк, как отсутствие билета, может его остановить. "Товарищи! Дорогу гвардейцам кардинала! Дорогу корреспондентам газеты "Вечерняя Казань!" – с этими Юриными восклицаниями (Юра с увесистым фотоаппаратом впереди, а я с охапкой роз следом за ним) под аккомпанемент настоятельных требований организаторов эпохального мероприятия и стражей порядка (слава богу, ими оказались не охранники роз): "Пропустите корреспондентов!" – мы, как на крыльях, влетели в огромный зал. Юра сказал, что розы непременно должен вручать я, так как он написал стихотворное послание, и что увиливать от непростой, но тем не менее неотвратимой процедуры – с моей стороны крайне нечестно. От такого предложения у меня подкосились коленки и на весь зал стали дребезжать челюсти. Я оказался полностью профнепригоден. Так что эту почетную миссию Юре пришлось взять на себя, что он и исполнил с присущим ему блеском.

Однако продолжим прерванную экскурсию, а для этого нам нужно вернуться на поле чудес, то бишь на поле благоуханных роз, но варварски резать мы их на этот раз не станем. Итак, справа, у ваших ног, распростерся 5-й учебный корпус КАИ, слева, за полем роз, – Дом офицеров, и, на дальнем от вас правом крыле площади, – великолепный белокаменный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. Не поленитесь пройти к зданию знаменитого театра и полюбуйтесь на него, что называется, в упор.

Возвращаться лучше по улице Карла Маркса, на которую вы легко и естественно попадете, повернув направо от оперного театра (она идет параллельно Б. Красной). Через те же два-три квартала вы вновь окажетесь на улице Красина и по ней замкнете круг у парадного подъезда благословенного общежития. Но не торопитесь: я ведь не случайно повел вас по ул. К. Маркса. На углу улиц К. Маркса и Красина стоит главный корпус Казанского авиационного института

им. А. Н. Туполева. Он представляет собой белое монументальное здание, фасад которого венчает мощная колоннада. Выполненное, как и общежитие на Б. Красной, в стиле ампира, оно содержит в своей утробе все полагающиеся для большого вуза административно-управленческие органы и службы: ректорат, бухгалтерию, планово-экономический отдел и пр. Кроме того, в нем расположен деканат, кафедры и учебные аудитории второго, двигательного факультета. Некоторые предметы, например, металловедение и ликбез по двигателям проходили и мы, первый факультет, в этом здании.

Но наша экскурсия еще не закончилась. Мы еще не побывали на знаменитой реке Казанке, куда мы бегали купаться. Начинаете с той же самой исходной точки. Выходите из общежития, резко разворачиваетесь налево, делаете марш-бросок в несколько десятков метров по ул. Красина, и вы – на песчаном берегу прекрасной реки. Если после купания захотите продолжить историческую экскурсию и попасть в Кремль, то вам всего-навсего нужно пройти (пробежать) по дамбе 200 – 300 метров, и вы окажетесь по другую сторону от главного входа в Кремль (справа вы увидите мост через Казанку), откуда можно подняться на кремлевскую стену и прогуляться по ней, обозревая виды на старинную, историческую часть города.

Не устали еще? Тогда совершим еще одну экскурсию, надеюсь, последнюю. Если от главного здания КАИ пойти по улице Красина в противоположную от общежития сторону, то буквально через 50 – 70 м мы с вами выйдем на Черное озеро и увидим красивый парк слева от него. Это излюбленное, знаковое место всех без исключения студентов, не только нашего института. Зимой там можно кататься на коньках; осенью прогуливаться по пестрому, приятно шуршащему, ласкающему слух ковро, наслаждаясь богатой палитрой увядающего парка; весной вдыхать одурманивающий аромат пробуждающейся природы; летом укрываться от душного зноя и пыли. Кроме того, в любое время года Черное озеро служило нам транзитным перевалочным пунктом, сразу за которым начинался большой шумный город и куда мы совершали паломничества в кинотеатры, магазины и на почту (за посылками из родительского дома), а в дни стипендии и после шабашки позволяли себе кафе и рестораны на улицах Ленина и Татарстана. Через Черное же озеро лежала дорога в "седьмое здание КАИ" у подножия краснокирпичного Собора Петра и Павла – полуподвальную кафе-пельменную, где, независимо от стипендий и шабашек, мы могли сравнительно недорого побаловать себя настоящими "домашними" пельменями в различных вариациях кулинарного искусства.

Вот такая занимательная география и такая богатая событиями история окружает наше общежитие, наше прибежище, в котором мы провели самые лучшие годы нашей героической молодости. Ну скажите, где еще можно найти такое замечательное во всех отношениях место?

Давно уже пора познакомиться с интерьером нашей обители. Для этого нужно войти в святая святых через высокие двустворчатые двери парадного подъезда. Слева у входа вы увидите молодого человека, сидящего за столом, реже – молоденькую дивчину. Ни тот, ни другая не обратят на вас ни малейшего внимания: первый, скорее всего, будет погружен в чтение любовного романа, вторая будет вязать шапочку или шарфик, не обязательно для себя. Кто это, спросите вы, и зачем здесь сидят? Это дежурные студенты, а сидят они здесь для того, чтобы проверять пропуска у всех входящих и даже у тех, кого они знают как облупленных. Так почему же они этого не делают, не выполняют своих прямых обязанностей, а вдруг в святая святых проникнет враг?! Они – свободные люди и привыкли уважать свободу других. А враг с каким мечом придет, от того же меча и погибнет.

Смело проходим мимо дежурного и поднимаемся на третий этаж по широкой лестнице, затем поворачиваем направо по коридору и через несколько шагов увидим справа дверь, над которой будет красоваться табличка № 309. Это и есть наша родимая комната. Осторожно открываем дверь и видим перед собой дощатую перегородку, отсекающую от комнаты небольшой уголок, служащий прихожей. Огибаем перегородку справа и оказываемся в просторном квадратном помещении, пол которого покрыт старинным паркетом; этот паркет мы каждую

субботу натирали мастикой до зеркального блеска. Вдоль стен расположились железные кровати с панцирными сетками, аккуратно, по-армейски, застеленные; у каждой кровати тумбочка. На противоположной от входа стороне – большое окно и дверь на балкон, на котором в теплую погоду кто-нибудь из нас устраивал ночлег. Посредине комнаты стоит большой круглый стол. На левой стене Миша Левтеров нарисовал огромный самолет ТУ-144, который был пока еще в конструкторской разработке, а на правой – березовую рощу. На тыльной стене – встроенные шкафы. В комнате нашей было всегда чисто, светло и уютно. Курили только на кухне или в туалете. Завтракать и обедать ходили в общежитие двигательного факультета, расположенного напротив нашей общаги. Ужин, как правило, готовили сами на общественной кухне.

Не успев привыкнуть к своему новому жилищу, мы отправились в колхоз убирать картошку. Почти сутки ползли сначала по Волге, потом вверх по Каме на допотопном колёснике. Древний пароход, поглощая своим ненасытным чревом тонны каменного угля и выбрасывая через огромную белую трубу, окаймленную веселой красной полосой, клубы черного дыма, растянувшегося за судном длинным черным шлейфом на десятки километров, неторопливо шлепал по воде многочисленными лопастями своих огромных колес. Мы сидели в темном душном трюме, куда не проникали лучи солнца и свежий воздух, в синем чаду сигаретного дыма и под усыпляющие, греющие душу звуки Дамировой гитары пили бормотуху и резались в карты. Куда нас везли и когда будем на месте, никто не знал. Да и не хотел знать.

На одиноко притулившемся к высоченному крутому берегу дебаркадере, к которому после долгих манипуляций пришвартовался наш колёсник, было черным старинным речным шрифтом начертано красивое, воздушное, романтическое – "Набережные челны". Стояла какая-то густая тяжелая мгла: то ли насыщенный влагой туман, то ли мелкий моросящий дождь. Вырванные из пропитанного винно-сигаретным перегаром теплого уютного трюма, мы, ежась от утреннего пронизывающего холода, вынуждены были долго и нудно подниматься по длинной деревянной лестнице на берег, где нас посадили в грузовики и повезли в колхоз с претенциозным восточным названием "Татарстан". Разместили по частным квартирам. Слава Богу, мы, Витя Ермаков, Миша Левтеров и я, попали в теплый дом к хорошим людям.

Осень стояла холодная, дождливая. Погожие дни, когда можно было выходить на работу на картофельное поле, – по пальцам перечесть. В ожидании погоды мы чем только не занимались: ходили за грибами, играли в карты, готовили концерт художественной самодеятельности и пр. В этой связи заслуживают внимания некоторые события.

Я стал брать у Дамира Сафиуллина уроки игры на семиструнной гитаре, точнее, уроки аккомпанемента. Первую песню, которой научил меня Дамир, помню до сих пор: "Белые улицы и мосты, в белых шапках дома. В беленькой шубке, любимая, ты – как маленькая зима..." Потом выучил еще две или три песни, одну из которых играл специфическим замысловатым боем, называемым "восьмерка". Я не был притязательным: для всех песен мне достаточно было трех аккордов. Так что я с этими тремя аккордами, как говорят, без зазрения совести полез на сцену на концерте художественной самодеятельности в сельском клубе.

Второе событие: мы с Дамиром оба влюбились в Милу Корепанову из нашей группы. Мила предпочла Дамира, наверно, потому, что он лучше играл на гитаре. Шучу. Истинную причину знает только Мила. Хорошо помню необычное ощущение волнения и счастья, за что благодарен Миле до сих пор.

Были события, ставшие для меня открытиями. Это в первую очередь походы за грибами, которые научили меня: а) разбираться в грибах; б) готовить из них блюда; в) с удовольствием эти блюда уплетать. В одной из таких прогулок мы набрали на пасеку, подняли крышку одного из ульев и увидели полусонных, копошащихся пчел. Кто-то из нас со знанием дела взял рамку, наполненную медом, стряхнул в улей пчел, и мы, как мишки, отламывали куски душистого сотового меда и уплетали за обе щеки. Пару рамок принесли домой и угостили хозяев, кото-

рые, очевидно, постеснялись отказаться, но было заметно, что они чем-то недовольны и встревожены. Мы поняли, что сделали дурно.

Одно происшествие, которое, наверное, можно назвать чрезвычайным, мне до сих пор неприятно вспоминать, хотя случилось оно не со мной. Не знаю, правильно ли я поступил тогда, нашел ли я такие слова, чтобы меня верно поняли. Одно могу сказать, что я старался быть честным и объективным (если вообще может быть объективным субъект). Вот что произошло. Наши ребята, среди которых были боксеры-разрядники, сильно избили местного парня, который вступился за свою девчонку. Парень попал в больницу с настолько тяжелыми травмами (сломана челюсть и пр.), что было неясно, придет ли он в нормальное состояние.

Прибыли наши отцы из института и стали думать, как выгородить своих питомцев и тем самым спасти честь мундира. И началась мышиная возня: волка стали втискивать в шкуру ягненка. И самое удивительное, что в этой метаморфозе, в этом постыдном действе принимали участие не подлецы, не мерзавцы, а самые нормальные и даже симпатичные люди: студенты и их наставники. Как будто Бог отнял у них сердце и разум. Всех просто раздувало от фальшивого, напыщенного патриотизма, словно встали они за правое дело, на защиту Родины. Вы спросите: неужели не оказалось ни одного здорового, вменяемого человека? Конечно, были такие, которых это происшествие возмутило до глубины души. Но как трудно выступить против экзальтированного, принявшего дозу, зомбированного большинства. Однако молчать еще труднее. Мы решили выступить на собрании, и это дело поручили мне.

Ударил колокол, собрал людей на вече. В сельском клубе народу – битком: местные колхозники и варяжские гости. Гостей больше. И в президиуме гостей больше, и они правят бал. Ну разве могут колхозники соперничать с высокими гостями в искусстве казуистики, демагогии, фальсификации, словоблудия, в умении черное представить белым, белое черным. Они ничего не понимают, они чувствуют, что совершается несправедливость, что все перевернуто с ног на голову, но возразить не могут. Игра идет в одни ворота, пустые ворота. Жаркие, неистовые выступления, исполненные "справедливого гнева", следуют одно за другим.

Сижу, готовый залезть под скамейку – да не от стыда, а от страха, – и думаю: ну что, тебе больше всех нужно? Зачем ты вообще пришел сюда? Сидел бы дома и не мучился. Может, ты чего-то не понимаешь, сгущаешь краски, преувеличиваешь? А может, ты – злодей?.. Сижу и не могу решиться. И вот когда все уже высказались, выпустили пар и всё, казалось, пришло к своему законному (читай – незаконному) концу, я встаю и тихо, сбивчиво, как бы извиняясь, начинаю говорить примерно следующее: "Мы совсем забыли про парня, который лежит в больнице в тяжелом состоянии. Попробуйте поставить себя на его место. Живет человек в своей деревне, ухаживает за девушкой, ни о чем плохом не думает, ничего дурного не ожидает. И тут, откуда ни возьмись, приезжают веселые ребята, они молоды, здоровы, им не дают покоя гормоны, и они начинают приставать к местным девчонкам. И вдруг какой-то невежда, не имея ни малейшего представления и не давая себе труд понять, что такое сексуальная озабоченность, нагло встает у них на пути..." Договорить мне не дал окрик из президиума: "Так ты что хочешь, чтобы их посадили?!" Я сначала что-то мямлил, оправдывался, доказывал, что я не верблюд, а потом, распалившись, стал вопить что-то совсем уж несусветное, невразумительное: "Да кто вообще имеет право бить человека! Для чего отец с матерью родили, растили, кормили, лелеяли его, говорили ему ласковые слова? Для того чтобы какие-то проходимцы уродовали, убивали его?!" И так далее в том же роде. Не помню, чем закончилась эта драматическая история. Парень вроде выздоровел, ребят, слава тебе Господи, не посадили. Но у меня она оставила неприятный осадок и чувство вины перед главными участниками происшествия, которые тем не менее, непонятно почему, относились ко мне в дальнейшем тепло и приветливо...

Заканчивался сентябрь, а погоды все не было. Больше половины картошки покоилось в земле. За нами приехали наши отцы из деканата. Руководство совхоза стало уговаривать наше руководство продлить командировку студентов и хотя бы частично спасти урожай. На дворе

стояло глухое ненастье: холод, дожди, на носу зима. Но в стране-то царила Оттепель! А что это значит? А это значит, что у низов прорезался голос. Поэтому наши отцы не стали объяснять колхозным отцам, что надо выполнять напряженный учебный план, что студенты простужены и им все это осточертело, а сказали они примерно следующее: "Мы бы рады, но захотят ли низы?.. Давайте спросим у низов! Устроим голосование. В конце концов, у нас теперь – демократия".

Перед собранием я, выросший в селе и впитавший с молоком матери куркульские замашки, сказал ребятам: "Понимаете, в чем дело? Вот мы уедем, и картошка сгниет. И никто, кроме нас, ее не уберет. Просто некому". Ребята поняли меня с полуслова. Эту простую мысль мы и довели до почтенного собрания... В зале повисла мертвая тишина... И было принято волевое государственное решение: оставить нас до тех пор, пока не вызволим из земляного плена *всю картошку*. И никакого тебе голосования, и никакой демократии. Вы что-нибудь понимаете? Лично я отказываюсь что-либо понимать. Вот так трёкнешь что-нибудь не подумавши, а другие – расхлебывай.

А тут и снег подоспел. И вгрызлись мы в густую черную, перемешанную со снегом и грязью землю. Злые, как черти, мы работали как одержимые. Куда там Павке Корчагину, рабам на галерах или неграм на плантациях сахарного тростника! Взяли вилы (о лопатах и подумать было немыслимо), стыли руки (перчатки, которых вдруг стало изобилие, моментально превращались в комья грязи), мы рвали и метали, а сердца выстукивали: "Не спи! Замерзнешь!"

И действительно, было не до сна. Объединенный колхозно-институтский коллектив жил, работал и дышал, как единый организм. Боюсь, что у читателя создается обманчивое впечатление, что кругом царила атмосфера уныния и отчаяния. Ничего подобного. Несмотря на суровые условия, молодость и присущий ей комсомольский задор брали свое, заявляли свое законное право на шутки, смех, подкалывания.

Это беспешашное настроение передавалось и местным ребятам. Вот один трагикомический эпизод. Молодой тракторист, который возил нас в тракторном прицепе на работу и с работы в положении стоя, в припадке льющегося через край вдохновения и со словами на устах: "Эх, прокачу!" – так разогнал свой трактор "Беларусь", что на крутом вираже прицеп наш опрокинулся, и мы, подхваченные нечистой силой, продолжили полет в заданном направлении, игнорируя какие бы то ни было виражи, и угодили в огромную лужу. Поскольку лужа была достаточно глубока, скажем, по пояс, и заполнена не простой водой, а жидкой грязью, мы благополучно опустились на дно этого спасительного болота, не получив абсолютно никаких телесных повреждений. Мне, заброшенному означенной силой дальше всех и потому лишенному счастливой участи Садко побывать на заманчивом дне, довелось наблюдать довольно странную, поистине космическую картину. Черная, пустынная, булькающая поверхность какой-то планеты, и – ни души вокруг... Вдруг из этой поверхности выскакивает, как из небытия, как черт из табакерки (если и существует черт, то он должен быть именно таким), невиданное на планете Земля существо, с головы до пояса (дальше не видно) покрытое каким-то неведомым веществом, похожим на нашу жидкую грязь, с оттопыренными круглыми штуками, произрастающими из того места, откуда у человека обычно растут уши, с сверкающими диким блеском шарами (там, где у человека расположены глаза), и начинает дико ржать. Практически одновременно с первым выныривает второе, третье, десятое... (и все, если можно так выразиться, на одно лицо) и дружно включаются в многоголосое, безудержное ржание. Неведомое вещество, которым покрыты тела этих существ, бесконечными струями стекает с них, как из рога изобилия. Между тем ржание нарастает и достигает апогея. И вдруг из чрева одного из существ вырывается раздирающий душу и другие чувствительные органы вопль на чистейшем русском языке: "Растудыт твою в качель!!!" И потустороннее жуткое ржание прекращается в единый миг, и всем становится ясно, что неведомая планета, на которой все сие произошло, не что иное, как наша родимая матушка-Земля, чудо-юдо с оттопыренными ушами никто иной, как Вовка Романов, а такое совершенное владение русским фольклором доступно только настоя-

щему поэту, коим оказался Коля Дектерев. У кого-то совершенно случайно, как это обычно бывает, оказался фотоаппарат, так что все попытки уличить меня во лжи обречены на неудачу. Возбужденные и взбудораженные, чрезвычайно довольные собой и приключением отправились мы на ужин.

Наверное, можно было бы еще что-нибудь вспомнить из нашей колхозной одиссеи, но в этом случае мы рискуем никогда ее не закончить. А нам уже давно пора отправляться на учебу: пошла вторая половина октября. Уверен, по длительности пребывания на сельхозработах мы побили все мыслимые и немыслимые рекорды за всю историю колхозно-студенческих эпопей. Но, согласитесь, и урожай ведь был рекордный. К тому же мы дали слово, а студенты слов на ветер не бросают.

На стипендию в 35 рублей жить в то время, наверное, можно было, жили же наши девчата. Думаю, и я бы смог. Но в КАИ была хорошая традиция – шабашки. Наша 309-я решила позаботиться о том, чтобы замечательная традиция не пресеклась. Мы подошли к этому предприятию по-научному. Изучили если не весь, то весьма значительный и обширный спектр потенциальных шабашек в Казани, изучили юридическую и экономическую сторону дела. Узнали, например, что согласно шабашниковскому трудовому праву запрещается сбивать расценки, то есть занижать стоимость работ.

Самая географически близкая шабашка, табачная фабрика, находилась совсем рядом с нашей общагой – через два дома по улице Большая Красная. Продукция её – сигареты "Аврора", махорка, морской табак и пр. Табак – это стратегический и остро необходимый организму продукт, гораздо важнее хлеба: без хлеба можно прожить день, без табака – нет. Кроме Миши Левтерова и Вити Ермакова, в 309-й все курящие. Расценки самые низкие из всех шабашек – 10 рублей за ночь. Но ведь и работа не пыльная: развезти всю продукцию, коробки с сигаретами и с табаком, из цехов по складам и навести порядок: убрать обрывки бумаги и пр. Но самое главное – трофеи. С шабашки обычно приносили неразрезанные сигареты и морской табак. Специально завели Трубку Мира и солидно, с чувством курили крепкий морской табачок по очереди на кухне. Махорку брали в походы как резерв, ибо существует туристское правило: сколько пачек сигарет ни бери, все равно не хватит.

Если хотели попить хорошего вина, шли на винзавод (три-четыре человека). Характер работы: из цеха перевезти деревянные бочки с вином на склад, предварительно взвесив каждую. Один раз пришлось закатывать бочки по трапу в ж/д вагон – это потруднее. Заработок: 15 – 20 рублей за ночь (4 – 5 часов, не больше). Пока работали, ночной дежурный (он же распорядитель и работодатель) грел ведро с вином на электрической плитке до комнатной температуры, и после работы – пей сколько влезет, выносить с территории завода обычно не разрешали. Но иногда вино удавалось прихватить с собой в какой-нибудь подпольной таре, например, в грелке. В общагу отвозил нас служебный автобус.

Вспоминаю, как первый раз на первом курсе мы с Мишей Левтеровым и еще несколько парней с нашего факультета пошли днем наудачу искать шабашку. Мы не имели ни малейшего понятия ни о характере работ, ни о расценках. Нам подвернулось разгружать открытый сверху пульман (товарный ж/д вагон) с бревнами. Бревна нужно было переваливать через стенку вагона. Сначала мы их просто скатывали. Потом пришлось приподнимать, но было все еще терпимо. Затем поднимать нужно было все выше и выше, все опаснее и опаснее: сорвись бревно случайно, и ты будешь погребен под ним. Это была адская работа. Мы выдохлись, так её и не завершив. Нам заплатили какие-то копейки, но не нужны были никакие деньги, лишь бы поскорее унести ноги, пока цел. Как сказал Владимир Семеныч: "Скажи еще спасибо, что живой". Так нам еще и досталось от стариков, что сбили расценки.

На втором курсе осенью пару раз приходилось днем разгружать баржи с арбузами. Один раз бегали парами с носилками по узкому хлипкому трапу, норовя то и дело свалиться в воду.

Другой раз веселее – конвейером. Заработки вроде небольшие были, а умотались до того, что ноги не держали. Никакие арбузы не нужны. Больше мы на баржи не ходили.

Были непродолжительные эпизодические подработки, которые и шабашками-то назвать не берусь. Это разгрузка машин в магазинах и ресторанах: ящики с водкой или шампанским, например. Один раз я даже попал на дегустацию (наверное, как почетный грузчик) эксклюзивных, экзотических блюд, которую устроил какой-то ресторан на улице Татарстан. На этом званом торжестве желудков я раз и навсегда влюбился в блюда из кальмаров, о которых (кальмарах) до того не имел ни малейшего представления.

Постепенно мы стали довольно-таки солидными шабашниками. Из четырех вделанных в стену шкафов один выделили для рабочей одежды. Мы теперь редко искали шабашку, шабашка искала нас. На мелочи не разменивались: не меньше 30 рублей за ночь. У нас появились постоянные работодатели и постоянные работы. Нам звонили накануне (как правило, за день) и спрашивались, сможем ли. Обычно мы были готовы, как пионеры: на труд – как на подвиг. В назначенное время приезжал автобус и с комфортом доставлял нас на работу. О расценках и прочих условиях договариваться было не нужно: всё было давно раз и навсегда обговорено. Что это были за работы и каковы были расценки. Мы разгружали шестидесятитонные пульманы: чаще с цементом в мешках по 40 кг, иногда с известью (в мешках и россыпью) и один раз с углем, который таскали на носилках, – самый неудобный вариант. То ли дело: схватил мешок и побежал по трапу, а с носилками не набегаешься. Такса: два рубля за тонну – итого 120 рублей вагон. Вот и считай: если вчетвером – то по 30 р. на рыло, если втроем – 40. Обычно не жадничали, ездили вчетвером; втроем, – если четвертого не оказывалось. После цемента облик менялся: ты на неделю становился чернявым, с подведенными, как у артиста, выразительными глазами и черными бровями.

Так что с деньгами у нас проблем не было. Согласитесь, очень даже недурственно при стипендии в 35 р. иметь возможность за ночь заработать 30 – 40 рублей. При таком раскладе мы даже не на всякую работу соглашались: предпочитали вариант – в мешках. Разумеется, при таком финансовом положении я уже со второго курса наотрез отказался от денежной помощи родителей, правда, немало сил положил, чтобы их в этом убедить. Но посылки получал с удовольствием и достаточно часто; чего только мама с папой не присылали: в основном, конечно, мясо и эксклюзивные мясные изделия немецкой кухни. Но однажды умудрились прислать яйца, и ни одно не разбилось – высший пилотаж! В этой связи меня несколько лет спустя постигло горькое разочарование, что-то вроде разбитой любви или крушения иллюзий. Я как-то вычитал в толстой солидной книге "Ф. Энгельс", что Карл Маркс, будучи студентом, пропивал с друзьями деньги, которые с трудом собирал ему отец, и вопил в письмах: "Еще давай!" Таких вещей я не могу понять и принять, ну *не дано мне!* И друзьям моим не дано! Самоотверженной любви моей к классику пришел "капут".

Однако самой крутой шабашки нам испытать не довелось. Это погрузка-разгрузка "клепки". Клепка – спрофилированные дубовые дощечки, из которых делают бочки. Для переноски клепки предусмотрены специальные приспособления рюкзачного типа, куда укладывается 100 кг таких дощечек (не меньше). Да и до матерых шабашников нам было далеко, но мы за такими высокими званиями и не гонялись, и за деньгами тоже.

А были еще и Короли шабашки. Я знал, по крайней мере, одного. Звали его Григорий Яковсон. Работал он преимущественно на клепке. Отличный парень, боксер, курса на три старше меня. Он считал себя некрасивым, так как у него был сломан и сплюснен нос, – у боксеров это часто случается. Я бы этого не сказал: мужественный человек не может быть некрасивым. Он мне прямо говорил: "Кому я нужен с такой физиономией? А при деньгах, может, и найду себе невесту". И шабашил по-черному: один мог за ночь разгрузить пульман с цементом. К окончанию института у него уже была приличная сумма на книжке: и на квартиру хватало, и на машину.

После зимней сессии мы с Герой Кочетковым поехали в Ленинград: он к дяде, а я к тете. Мы оба в школе серьезно занимались баяном. Но на сей раз баяны мы оставили в общежитии и взяли с собой гитары. Итак, вооруженные гитарами, мы устроили гастроли в вагоне поезда. Вокруг нас собралась приличная компания певчего студенческого народа, и мы дали волю разгулявшимся страстям.

На Московском вокзале Ленинграда нашли справочное бюро и выяснили, как добраться к родичам: Гера – к дяде, а я, разумеется, – к тете. Но, видите ли, какая штука: адреса у нас были совершенно разные, но посадили нас в один и тот же автобус и выйти предписали на одной и той же остановке. Мы с Герой переглянулись и в недоумении пожали плечами: мол, ладно, если вы так хотите, мы поедem, но отвечать придется вам! Мы сошли на указанной остановке и, все еще ожидая подвоха, попросили приветливых, гостеприимных ленинградцев (а ленинградцы по сию пору сохранили эти замечательные качества) указать координаты: Гера – дяди, а я, само собой, – тети. И что вы думаете, наши дома оказались в одном дворе, в двух шагах друг от друга. Если бы нам сказали в самом начале, что это будет именно так, мы бы ни за что не поверили, потому что этого не может быть никогда.

И начались наши с Герой ленинградские гастроли. Ангелом-хранителем и покровителем моим была моя двоюродная сестра Галя, десятиклассница. А над Герой взял шефство его двоюродный брат Витя, студент второго курса Ленинградского политеха. Галя подготовила для меня культурно-просветительную программу: музеи, театры. И Витя подготовил для Геры не менее привлекательное мероприятие: знакомство со своими друзьями, студентами означенного института, и, как следствие, – культурный обмен. Эти две программы мы решили объединить, поскольку одна дополняла другую. Надо сказать, что зима в Ленинграде в тот год выдалась суровая, мороз – -20° , а с учетом повышенной влажности в городе на Неве, это то же самое, что -30 в Казани и -40 в Целинограде. А я, уроженец Северного Казахстана, где морозы бывают и под 50 , решил выпендриться перед ленинградцами и приехал без шапки и в легкой курточке. Но на меня никто не обращал никакого внимания. Тогда я взял и обморозил уши, да так сильно, что они у меня обвисли, как у спаниеля, а на следующий день и вообще покрылись волдырями. Пришлось купить легкомысленную шапочку с козырьком и с опускающимися ушами.

Итак, в первой половине дня мы выполняли Галину программу, то есть ходили по музеям, а вторую посвящали Витиной культурной программе. Надо честно признаться, что Витина всем была больше по душе, ибо не нужно было напрягаться и с умным видом стоять перед произведением живописи или другим музейным экспонатом, а можно было расслабиться за хлебосольным Витиным столом, уставленным напитками и закусками. Мы с Герой дарили студентам политеха (а если молвить правду, то больше студенткам) свои песни, а они нам – свои. Периодически мы, как римские патриции, освобождали в туалете желудки, и веселье продолжалось. И продолжалось оно неделю, до самого нашего отъезда из колыбели революции. В итоге у каистов желудки и головы оказались крепче, чем у студентов Ленинградского политеха, чем мы были несказанно горды, приблизительно так же, как хоккеисты нашей сборной, впервые выигравшие у канадских профессионалов. Да и песен мы выдали на-гора поболее.

Пришла пора начать долгий, длиною в целую жизнь, рассказ о неизлечимой болезни, которой я (и мои близкие) страдаю до сих пор и от которой, честно говоря, не хочется, да, наверно, и не нужно лечиться, потому как – бесполезно. Редко кому удастся избавиться от этой болезни. Так что лучше остерегаться ее, пока она тебя не подкараулила и не накрыла с головой. Болезнь эту и назвать-то трудно. Она не то чтобы сродни страсти, она – сама страсть. А заболевший ею, вы совершенно правы, – страстотерпец. У нее много разновидностей, и большинство из них имеют под собой какие-то разумные основания, какие-то весомые причины, какие-то убедительные оправдания. Их можно рационально объяснить, а следовательно, и понять. Например, путешествия по странам и континентам, по городам и весям можно объяснить: а)

любопытностью; б) любовью к коллекционированию (путешествий); в) интересом к архитектуре, живописи; г) страстью к собирательству (корней, цветов, трав, жучков, бабочек), к научным открытиям, археологическим находкам; д) спортивным интересом, наконец. Даже увлечение альпинизмом можно оправдать стремлением покорить вершину, на которой: а) еще не бывал; б) никто не бывал.

Но вариант болезни, которой когда-то заболел я и которой болею до сих пор, не имеет никаких оснований, никаких причин, никаких оправданий; он неразумен, неубедителен, он совершенно иррационален, его не может понять и объяснить даже сам заболевший, а что уж говорить о тех, кто смотрит на него со стороны. Представьте себе: человек берет мешок, набивает его неважно чем, лишь бы было потяжелее, взваливает себе на спину и идет неведомо куда и зачем, лишь бы подальше, и уже в этом хождении с тяжелым мешком находит нечто наркотическое, нечто такое, что не поддается объяснению. Попробуйте забрать у него мешок, и вы сделаете его самым несчастным на земле существом, даже если в мешке – одни серые камни. Слава Богу, вам это вряд ли удастся сделать. Он может в сорокаградусный мороз прийти в промерзшую землянку, в звенящем, трескучем лесу нарубить дров, затопить печку (как вариант, походную буржуйку), открыть топором банку консервов и, подобно дикому прашуру, с невиданным наслаждением предаться пиршеству. Так он может блаженствовать сколь угодно долго – немытый, небритый, нечесанный, вдали от родных и близких. И оторвать его от этого блаженства может только новая дорога, еще более длинная и тяжелая.

Как же я умудрился заразиться этой болезнью? Как-то, вернувшись из колхоза, я услышал недалеко от нашей 309-й звон гитары. Греющие душу звуки раздавались из крайней, в конце коридора у окна, комнаты. Недолго думая, постучался и, войдя в комнату, увидел мужчину с гитарой. Им оказался студент шестого курса Виталий Баулин. Среднего роста, коренастый, с мужественным, волевым лицом, не расположенный к праздным разговорам, он казался гораздо старше нас, второкурсников. Еще до знакомства с Баулиным я понаслышке знал, что он вожак туристской группы, классно играет на гитаре, знает кучу песен и сам сочиняет. Узнал я также, что в свой сложившийся за годы учебы туристский отряд старшекурсников он никого постороннего не берет.

До сих пор не могу понять, как мне удалось проникнуть сквозь ореол суровости, неприступности, таинственности этого лесного волка, как вообще могли сойтись два столь разных человека. Тем не менее это произошло. Произошло не сразу, постепенно. Важно, что, когда я попросил взять у него несколько уроков игры на гитаре, он меня не оттолкнул, несмотря на мое вероломство и на дефицит времени, связанный с работой над дипломом. Виталий научил меня нескольким приемам игры на этом сложном и красивом инструменте, которыми я пользуюсь до сих пор, несколько расширил мой арсенал аккордов. Но добиться столь виртуозной, мелодичной игры, когда гитара пела и говорила буквально человеческим голосом, мне так и не удалось, – то ли не хватило настойчивости и упорства, то ли в силу поверхностности и неприязнительности, мол, и так сойдет, а скорее – все вместе. Зато привязанность друг к другу и необходимость друг в друге мы ощущали все больше и больше.

Виталий поверял мне даже свои сердечные тайны. Он был безнадежно влюблен в безнадежно больную врожденным пороком сердца девушку. Мы часто бывали у нее в гостях. Она, разумеется, знала, что обречена, но никогда и виду не подавала. Напротив, она была неизменно приветлива, весела и даже беспечна. Будучи начитанной и обладая изобретательным умом, она придумывала всякие головоломки и интеллектуальные игры, была великолепной рассказчицей. А если добавить ко всему редкую, всеобъемлющую красоту, то Виталия вполне можно было понять: в эту дивчину просто невозможно было не влюбиться, так же как невозможно было понять, откуда в этом хрупком, изящном существе такая неиссякаемая воля к жизни, не позволяющая ей расслабиться и сникнуть. Именно благодаря этой внутренней силе она не позволила себе ответить Виталию взаимностью, хотя симпатия к нему была налицо.

Преддверие ноябрьских праздников. Настроение приподнятое: мы, как и все нормальные люди, готовимся достойно встретить день 7 Ноября. Нет, не повышенными сообразительностями, не выдающимися успехами в учебе, не досрочной сдачей курсовых работ и проектов – для таких подвигов даже у отличников духу не хватило бы. Мы, студенты второго курса, уже успевшие вкусить простые земные радости, познать вкус к напиткам и вкус напитков, научиться готовить и накрывать праздничные столы, приводим в порядок комнату, меняем постельное белье, натираем мастикой паркетные полы, устраиваем постирунчики в общежитской прачечной, гладим брюки и рубашки (костюмы обычно национализировались и становились общественным достоянием: сходить в театр, на свидание...), кто-то уже успел сходить в баню, другие решили ограничиться общежитским душем – одним словом, идет предпраздничная суета, чтобы не сказать – суматоха.

И вдруг эту суматоху прорезали, взорвали звуки какой-то бодрой маршевой песни под ликующий аккомпанемент непонятно чего, как будто бы оркестра. Мы, сбивая друг друга с ног, ринулись на эти будоражающие душу и заставляющие прыгать сердце звуки и увидели следующую картину: на широкой лестничной площадке между вторым и третьим этажами полукругом расположилась группа ребят и девчат в штормовках и телогрейках с рюкзаками за спиной, впереди которой посредине – Леша Соколов с баяном, а по обе стороны от него Виталий Баулин и еще кто-то (не помню) с гитарами, и в едином порыве возносит к небесам и разносит по всем закоулкам общаги то ли марш, то ли гимн, то ли мощный призыв: "Собирайся, друг-турист, опять в дорогу, тебе с нами будет лучше, чем в раю..." Потом еще и еще в том же духе. А на сбегавшей вниз лестнице, на площадках её и перилах, побросав все приготовления к празднику и отложив все неотложные дела, повисли, сгрудились, столпились все обитатели общаги. Было такое ощущение, что страна под звуки марша "Прощание славянки" провожает на подвиг своих питомцев, своих добровольцев, своих сынов и дочерей. Не знаю, как у других, но у меня грудную клетку распирало от гордости и восторга, и сердце готово было лететь вслед за ними. Так провожала общага свой единственный на первом факультете передовой отряд этих неугомонных, особой закваски людей в турпоход в марийские леса. Как я завидовал им тогда! А отряд в боевом порядке, пешим строем, с песнями двинул на ж/д вокзал к двадцатидвухчасовому поезду "Казань – Йошкар-Ола". И перед ним почтено расступались машины, кони, люди и даже трамваи.

Можно с уверенностью сказать, что опасный вирус я подцепил не в первом своем турпоходе, а именно тогда во время бурных и необычных для меня проводов. Между тем для группы Виталия Баулина и для общаги это был обычный и посему привычный ритуал. По возвращении Баулина из похода я стал буквально приставать к нему, возьми, мол, в поход. Он не вполне определенно пообещал, что как-нибудь возьмет. Но он не взял меня ни на День конституции, 5 декабря, ни на Новый год и довел меня до такого неистовства, что я готов был порвать с ним всяческие отношения, о чем прямо ему и заявил. Шантаж, очевидно, подействовал, и он сказал, чтобы я готовился к 8 Марта.

К походу я решил готовиться самостоятельно и купил большой с боковой шнуровкой рюкзак, который, как потом выяснилось, был громоздкий и очень неудобный: не прилегал к спине, а почему-то постоянно сползал на зад. Зато в нем свободно помещалась гитара. Правда, настоящие туристские рюкзаки, например, прославленный абалаковский, как и штормовки, были в дефиците. Удалось достать только туристские ботинки. Вместо спальников брали тогда в поход обычные шерстяные одеяла. Я купил продукты, которые поручил мне Баулин, и перед выходом зашел к нему в комнату с уложенным рюкзаком. Он молча снял с меня рюкзак, вытряхнул из него все содержимое на пол и дал мастер-класс укладки сего главного атрибута принадлежности к туристскому племени. Одеяло, плоско сложенное, он размазал по стенке рюкзака, прилегающей к спине, на дно положил картошку, консервы и прочие тяжелые вещи, сверху – одежду и посуду. Сравнив по весу наши рюкзаки и обнаружив, что мой раза в три

легче, я возмутился и потребовал сделать перезагрузку. Виталий спросил, уверенно ли я стою на лыжах, и когда я сказал, что на лыжах научился ходить раньше, чем без лыж, он добавил мне для отвода глаз пару килограммов, но не из своего, а из рюкзака, предназначенного девчонке.

Дальше последовал уже описанный торжественный, полный восторга ритуал, но я был теперь не зрителем, а законным и счастливым участником его. Мы прошли строем и с песнями до ж/д вокзала (минут 40 – 50). Впереди гитаристы и красавец Леха с баяном в лихо заломленной казацкой шапке, из-под которой вились неукротимые кудри. В Лехе вообще всегда все было лихо. И нам действительно уступали дорогу люди и машины и приветливо махали вслед: женщины платками, машины крыльями. Потом мы с деловым и вместе с тем с торжественным шумом растеклись по вагону с сидячими скамейками и с сетчатыми полками, на которые взгромоздили лыжи и рюкзаки, а позже, наоравшись до одури песнями, и сами взгромоздились на эти полки и забылись в кратковременном сне. Я был приятно удивлен, что кроме нас, в вагоне оказались и другие, но из того же теста любители приключений.

Если б вы знали, как неохота было покидать теплый уютный вагон и в полудремотном состоянии окунаться в черную стылую ночь на каком-то заброшенном, забытом богом полустанке (кажется, это был Суслонгер). Как противоестественно, иррационально было надевать лыжи и в кромешной тьме плестись по страшному лесу, незнамо куда и зачем, боясь отстать от впереди идущего. Мне никогда доселе не приходилось ходить на лыжах с рюкзаком за спиной. Оказывается, это не так-то просто: тебя болтает из стороны в сторону, как перевернутый маятник, и, с точки зрения механики, это самая неустойчивая форма равновесия, когда центр тяжести находится гораздо выше точки опоры.

Рюкзак вдруг превратился в живое существо, бросающее меня туда-сюда и норовящее опрокинуть. Поэтому все мои силы и мысли были направлены на то, чтобы не дать маятнику качнуться за критическую точку и коварному наезднику повергнуть меня ниц. Если на горизонтальных участках я как-то приноровился удерживать равновесие, то на спусках, отчаянно бросая себя на авось в непроницаемую, кромешную тьму, неизменно и низменно падал, так отчаянно зарываясь в снег и так позорно барахтаясь в нем без всякой надежды выбраться, что меня приходилось откапывать ребятам и, что совершенно невыносимо вспоминать, – девчатам; при этом они меня еще и пытались успокоить. Вряд ли я когда-нибудь еще испытывал такой стыд и вряд ли когда-нибудь еще так сильно страдало мое самолюбие!

Казалось, этим мучениям не будет конца. Я знал только, что цель нашего паломничества – озеро Светлое, но как долго туда идти, не имел ни малейшего представления. Между тем начинал брезжить поздний зимний рассвет, а это значит, что мы шли уже более шести часов. Шесть с лишним часов невыносимых мучений, больше моральных, нежели физических. И, скажите на милость, ради чего все это?! Лежал бы сейчас в теплой постели и смотрел радужные сны! И уже ничего нельзя изменить: не повернешь ведь обратно. Единственной светлой и утешительной мыслью было озеро Светлое, которое, как мираж в пустыне, мерцало где-то на задворках помутненного сознания и которое сулило избавление от мук. Вдруг впереди, в трех шагах, возникла избушка. Мелькнула мысль: а где же озеро? И следом другая: на кой тебе озеро, ты что купаться собрался или рыбу ловить? Вот тебе избушка на курьих ножках, чего тебе еще нужно! И пусть она пока еще продрогшая, нетопленая, но уже весело стучат топоры в лесу, в избе зажигаются свечи, по стенам бродят фантастические тени, вынимаются продукты из рюкзаков, а это значит, что скоро будет не только тепло, но и сытно, что пришло избавление и что не все так уж плохо в этой жизни.

И действительно, после первой же кружки выпитого вина жизнь представилась не только "не так уж и плоха", жизнь оказалась ну просто восхитительна, такая, которой раньше никогда и не было. Какое счастье видеть за грубым деревянным столом, уставленным мисками с необыкновенно вкусным, густым – ложку не провернуть – супом и кружками с не менее вкусными и греющими душу напитками, в мерцающем огне свечей, под аккомпанемент весело потрески-

вающих дров в печи, такие родные, улыбающиеся, симпатичные лица ребят и девчат. А когда Виталий Баулин ударил по струнам, и полилась в унисон с душевными струнами звучащая песня, счастье вообще перехлестнуло через край. Одно за другим следуют теплые, приправленные добрым юмором, поздравления девчат с весенним праздником в словесной и в песенной форме. Кругом на десятки километров глухая тайга, а мы сидим в теплой избушке за праздничным столом, пьем вино, курим сигареты, и песни будто сами собой непроизвольно льются изнутри. Куда девались уныние, трудности многокилометрового перехода. А может быть, они и нужны были для того, чтобы острее почувствовать счастье, неповторимую романтику и величие момента?

Утро встретило нас поистине сказочной картиной: величественным лесом, сияющим уже по-весеннему солнцем и ослепительно белыми снегами.

Чародейкою Зимою
Околдован лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
(Ф. Тютчев)

А где же обещанное озеро? Как где, не видишь: вон тропинка к нему протоптана. Бегу по тропинке, которая через несколько десятков метров приводит меня к большой снежной поляне. Если бы не прорубленная в полуметровой толще льда прорубь и не вытоптанная вокруг нее площадка, то никто бы не догадался, что большая снежная поляна – и есть озеро Светлое. А вокруг озера сверкают яркой зеленью отдельно друг от друга стоящие пушистые молодые сосенки, как будто только что выскочившие из леса полюбоваться искрящимся, волшебным озером. После завтрака и кое-каких дел по хозяйству мы отправились на озеро всей честной компанией. Солнце разгулялось не на шутку, так что кое-кто из мужиков не удержался и полез в прорубь совершать ритуальное омовение. Остальные представители бородатой половины человечества довольствовались тем, что приняли первый весенний загар, правда, только до пояса сверху.

Наслаждаться такой жизнью, переполняющей через край всё твоё существо, среди дикой, сказочной красоты природы отпущено нам было совсем немного. Вряд ли нужно говорить, как печально было расставаться с лесом, озером, избушкой. На исходе третьего дня мы двинули обратно на ночной поезд "Йошкар-Ола – Казань". Все отразилось, как в зеркале. Очевидно, мы зарядились на лесном озере какой-то волшебной энергией, потому что обратный путь оказался легким и незаметным. Перед мысленным взором непрестанно вращался калейдоскоп из лесных пейзажей, картинок лесного быта, горящих свечей и горящих глаз, в голове прокручивались и звучали строки из перепетых песен.

После похода Баулин сказал мне: "Считай, что я передал тебе эстафету. Собирай под своим флагом новобранцев и – в добрый путь. А мне осталось сыграть свою собственную свадьбу и... – на родину, в Улан-Удэ, в Улан-Удэ". С этими словами он вручил мне пригласительный билет на свадьбу.

Когда эмоции, вызванные первым походом, улеглись и душа успокоилась, я попытался проникнуть в тайну феномена под названием, скажем, "Назад к истокам, вперед к природе!" (прозвучало как девиз). Понять источник и силу его власти над существом с гордым именем "homo sapiens". С одной стороны, будто бы все просто: человек – часть природы и *должен* жить с ней в полной гармонии как одно целое. *Должен, но ведь – не живет!* Волк живет, а человек – не живет, не хочет. Подавай ему кучу обременяющих излишеств: карьеру, власть, деньги, комфорт, массу ненужных вещей. Мне тут же возразят: у волка нет выбора, а у человека есть *свободный* выбор – таким сотворил его Бог. Так что, значит, Бог виноват, и действительно: горе – от ума, и не нужно было лепить тварь по Образу и Подобию, ставить на две

ноги и давать *свободную волю*, ибо, парадокс, именно *свободная воля* сделала её (тварь) *несвободной*? Да, именно так, ответит мне оппонент: дав волю, нужно было лишить Своё творение искушений и предметов этих искушений – соблазнов. Позвольте, тогда бы мы были марионетками, а какая уж тут *свобода*, когда тебя дергают за веревки. Вот и получился замкнутый круг. Нет, подвергать сомнению Провиденциальную политику Господа и Его Промысел – последнее дело. Не лучше ли обратить свой притязательный взор на тварь Божию, то есть на себя – любимого и непогрешимого. И посмотреть внимательно и вдумчиво на мир Божий вокруг тебя, на его обитателей, и в первую очередь – на людей светлых и красивых, достойных называться тварями Божьими. В конце концов, посмотреть на Самого Господа Иисуса Христа и на Его святых, прочитать в Евангелии об искушениях Господа в пустыне...

Видит Бог, не хотел я пускаться в проповеди – не мое это дело, ибо недостойн, и дидактика – не мой стиль, ибо бесполезно. Но так получилось, как говорят, занесло, и менять ничего не буду. Ну так вот: потянуло нас в леса. Какая сила и зачем? Ни комфорта, ни уюта, а часто это сопряжено с трудностями и опасностями. Исчерпывающий ответ дать не могу, могу предложить некоторые, не лишённые банальности догадки, так сказать, на интуитивном уровне. Сказать, что это была мода, поветрие, характерное именно для шестидесятых годов, – значит, ничего не сказать и не прояснить. Во-первых, оно (поветрие) не было повсеместным и всеохватным. Во-вторых, не в моде дело. А дело в том, что идеалы, к которым вольно или невольно стремится молодая, ещё не заваленная мусором душа, не сходятся с тем, что происходит в официальной жизни. Мы не могли не заметить, что пропагандистскими средствами декларируется одно, а на деле происходит другое, что созидательная энергия молодых направляется в прокрустово ложе, что одной рукой нас призывают летать, а другой – подрезают крылья. Вот и потянулась молодежь к природе, к её первозданной красоте и чистоте, где нет двойной морали, нет лицемерия и вранья, где, прикоснувшись к природе, заряжаешься от неё всем позитивным, где, преодолевая даже бытовые трудности и неудобства, узнаешь цену настоящей дружбе, а в опасных ситуациях – тем паче. И альтернативная официозу самодеятельная песня возникла по той же причине, как пассивный протест. В то благословенное время такие слова как "карьеризм", – "мещанство" и такие явления как "вещизм", – "накопительство" звучали как ругательства, как приговор. Жить в общежитии, в одной комнате большой семьёй считалось за благо. Душа тянулась к душе, жаждала общения, откровений, погружений в бездонные и необъятные миры. А что такое человеческая душа – это и есть уникальный, неповторимый, бездонный и необъятный мир. А сейчас студенты жить в общежитиях не хотят, снимают квартиры и, как старики или философы, желают пребывать в одиночестве. Но при этом – в комфорте, а не в бочке, как Диоген. И мыслей новых не рожают, а тем более откровений. Как злободневны нынче чаяния и отчаяние Федора Тютчева в стихотворении "Наш век":

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней *не просит*.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
"Впусти меня! – Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.."

Не откладывая в долгий ящик, я начал набирать добровольцев на своем курсе и в первую очередь в своей родной группе. При этом я, как бывалый турист, не жалея красок, расписывал

все прелести туристской жизни, все чувства, эмоции и восторги, испытанные мною лично. За исключением, разумеется, негативных, которые, кстати, сразу забылись, будто их и не было. Желаящих вкусить неизведанных плодов неизвестного древа оказалось больше, чем достаточно. А сколько достаточно, я и сам не знал и записал всех желающих, коих насчиталось душ двадцать пять, никак не меньше. Можете себе представить, что значит создать отряд новобранцев, которые еще ни разу не нюхали пороху? И что значит командовать таким отрядом, когда командир сам только раз был в походе и, кроме пороссячего восторга, ничего не испытал и мало что смог понять в искусстве настоящей брани. С какой радостью и с каким чувством облегчения сбросил бы я с себя это бремя, ибо всегда легче подчиняться, чем командовать. Но коли взялся за гуж... Уж коль решил груздем назваться, то нет тебе альтернативы, как вмиг в корзине оказаться и съеденным быть в перспективе.

На первых порах нужно было проследить, чтобы все приобрели (на худой конец, одолжили у кого-нибудь на первое время) самые насущные, минимально необходимые в походе личные вещи: рюкзак, обувь, одежду, посуду. Хорошо, что мы успели побывать в колхозе и запастись телогрейками, старыми куртками, сапогами, привезенными, как правило, из дому. Шерстяные одеяла брали в поход свои, общежитские. Из посуды, которую успели наворовать в столовой, годились только алюминиевые ложки; миски и кружки нужно было купить в магазине или одолжить у рачительных девчонок. Общественную посуду (котел, которым служило мусорное ведро, поварешка), другие вещи (топор, фонарь и пр. мелочи), необходимые в походе, а также калькуляцию (так мы называли список продуктов) и ежедневное меню на весь поход я взял пока на себя. В дальнейшем этим должен был заниматься завхоз.

Иерархическую структуру и вообще модель управления отрядом мы, не мудрствуя лукаво, взяли у моего учителя Баулина, который, в свою очередь, позаимствовал её у воинского подразделения, придав ей иронический оттенок. Во главе отряда был "начальник", зам его по политической, то бишь питейной части – "пол-литрук", зам по хозяйственной части – "завхоз". Бессменным и быстро набравшим необходимые для этой должности опыт и закалку пол-литруком стал Валера Филатов. Кто был первым завхозом не помню, не помню также кто был вторым, третьим и т. д. Эта должность, что называется, выпала в осадок, так как обязанности завхоза мы с Валерой прибрали к своим рукам. Она была заменена на должность штатного фотографа, которую добровольно и профессионально исполнял пятикурсник Саша Жевнов. Он перешел к нам из Баулинской группы.

Наш первый поход был приурочен к Первомайским праздникам. Никаких пышных проводов в общаге мы не устраивали, но на вокзал шли в походном порядке с бодрими песнями. Путь наш лежал на то же самое озеро Светлое. Я заранее запасся довольно подробной километровой картой Марийской тайги и компасом и изучил маршрут. На карте все было просто, а на местности, в лесу, да еще в темноте ориентироваться было архисложно. Представьте себе: человек, выросший в казахских степях, едва увидевший лес, не обладая абсолютно никакими навыками ориентирования в лесу и хождения по карте, взялся вести группу по многокилометровому маршруту.

Довольно быстро я понял, что мы сбились с дороги (если вообще на ней находились?), но вида не подавал. Как ни в чем не бывало я останавливался на каждом перекрестке дорог и у каждого квартального столба, доставал карту и компас и пытался привязаться к местности – я все еще надеялся на некое чудо. Уже давно вошло солнце, уже перевалило через полдень, а мы все шли и шли, и дороге не было конца. Погода была прекрасная, весело светило солнце, природа просыпалась от зимней спячки, радостно и беззаботно щебетали птички. Настроение у ребят сначала было приподнятое, мы бойко шли по лесу, перекидываясь шутками, останавливались, фотографировались (помню фотографию, на которой одни стояли на наклонном бревне, другие, как атланты, подпирали его снизу).

Но постепенно ребята начали сникать: кто-то натер ногу, кто-то просто устал с непривычки. Стал раздаваться ропот: где же это проклятое озеро, когда же кончится эта бесконечная дорога и т. д. Я, как мог, успокаивал, увещевал ребят, но все было напрасно. Уже были распотрошены рюкзаки, вынуты продукты, которые можно было уплетать всухомятку, а на озеро не было даже намека: ни тебе ручейка, ни тебе самой захудалой лужицы с талой водой, откуда можно было хотя бы губы смочить. Послышались угрозы в полусутоливой, полусерьезной форме: меня собирались повесить на первом суку, изжарить на костре и съесть и т. д. и т. п. Я как мог отбивался: "Дайте мне вывести вас на чистые, светлые воды Светлого озера, а потом делайте что хотите".

И вот уже в довольно-таки густых сумерках мы наткнулись на какое-то то ли болотце, то ли озерцо, густо заросшее высокой травой. Я торжественно объявил: "Вот вам и озеро Светлое! А вы роптали и сомневались! Эх, вы, Фомы неверующие!" Разожгли костер, поставили палатки, я сам, разувшись и отважно продравшись сквозь траву и трясину, зачерпнул воды, и жизнь снова заклокотала в нас и вокруг нас. И был обалденно вкусный ужин (он же завтрак и обед), и были бесконечные песни у костра под гитару, и все были бесконечно счастливы. А изнурительную дорогу длиною в 15 часов вспоминали с юмором и шутками. Правда, в дальнейшем от отряда в 25 человек осталось не больше пяти, но этот состав сохранился практически до конца учебы, кроме того, он пополнился новыми, более стойкими и надежными кадрами.

Не помню, каким образом мы с Витей Ермаковым узнали о существовании авиаспортклуба в нашем родном институте и не помню даже, каким образом мы стали членами этого клуба, но помню, что конца сессии и выезда на аэродром Балтаси ждали с нетерпением. И вот этот счастливый день настал. Да, представьте себе, в КАИ был собственный авиаспортклуб и собственный аэродром недалеко от поселка Балтаси и в ста километрах от Казани. Организатором и душой этого клуба был выпускник нашего института Михаил Петрович Симонов, в то время главный конструктор КБ СА (конструкторское бюро спортивной авиации), а в будущем – Генеральный конструктор знаменитого, легендарного КБ Сухого. Вот небольшая историческая справка, как я ее представляю по отдельным обрывочным сведениям. Симонов сначала, еще будучи студентом, создал студенческое конструкторское бюро, в котором разрабатывались легкомоторные самолеты и планеры. Потом это СКБ преобразовалось в упомянутое уже КБ СА, и к тому времени, когда мы вступили в клуб, КБ СА имело: а) собственный аэродром; б) авиапарк из шести или семи буксировщиков ЯК-12; в) приблизительно столько же спортивных планеров-парителей "Бланик" чешского производства; г) остальные планеры – разработки Симоновского КБ: несколько учебно-тренировочных КАИ-12 и, гордость нашего клуба, – КАИ-17 и КАИ-19, на которых можно было и парить, и выполнять фигуры высшего пилотажа; на них было установлено несколько мировых рекордов высоты и дальности полета; д) автопарк, включающий бензозаправщик, грузовик для хозяйственных нужд и внедорожник ГАЗ-62; е) Школу юных космонавтов. Кроме того, на аэродроме был одноместный планер КАИ-11, который выполнял "подлеты", т. е. взлетал с лебедки, отцеплялся и пролетал прямо по курсу в пределах летного поля несколько десятков метров.

Иерархическая структура предельно проста: начлет (начальник летной части) – Симонов Михаил Петрович; зам Симонова по летной части Борис Керопян (а по существу, – начлет, мы его так и звали и воспринимали, т. к. Симонов днем был занят в КБ и приезжал на аэродром только к костру и вечернему чаю попеть песни и отвести душу, и то не всегда); летчики-буксировщики; летчики-инструкторы; водители; спортсмены-планеристы; мы, начинающие планеристы, носившие гордое звание "курсант" (кроме нас с Виктором, свежее испеченным курсантом был Валера Дарьин с двигательного факультета); аэродромный врач – студентка 5-го курса Казанского мединститута Алла и знаменитые летчики-испытатели, мастера спорта Пронин и Шайманов.

Не знаю, где, как и когда Михал Петрович научился летать и умудрился стать первоклассным летчиком, но он одинаково искусно пилотировал любой летательный аппарат нашего авиационного парка. В то легендарное время, а тем паче на заре отечественного авиа- и ракетостроения в порядке вещей было, что ведущие авиаконструкторы не только умели летать, но часто сами испытывали свои аппараты. Летаящими были не только конструкторы. Некоторые наши институтские профессора, такие как Одинокоев Ю. Г., Воробьев Г. Н., прошли в свое время основательную летную подготовку.

Простите, что отвлекся, ибо душа моя тянется к Михал Петровичу Симонову, которого все без исключения любили не как выдающегося Авиатора, а как выдающегося Человека. Помню, как он первый раз появился на аэродроме. Высокий, широкоплечий, правильно и гармонично сложенный, с умным, приветливым лицом. Если вы спросите, какое человеческое качество было главное в нем, я не задумываясь отвечу: это редчайшая скромность, растворенная во всем его существе. Именно эта сокровенная скромность определяла то неповторимое обаяние, которое, как магнитом, притягивало и располагало к нему людей. Если бы мы не знали, *кто такой* Симонов и *что он* для клуба, аэродрома, для всех его обитателей, то мы об этом никогда б не догадались. С Михал Петровичем, с его насквозь интеллигентным обликом никак не вязалось ничто, хотя бы отдаленно напоминающее начальника, администратора. Глядя на него, вы видели мечтательного, с любопытством созерцающего все вокруг себя человека с былинкой во рту и с полевым цветком в руке. Вы каким-то шестым-седьмым-десятым чувством провидели в нем все то богатство, которое дала ему природа.

Ну скажите на милость, каким образом в человеке могут совмещаться такие несовместимые качества? Как мог этот, казалось бы, мягкий, застенчивый человек сделать то, что он сделал, создать то, что он создал? И ведь мы с вами знаем, чего стоит в нашей непрошибаемой, пропитанной завистью и карьеризмом бюрократической системе создать что-то новое, да еще и требующее такого огромного финансовоёмкого хозяйства. Но если хорошо подумать, то только такие, настоящие, бескорыстные, с могучим творческим потенциалом, сильные духом и чистые сердцем люди и способны на такие дела.

Михал Петрович и на аэродроме создал такую теплую, доверительную обстановку, что каждый работал, что называется, не за страх, а за совесть. Никакой казенщины, никаких начальнических замашек, дисциплинарных канонов и связанных с ними скованности и искусственности в отношениях и внутренней напряженности, – все спокойно и доброжелательно, но четко и деловито. А ведь все, что связано с летным делом, требует строжайшей дисциплины и субординации, не допускает ни малейшей расхлябанности и тем более разгильдяйства. Можно только удивляться, как в такой демократической атмосфере, где в воздухе витали юмор и улыбка, без обычных в таких структурах отношений "начальник – подчиненный" обеспечивались высокое качество и безопасность полетов. Я никогда не видел, чтобы кто-то что-то кому-то докладывал, чтобы кто-то кого-то отчитывал. Утром короткое построение, выдача заданий, медосмотр и – по машинам. В конце полетного дня – разбор полетов, по-деловому высказанные замечания, и, довольные рабочим днем, все расходились в ожидании не менее приятного вечера. Когда приезжал начлет Симонов, обстановка не только не делалась скованной и напряженной, но, напротив, становилась теплой и радостной. Сколько незабываемых вечеров провели мы у костра, сколько спели душевных песен, как перекликались наши души.

Нас троих прикрепили к летчикам-инструкторам (мой – Юра Логинов) и к двухместным учебно-тренировочным планерам КАИ-12 (другое название "Приморец" он получил в Коктебеле на всесоюзном планерном соревновании, где зарекомендовал себя как простой в управлении и архинадежный планер-паритель), и мы начали работать. Сначала изучили матчасть (материальную часть – устройство планера), потом прошли наземную подготовку (т. е. научились "летать на земле" – имитировать полет). И вот – первый ознакомительный полет в "зону" на высоте 800 – 900м, где Юра принудительно свалил планер в штопор (аварийная фигура

высшего пилотажа) и показал, как выходить из него, – полный восторг! Затем начались тренировочные полеты по кругу, (точнее – по "коробочке", т. е. по замкнутому прямоугольнику). Как говорили во все времена, хочешь стать летчиком, отработай "взлет-посадку". Как ни странно, самым трудным был не собственно полет на планере и даже не посадка – очень ответственный элемент, – а взлет и полет на буксире за самолетом ЯК-12. Самый трудный, но и самый интересный отрезок полета.

Необходимо пояснить некоторые особенности летательного аппарата под названием планер-паритель. Взлететь самостоятельно он не может, т. к. у него нет двигателя. Поэтому чтобы подняться в воздух хотя бы на какую-то минимальную высоту, ему нужен самолет-буксировщик. Обычно буксировщик поднимает спортсменов-планеристов на 800 – 900 м. Затем они отцепляются от маячащего впереди и мешающего обозревать небесные красоты, да еще и назойливо рокочущего самолета и начинают благоухать, то бишь блаженствовать. Но чтобы продлить это блаженное состояние, им нужно позаботиться о наборе высоты (запасться высотой), ибо планер хоть и может парить, как птица, но, в отличие от неё, не может махать крыльями для набора высоты, а вынужден искать восходящие воздушные потоки. Поэтому после отцепки планеристы не спеша осматриваются вокруг, примечают белое кучевое облако с темной подошвой и направляют свой чудо-аппарат прямо под это спасительное облако, под его темное основание. Затем, нащупав восходящий поток под облаком и определив по прибору его силу, закладывают вираж и, вращаясь по спирали, начинают набирать высоту. "Заправившись" высотой, как топливом, уходят по заданному маршруту. Выполнив маршрут, возвращаются в родные пенаты, т. е. на свой аэродром.

Планер, в отличие от самолета, имеет не три, а две точки опоры, но если у самолета этими тремя точками являются колеса, то у планера – одно колесо и костыль (типа рычага) в задней части фюзеляжа. Поэтому третьей точкой опоры на аэродроме служит крыло (на стационарной стоянке планер надежно привязывается в трех точках: две под обеими половинами крыла и одна на хвосте, иначе унесет ветер), и планер находится в наклонном состоянии, а перед взлетом кто-то должен поддержать аппарат в горизонтальном положении до тех пор, пока поезд из буксировщика и висящего за ним на веревке планера не тронется с места. А дальше пилот-планерист берет управление судном в свои тонкие, суперчувствительные руки и начинается кайф.

Здесь скажем еще об одной особенности планера: о его более высоком по сравнению с самолетом качестве крыла. Поэтому планер взлетает гораздо раньше самолета, практически сразу после начала разбега, и планерист должен урезонивать своего не в меру резвого коня, т. е. удерживать планер на небольшой высоте, чтобы он, взмыв, не опрокинул буксирующий его самолет. И вот это – самый эффектный, захватывающий отрезок взлета, когда ты идешь на бреющем полете на все увеличивающейся скорости и ручкой управления прижимаешь планер к земле до тех пор, пока буксировщик не оторвется от земли. А дальше, пока самолет набирает высоту и набирает скорость, идет ювелирная работа по управлению планером, когда нужно удерживать аппарат в строго определенном относительно буксировщика положении, не допуская ни малейшего провисания буксировочного троса. Это архисложно, но и не менее интересно. На высоте 300 м по сигналу буксировщика (покачивание крылом) курсант производит отцепку и, выполнив полный круг, т. е. построив "коробочку", заходит на посадку. И вот, чтобы заслужить право вылететь самостоятельно и тем самым превратиться из курсантов в спортсменов, нам и предстояло отработать с инструктором до автоматизма все названные элементы. Затем контрольный полет с начлетом Борей Керопяном, первый самостоятельный полет, и ты – спортсмен-планерист. Но для этого нужно было пуд соли съесть.

А пока мы предавались всем прелестям аэродромной жизни. Первую половину дня летали, а другую половину и выходные посвящали не менее приятному досугу. Один день в неделю был предназначен для обслуживания матчасти, т. к. специальный технический персонал для этого предусмотрен не был. Любишь кататься – люби и саночки возить.

Досуг наш был настолько разнообразен, интересен и даже криминален, что об этом надо рассказать отдельно. Я уже говорил, что по вечерам мы часто пели песни у костра, и по умолчанию ни у кого не возникало вопроса, где? Всем было ясно, что на аэродроме. Совершенно верно, но только отчасти. Ибо чаще всего песенные костры мы разжигали в Школе юных космонавтов. Ничего себе загнул, скажете вы, школа, да еще и космонавтов! Что еще за школа такая, подпольная?! Не достаточно ли для экзотики, и чтобы поразить воображение обывателя, аэродрома с самолетами и планерами? Вижу, что заинтриговал вас не на шутку. Ладно, удовлетворю ваше любопытство, самому не терпится поскорее раскрыть интригу.

Видите ли в чем дело: для нормальных людей – интрига и даже перебор: Аэродром плюс Школа. Так это для нормальных, но не для Симонова. Я, выросший в здоровом в нравственном отношении селе, признаться, и понятия не имел, что практически в каждом населенном пункте существует определенная категория детей и подростков, отбившихся от рук родителей (а есть и сироты, и бездомные) и прибранных другими, более "заботливыми" руками всяческого уголовного элемента, и уже состоящих на учете в милиции. Вот для таких Михаил Петрович и организовал школу так называемых трудновоспитуемых и дал ей привлекательное название "Школа юных космонавтов". Ну скажите, для чего ему это было нужно, что, у него забот мало?! Об этом вы подумаете на досуге, а пока о том, как мы жили бок о бок с обитателями этой школы.

Школа эта располагалась сразу за аэродромом в уютной, укрытой зеленью ложине – не сразу и обнаружишь, – и на первый взгляд представляла собой обычный пионерский лагерь, и по структуре, и по распорядку дня. Но в отличие от пионерлагеря, красных галстуков здесь никто не носил, ибо не было в этом лагере пионеров. Весь персонал от начальника Школы до воспитателей, поваров и obsługi был подобран из людей, не только интеллигентных и деликатных, но и умеющих жить и работать с мальчишками и девочками, ну о-очень трудно поддающимися воспитанию. А воспитание-то и состояло в том, что никто никого специально не воспитывал. Просто жили бок о бок взрослые и дети, обитатели Школы и обитатели Аэродрома. Вместе работали и вместе отдыхали. Утром ребята приходили на аэродром, в меру сил помогали на старте. Часто их брали в полет спортсмены-планеристы (в "Бланике" – два места). После полетов мы все шли на обед в их Школу. Столовая была устроена прямо на свежем воздухе под брезентовым навесом за длинными деревянными столами. Потом все расходились по своим делам до вечера, а вечером снова собирались за хлебосольным школьным столом. А после ужина – всеми ожидаемый костер, где с равным успехом звучали наши студенческие песни и блатные песни юных космонавтов, особенно двух Мишек.

Вспоминаю о них со слезами умиления и какого-то ранее не испытанного счастья. Два Мишки, два закадычных друга, два неразлучных брата. Приблизительно одного возраста, от силы два-три года разницы, скажем, 12 и 14. Но один – высокий и физически сильный, прямой и незамысловатый, эдакий увалень и тугодум. А другой маленький, шустрый, с некоторой хитрецей и очень умным, красивым и, я бы даже сказал, тонким лицом. Их так и звали: Мишка Большой и Мишка Маленький. Они не были обременены никакими правилами и условиями, вели себя просто и естественно, свободно и независимо и были преданы друг другу беззаветно. Мишка Большой, с виду грубый и неотесанный, обнаруживал к Мишке Маленькому столько любви и нежности, что оберегал его, как малое дитя, и готов был за него глотку перегрызть, о чем так прямо и предупреждал. Мишка Маленький весьма прилично играл на гитаре и знал кучу блатных песен, многие из которых я перенял от него. Одна настолько мила моему сердцу, что я ношу её в этом чувствительном органе вот уже несколько десятков лет: "Подарил мне дедушка рубашку, сорок лет которую носил. В этой рубашке завелись букашки, старик убивал же всех ногтем..."

Мы быстро и крепко подружились, испытывали потребность друг в друге и были неразлучны; впрочем, мне иногда казалось, что Мишка Большой ревнует ко мне Мишку Малень-

кого: треугольник незыблем и устойчив только как геометрическая фигура, а в человеческих отношениях, особенно когда дело касается душевных привязанностей, нет ничего драматичнее и опаснее триумвирата. А как загорались у них глаза при виде самолетов и планеров, и как были они захвачены аэродромной жизнью! Когда отправлялись в полет с кем-то из спортсменов-планеристов, были серьезны и сосредоточены, как будто отправлялись на выполнение боевого задания и только от них зависела судьба оставшихся на аэродроме. А возвращались тихие и торжественные, будто побывавшие в других мирах и боявшиеся расплескать приобретенные там драгоценные впечатления. Никто даже не пытался нарушить это их сомнамбулическое состояние. Расставались мы в конце полетного сезона, без преувеличения, со слезами. Я хотел бы добавить, что это было первое, теплое дыхание неведомого мне уголовного мира, со своим языком, повадками и манерой поведения. С настоящими уголовниками мне предстояло еще встретиться, что называется, лицом к лицу.

Как видите, жили мы на аэродроме большой дружной семьей в атмосфере дружбы, любви и постоянной взбудораженности чувств. Не обошлось и без легкой влюбленности. Вероятно, я бы не осмелился обнаружить свои чувства к Алле, если бы не заметил с ее стороны расположения ко мне. Всегда психологически трудно вступить в близкие отношения с должностным лицом, от которого ты находишься в некоторой зависимости. Алла была врачом в Школе и на аэродроме, и я, проходя каждое утро медосмотр, от которого зависело, летать мне сегодня или "загорать" на старте, невольно испытывал некоторый трепет. Как бы там ни было, сближение состоялось, а вместе с ним и калейдоскоп чувств, это сближение сопровождающий. Слава Богу, что мы не перешли ту необратимую грань, ту точку невозврата, когда невозможно ощущать себя человеком, не предприняв единственного в подобном случае действия.

Кто-то сказал мне, что в Аллу не на шутку влюблен наш аэродромный водитель Женя А. Женя был скромный, немногословный, очень деликатный человек, не способный "выяснять отношения". Мы симпатизировали друг другу, но он и намеком не дал мне понять, что у них с Аллой не "флер" и не "флирт", а нечто более серьезное. Я вообще старался никому не переходить дорогу в таких случаях, тем более товарищу по аэродромному братству (я даже не знал, что Женя как раз в это время "вводился" как летчик-буксировщик, – настолько он был скромным), и не задумываясь отступил с занятых позиций. Ближайшей зимой Женя с Аллой сыграли свадьбу, и это было правильно, потому что Женя был настоящий человек и рыцарь без страха и упрека. И я там был, мед-пиво пил...

Скажите-ка мне, какой творческий коллектив, к тому же романтически настроенный, может обойтись без авантюристических предприятий, без криминальных деяний. А мы, кроме всего прочего, были молоды и были заряжены колоссальной энергией (наша жизнь протекала на таком подъеме, на такой высоте, что энергия не растрачивалась, а, наоборот, накапливалась), которую нужно было куда-то девать. Но если вы подумаете, что мы пустили это дело на самотек и предоставили каждому аккумулятору разряжаться по собственному усмотрению, то будете глубоко неправы. Мы же не анархисты, где бал правят анархия и произвол, а серьезная организация, где царствуют дисциплина и порядок. Короче, мы учредили две бригады: бригаду охотников, где бригадиром был назначен начлет Борис Керопян, и бригаду сборщиков яблок, бригадиром которой назначили меня, поскольку яблоневого сада я в своих казахских степях и в глаза не видал, в порядке знакомства, так сказать. Вы спросите, ну и что ж тут авантюристического и тем более криминального? А дело в том, что бригады-то были не простые. Бригаде охотников было предписано охотиться не на диких гусей, а на домашних, а вторая бригада должна была не собирать яблоки по комсомольской путевке или по колхозной разнарядке, а воровать их в колхозном саду под глубоким покровом ночи, той самой поры, когда и провоцируются подобные деликатные дела. Некоторым оправданием наших деяний служило то, что гусей в оврагах и в пойме местной реки бродило видимо-невидимо, сосчитать которых не было никакой возможности, да никто этим и не занимался, т. к. гуси, как правило, уходили из

дому в начале лета, а возвращались поздней осенью, так что на это время вполне становились дикими. Это я знаю еще по своему незабвенному детству. А яблоки в колхозах, как правило, не успевали убирать: других, более важных дел невпроворот.

Первая бригада отстрелялась быстро, откровенно (среди бела дня) и весьма успешно. Так что на ужин мы уплетали за обе щеки запеченного фирменно, особым древним способом в глине, крупного, упитанного гуся, с которого корка обожженной глины отваливалась вместе с перьями, как скорлупа с грецкого ореха. На следующий день, а точнее, ночь настала наша очередь отличиться и доставить к обеду десерт. Темной, глаз выколи, безлунной ночью мы отправились на промысел. Путь наш лежал через кладбище, сразу за которым начинался сад. Расчет наш был прост и дерзок. Сад не случайно примыкал к кладбищу. Какой нормальный, к тому же суеверный человек дерзнет нарушить покой усопших и пойдет грабить через юдоль упокоенных, где мертвые с косами стоят?.. Сначала дела шли неплохо, мы привыкли кое-как к темноте и на ощупь набили висающие на пузе рюкзаки. Я стал звать ребят. В частности тихо, как мне казалось, окликнул Витю Ермакова: "Витя, ты набрал?" Витя, подходя ко мне вплотную, ответил: "Набрал, конечно", – и схватил меня за рюкзак мертвой хваткой. Мне ничего не стоило сбросить рюкзак с яблоками и пуститься наутек. Но молнией пронеслось в башке, что в переднем клапане рюкзака спокойно, на своем обычном месте лежит мой паспорт. И я покорно, без всякого сопротивления поплелся за самозванным "виктором".

Дальше была сплошная стыдуха. В правление колхоза, где я сидел под "арестом", приехал на "газике" Боря Керопян и, не говоря ни слова, "выкупил меня" у председателя колхоза за бутылку коньяка. Столько стоили тогда погромщики колхозных садов. Хоть какая-то прибыль колхозу от яблоневого сада. А начлет Боря Керопян еще и пытался меня утешить. Лучше б отmaterил: не за понюх табаку накрылась бутылка коньяку. Но в том-то и дело, что Боря не владел русским фольклором, а если и владел, то никогда не пользовался. Обладая тонким юмором и иронией и имея в арсенале множество шуток и не одну забавную историю, он был первоклассным легчиком и мастером спорта и многое умел: руководить, не руководя, быть настоящим другом и в любой момент прийти на помощь. А вот материться не умел или не хотел. Одно утешение, что его копилка пополнилась еще одной забавной историей, к тому же – криминальной.

Между тем жизнь наша на аэродроме продолжалась в том же ключе. Мы, курсанты, уже довольно уверенно летали с инструктором, отработали взлет-посадку, научились летать на буксире и были готовы к контрольному полету с Борей Керопяном. Но буквально накануне прошел слух, что экзаменовывать нас будет сам Симонов. Хорошо помню, как мандражировал перед ответственным полетом: одно дело петь песни у костра и совсем другое "блеснуть мастерством". Михал Петрович подошел ко мне и скромно, с обычной своей застенчивой улыбкой спросил: "Возьмешь пассажиром?" И мандраж как рукой сняло: "Так тому и быть: надевайте парашют и – на место второго пилота!" Привычно, заученно взлетели, набрали высоту, а после того, как отцепились и можно было расслабиться, Михал Петрович сказал: "Ну что, споем?" И мы запели дуэтом одну из *наших* песен: "Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, да и сам я не святой: я сам ее толкал на поворот, я сам толкал ее на поворот..." (Ю. Визбор). Да и то сказать, отчего бы и не спеть, когда поет душа, а за бортом тихо и задумчиво шуршит по обшивке фюзеляжа неугомонный ветер...

Вот и подошел к концу летный сезон. Как жалко и невыносимо грустно было расставаться с аэродромом, со Школой, с ребятами, с теми, с кем сросся всеми своими потрохами, всеми фибрами души. Это был мой "Город Солнца", пронизанный каким-то радостным, волшебным светом, пропитанный любовью, дружбой, братством. Такого светлого пятна, такого способа существования, такого образа жизни, как в те далекие, неизвестно куда и зачем унесшиеся времена моей туманной юности, где было абсолютно все, что необходимо человеку для полного счастья: любимое дело и верные друзья, – не было больше, пожалуй, на моей жизненной дороге.

До начала занятий оставались считанные дни, но я не мог не полететь в родные пенаты на благоприобретенных крыльях. Уж слишком тяжел и обременителен был груз чувств и впечатлений, накопленных мною в это полное чудес лето. Но все эти чувства и впечатления, переполнявшие все мое существо и не оставлявшие, казалось, ни единой клеточки для других чувств, заслонило тем не менее одно событие, подкравшееся ко мне совершенно неожиданно, как бы исподтишка, и поэтому заставшее меня врасплох.

...Я встретил Люсю С. – подругу своего детства, казалось, уже *пережитого* и поэтому забытого и канувшего в Лету. Ну и что здесь особенного: я встречался в этот свой приезд и с другими девчонками из их знаменитого класса. Я говорил в первых главах моего сочинения, что мы с самого раннего детства существовали в парном исполнении "жених – невеста". В таких устойчивых парных сочетаниях мы варились в одном котле и, следовательно, знали друг о друге все. Напомню, что Люся С. была "невестой" моего друга и одноклассника Гриши С. Но не зря говорят, что неисповедимы пути Господни. Часто мы не знаем и не подозреваем даже, какие тайные нити связывают того и другого человека, какие невидимые, но тем не менее живые существа (скажем, флюиды) кочуют из одной души в другую, какие неведомые мыслеобразы, не обнаруживая себя, фланируют из одной головушки в другую (кажется, это называется подсознанием). И все эти мыслеобразы и флюиды никуда не деваются, они живут где-то глубоко на дне, в тайниках души и сознания, иной раз обнаруживая себя при каком-то совершенно случайном стечении обстоятельств, а чаще, сохраняя свое инкогнито.

Что случилось с нами (со мной и с Люсей) на этот раз, я не знаю и не могу объяснить? Думаю, что никто не смог бы. Ведь мы столько раз встречались уже после нашего детства. Я каждый раз с удовольствием посещал по приезду их дружную семью (Люсин отчим Иван Иванович к тому же был моим первым учителем), и ничто не шевелилось в наших душах. Стоп! Так уж и не шевелилось? А зачем тогда "каждый раз посещал", да еще и с "удовольствием?" Неужто только из-за Иван Иваныча? А вспомни, как в детстве ходил к ним якобы за художественными книжками и даже оконфузился. Что, не мог взять книжки в библиотеке? Признайся: из-за *неё* ведь ходил. Да еще в тайне от друга Гришки. *Она* предложила тебе тогда несколько книг на выбор, а относительно одной из них спросила: «Читал "Весна на Оudere?" Я только что прочла, мне очень понравилось». Тебе стыдно было, что *она* прочитала столько книг, а ты, невежда, безнадежно отстал от *неё* в развитии, и ты небрежно переспросил: "Весна на озере? Конечно, читал! Классная книжка!" *Ей* стало неловко за тебя, и *она* тихо поправила: "Не на озере, а на Оudere – река такая в Германии". Ты покраснел до корней волос и, разгоряченный, стал запальчиво отстаивать свои позиции: «Может быть, есть "Весна на Оudere", а я читал именно "Весну на озере!» И, чтобы не сочли вруном, стал даже расписывать, какая она, весна на озере... И тебя все несло и несло и неизвестно, куда бы занесло, если бы ты случайно не взглянул на *неё* и не увидел, что *она* стоит и молчит и с *жалостью* смотрит на тебя. И такое безысходное отчаяние, перемешанное с жгучим стыдом охватило тебя, что ты готов был провалиться в тартарары. И ты понял, что погиб для *неё* навсегда. Тебе на первых порах было стыдно не то что поглядеть *ей* в глаза, но даже пройти мимо, и ты долго обходил *её* стороной. Но время лечит, особенно в таком "невинном" возрасте, и вскоре ты смог посмотреть на *это* даже с юмором. Вот ведь как! А ты говоришь – *подсознание*... Нет дыма без огня!

Однако всё это – "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой". Всё, казалось, давно прошло и поросло трын-травой... И вот теперь что-то такое вдруг надвинулось тихо и незаметно, но цепко и настойчиво, прямо и бесповоротно, как будто накрыло нас непроницаемым, теплым покрывалом, из-под которого невозможно было выбраться, но самое главное, – не хотелось выбираться. Состояние, в котором мы неожиданно оказались, не имело ничего общего с внезапной влюбленностью и тем более с пресловутой любовью с первого взгляда (последней, понятно, и не могло быть), которые обычно налетают, как ураган, но часто и улетаются так же стремительно и безвозвратно. Мы как-то сразу будто опомнились, как будто любовь уже давно

жила в нас без нашего ведома и только ждала очной ставки и именно для того, чтобы обнаружить себя. Мы часами бродили, взявшись за руки, сентябрьскими, необычно холодными в тот год вечерами. Подолгу просиживали на каких-то, будто специально для нас приготовленных скамейках, кутаясь и зарываясь друг в друга без всякого вожделения и в то же время с какой-то неизъяснимой нежностью. Между нами не было никакой скованности, никакой искусственности, нам не нужны были слова, мы спокойно обходились даже без поцелуев, не говоря уже о других проявлениях страсти. У меня было такое счастливое ощущение, что я нашел то единственно важное и драгоценное, что должен был найти и что сознательно или бессознательно искал, и что никуда *это* теперь не денется, что теперь в моей жизни все ясно и определено.

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,

Молодеет душа.

И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,

Не дыша.

Снится – снова я мальчик, и снова любовник,

И овраг, и бурьян,

И в бурьяне – колючий шиповник,

И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листья, и колючие ветки, я знаю,

Старый дом глянет в сердце мое,

Глянет небо опять, розовея от краю до краю,

И окошко твоё.

Этот голос – он твой, и его непонятному звуку

Жизнь и горе отдам,

Хоть во сне, твою прежнюю милую руку

Прижимая к губам.

(А. Блок)

Вероятно, суждение это было ошибочным, а состояние эйфории, в котором я пребывал, – весьма неустойчивым. Впоследствии я заметил, что подобные состояния вообще были свойственны мне, и скорее всего, от природы. Это было у меня и с друзьями: я был уверен (лучше сказать, самоуверен), что они есть, всегда будут и никуда не денутся; мне вполне было достаточно того, что я их люблю, что они всегда со мной. Нечто подобное было и с Люсей. И это и было ошибкой. Не смею сказать – роковой, ибо опять-таки: пути Господни неисповедимы. С другой стороны, не нами сказано и испытано: "С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них..." (А. Кочетков). Но ведь есть примеры, иллюстрирующие и противоположное мнение, что разлука только укрепляет союз, – некий вариант тургеневской любви. Вот в него-то я и верил и его-то и исповедовал. А природа тут ни при чем. Как бы там ни было, пришел час разлуки, мне тогда казалось, – временной, тургеневской... Остается только вздохнуть с горькой иронией: "Какой родной пейзаж утрат внезапных, какой прекрасный свист из лет прошедших" (И. Бродский). Уже вовсе шли занятия, и, как бы мне этого ни хотелось, нужно было возвращаться в институт грызть гранит науки. Как будто кроме *серого* камня нечего больше грызть...

Глава 8. А судьи кто?

"Нет истины в вине.

А впрочем, нет и вне".

(И. Брейдо)

"А судьи кто?" – спросил я, чуть дыша.

"Да не бойсь: всё наши кореша".

События, описанные в этой главе, в какой-то степени были предопределены, как бы назревали. Хотя я и не фаталист. Внешне вроде всё было как обычно: шел пятый, осенний семестр, мы взяли перерыв из общеобразовательных предметов и вступили в много чего сулящую равнину из спецпредметов и их предтеч: сопромата, теории механизмов и машин (ТММ – "тут моя могила"), деталей машин. В моем же восприятии равниной были первых два курса, где мы в основном изучали математику и физику, где для меня били какие ни на есть родники, и я все же находил для себя отдушину.

Главной такой отдушиной для меня неожиданно стала философия. Я, вопреки стихийно сложившимся правилам, посетил лекцию, и мне стало интересно. Но особенно захватили меня семинары, где мы пускались в увлекательную дискуссию, как в свободное плавание. Такой гимнастики ума я не испытывал даже в математике, а в плане красоты построения философских систем философия превосходила даже литературу. Однажды, когда я гулял на свадьбе у кого-то из наших ребят, а наш преподаватель по семинарским занятиям на этой свадьбе дежурил (таков был порядок), мы с ним так увлеклись беседой на философские темы, что опомнились только тогда, когда свадьба кончилась и вся водка была выпита. Мы оба пожалели об этом, но не очень: кайф от философских упражнений был ничуть не меньше, чем от водки, к тому же не требовал опохмелки.

Своих лекций для подготовки к экзамену у меня не было, достать конспект тоже не удалось (для большинства "философия" была непреодолимым айсбергом, все боялись ее, как черт лаdana, и не отваживались расстаться с конспектами), так что я даже решил не ходить на экзамен. Потом все же пошел, как всегда, к концу. Увидев Мишу Одиноква и Люсю Хазову, уже сдавших на "отлично" и кого-то консультирующих, я решил взять их в оборот. Пробежав с ними буквально за полчаса в режиме мозгового штурма все вопросы (только самую соль, два-три слова по каждому вопросу), я пошел сдавать и получил "отлично".

Философия явилась мне в образе прекрасной и премудрой феи, с которой мне не страшны были никакие житейские передряги. Мне казалось, что с помощью такого мощного и красивого инструмента с его жестким детерминизмом и непогрешимой убедительностью его логических построений, каковым является диамат (диалектический материализм), я могу объяснить и обосновать всё и вся, что и делал при каждом удобном случае.

Но однажды я был наголову разбит, как швед под Полтавой, отшлѣпан, как нашкодивший ребенок; и даже не понял, как это произошло. Отгадайте, кто же были эти храбрые, но милостивые к падшим воины, эти строгие, но снисходительные наставники, эти скромные, но беспощадные ниспровергатели *основ*? Ими оказались два студента духовной семинарии, которые, как и я, ехали домой на каникулы в одном со мной вагоне. Тема была извечная и злободневная: что первично, материя или сознание, есть Бог или Его нет.

Гастроли сии происходили, как я упоминал, на втором, еще счастливом для меня курсе. А третий курс с его "Тут моя могила", – "Детальями машин", – "Металловедением", да еще и совершенно инородной "Электротехникой" (как тут не вспомнить истошный вопль патологически молчаливого и флегматически спокойного Валеры Краснова: "Не ходи! Там – ЭЛЕК-

ТРОТЕХНИКА!!!") представлялся мне вообще каким-то непролазным, безысходным болотом. Особенно возмущал меня предмет "Детали машин". Я просто негодовал: "Да что это такое?! Мы где находимся, в авиационном институте, куда пришли познавать "Аэродинамику", – "Динамику полета", – "Системы управления и регулирования", то есть все, связанное с самолетами, или в ПТУ "Механизатор широкого профиля", где изучают шестеренки и подшипники?!" При этом я и слышать не хотел, что и в самолете есть эти пресловутые шестеренки и подшипники. Какое мне до этого дело? Я это уже в школе проходил!

Эти возмущения, эти скачки уплотнения я и распространил на заседание учебной комиссии факультета, активным членом которой являлся. И это вам не хухры-мухры! Ведь нас предупредили, что сейчас в стране Оттепель, а это значит, что можно открыто, *без последствий* высказывать любые критические замечания, любые предложения, вплоть до замены некоторых предметов другими, удобоваримыми. И такой заманчивой возможностью я не преминул воспользоваться и предложил заменить "Детали машин" другим, *авиационным* предметом. А если честно, я не прочь был, как в народе говорят, махнуть не глядя "Детали машин", например, на "Основы русской словесности". Но почему-то не решился. Мое предложение не прошло, и большинством голосов "Детали машин" оставили, ибо обладатели этих голосов, не в пример мне, невежественному гуманитария, обожали шестеренки и подшипники. Я нисколько не обиделся, потому что уважал демократию.

Зато очень обиделся преподаватель этих самых "Деталей машин". Ему, очевидно, передали содержание нашего бурного заседания (а почему бы и нет, ведь заседание было открытым и – ни для кого не секрет, мог бы прийти и тоже активно поучаствовать), и он принял мое конструктивное предложение за личное оскорбление. Редко встретишь такое ревностное отношение к своему предмету. Но я даже не догадывался о душевных муках самоотверженного деталиста-машиниста, которому я невольно причинил такие трудно переносимые страдания. А ведь это был тихий, мухи не обидит, человек. И, может быть, даже сам обиженный богом.

Но как бы я ни относился к "Деталям машин", курсовой проект по этому предмету, не особенно утруждая себя соблазном постигнуть всю неумолимую логику и, как выяснилось годы спустя, красоту инженерных расчетов, но, как говорят урки, и не совсем уж "без понятия", я худо-бедно выполнил и защитил на "хорошо". Руководитель курсового проекта (слава богу, им оказался не упомянутый выше лектор, иначе судьба моя решилась бы уже при его защите) похвалил меня: "У вас – отличного качества чертежи (бальзам в уста и музыка в уши моего отца, ибо именно он научил меня чертить), и я с удовольствием поставил бы вам "отлично", если бы вы сдали в срок". Таково было незыблемое правило (после срока – не более "удовлетворительно") во всех вузах и во все времена, и оно имело под собой убедительные основания. Но я, патологический ниспровергатель основ, позже, когда сам стал преподавать "Детали машин" в Чувашском госуниверситете, похерил это правило.

Изобилие отмеченных выше чуждых мне предметов, безусловно необходимых и создающих основу для специальных, чисто авиационных дисциплин, привело меня к необходимости что-то кардинально изменить, найти что-то *свое*. Но я никак не мог определить, что оно такое, это *свое*, и с чем его едят. Поэтому малодушно продолжал плыть по воле волн: ведь мечтать всегда легче, приятнее, безопаснее и, главное, безответственнее, нежели предпринимать кои-то действия. К тому же, кроме занудных дисциплин, не слишком меня обременяющих и докучающих мне, т. к. на лекции я не ходил, были и другие проявления жизни, другие живительные её струи. И самой сильной такой струей была уже давно и крепко захватившая меня и моих друзей в плен бродячая туристская стихия.

Походная жизнь наша шла своим чередом по давно скоррелированному с советским законодательством расписанию, согласно которому наш немногочисленный, но закаленный в походах боевой отряд *каждые праздники* уходил в зовущие нас своей необъяснимой таинственностью и красой дремучие марийские леса. В нашем активе, кроме памятного первомайского на

озеро Светлое, были походы на День Победы в конце второго курса и три похода на теперешнем третьем: на Октябрьские праздники, на День Конституции и на Новый год. Из них больше всего запомнился поход 7 ноября на озеро Канандер – одно из самых красивых и чистых озер в марийской тайге. Марийские озера вообще славятся своей первозданной красотой и прозрачностью (8 – 9 м).

Опять мне блеснула, окована сном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.

.....

В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.

.....

И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной...

.....

Так Николай Заболоцкий в стихотворении "Лесное озеро" живописал точный портрет озера Канандер, как будто сам там побывал.

Мы катались по озеру на бревенчатом плоту, любуясь его подводным миром: белым песчаным дном, водорослями различных цветов и оттенков, фантастическими рыбами и рыбешками и вековым величественным хвойным лесом вокруг него. Фотографировали и фотографировались. Погода была на редкость чудесная для этого календарного времени: тихо и ласково светило солнышко, в незыблемой глади озера отражались опрокинутые в него сосны-исполины, природа как бы застыла в безмолвии. Быстро и незаметно наступил вечер, на небо высыпали звезды, взошла луна, и картина вокруг нас стала еще более таинственной и завораживающей. Мы сидели у костра на берегу волшебного лесного озера, среди первозданной девственной красоты, затерянные в глуши и притихшие, а наш знаменитый СТЭМовский тенор Юра Самойлов – высокий, стройный, в зимней папахе и с красной бабочкой на шее, сооруженной в честь праздника из лоскута красной материи, стоя за нашими спинами и вздернув голову к небесам, торжественно выводил: "Смотри, какое небо звездное, смотри звезда летит, летит звезда..." И все мы целиком были во власти этой чарующей музыки, этой магической природы и уносились вместе с Юрой в манящую звездную даль тремя рыжими рысаками... А потом, чтобы не потеряться в бесконечных звездных просторах, снижали пафос и завывали на луну: "Вот одинокая луна посеребрила неба просинь. Зачем на улице весна, когда в душе давно уж осень..." И бесконечна была эта тихая морозная ночь у костра, и, очарованная, слушала марийская тайга наши бесконечные песни, наши избыточные душеизлияния...

Палатки решили не ставить. Разгребли костровые угли, попрыгали на них и завалили лапником, расстелили палатки и устроились на ночлег, тесно прижавшись друг к другу и укрывшись общежитскими одеялами. Я лежал на краю и поэтому имел лишнюю степень свободы переворачиваться с одного бока на другой. Эволюции эти происходили довольно часто ввиду большого градиента температур между двумя моими боками: прижатым к раскаленному и источающему горячий пар, как в банной парилке, лапнику и обращенным к морозному звездному небу. Если бы к моим бокам подсоединить термопару и повесить на нее прожектор, то в нашем лагере было бы светло, как днем. Я ворочался, как червь на сковородке, и бубнил слова

из песни Бориса Вахнюка: "Я в походе, мне повезло, у костра я, ну чем не Сочи... Но с одной стороны – тепло, а с другой стороны, где-то возле спины, чуть пониже спины – не очень..." Вдобавок ко всему на моей правой щеке обманутый горячим лапниковым паром вырос фурункул величиной с египетскую пирамиду, – вероятно, подумал, что пришла весна. А вы говорите, что турпоходы – романтика и сплошной кайф.

Наутро египетскую пирамиду завалило снегом, а вместе с ней и весь живой мир вокруг. В этой связи вспоминается другой поход и в другом месте (кажется, на Илети), но так же – на 7 ноября и с такой же волшебной переменой красок: пестрых осенних на белые зимние. Правда, на этот раз сказочное превращение природы застало нас в палатке, и тонкие душевные струны Валеры Бокова тут же отозвались словами поэтической зарисовки: "Снег идет, снег идет – белый снег. Серебрит берега изумрудных рек. Мы сидим в палатке, и струна поет... Без конца, без конца белый снег идет..." – на мой слух, одной из лучших, лаконичных, ритмически – в такт падающему снегу – точных и эмоционально выверенных и достоверных.

И буквально несколько слов о походе на День Победы на втором курсе. Это был второй, после первомайского, наш поход. Тогда из 25-ти еще не все рассеялись. Памятен он тем, что к Миле Корепановой приехала из их родного Саратова школьная подруга. До сих пор осталось в памяти редкое, трогательное обаяние их дружбы. Помню, как они пели песню, которой я до того не слышал: "И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу..." И столько было в ней свежести, искренности, чистоты, комсомольского задора и очарования и с такой юношеской непосредственностью и воодушевлением они ее исполняли, что все мы, сидящие вокруг костра, испытали острое ностальгическое чувство. Хотелось немедленно вернуть то наивное, беспечное, но проникновенное и полное надежд школьное время. И вместе с тем было необычайно грустно, что оно никогда уже не вернется.

Однако пора вернуться к основным событиям настоящей главы и приступить к развязке главной интриги, эти события предвещающей и ставшей их движущей силой. Шел третий год затяжной, изнурительной, неравной битвы между студентами и преподавателями, приобретающей в течение семестра характер позиционной и обостряющейся, переходящей в активную, непримиримую свою фазу во время сессии. Я сдал уже все экзамены (готовился, как обычно, по ночам, когда освобождались чужие конспекты), и оставался один единственный по "Деталям машин". Как сейчас помню, попался мне вопрос по ременным передачам (второй вопрос – извиняюсь за тавтологию – не вызывал у меня никаких вопросов). Я списал его прямо из конспекта, откровенно лежащего на столе (шпаргалок никогда не писал и, следовательно, не пользовался ими), и срисовал рисунок, похожий на каракатицу (никогда не видел каракатицу, но уверен, что именно так она и должна выглядеть) и демонстрирующий картину напряженного состояния ремня, огибающего шкивы ременной передачи.

Преподаватель выслушал меня, почти не перебивая, посмотрел на "хорошо" за курсовой проект на правой странице моей зачетки и с тихой улыбкой на лице поставил мне "неуд" на её левой странице. Для меня сие его писание оказалось полной неожиданностью. Даже если бы я промолчал, как рыба об лед, и ни слова не сказал по билету, то, имея "хор" за курсач, мог рассчитывать, как *minimum*, на "удовл", – так нам обещали, и таково многовековое правило. Однако, из чрезмерного человеколюбия, я и виду не подал, чтобы не умножать тихую радость тихого человека: говорят, избыточные положительные эмоции опаснее умеренных отрицательных. А если без дураков, не в моих правилах выпрашивать милостыню у кого бы то ни было и тем более у неприятеля.

У меня было право на две переэкзаменовки. В это время в недрах моего сознания проснулось и беспокойно зашевелилось не оформившееся когда-то желание что-то кардинально в своей жизни изменить. Вместе с тем я, насколько мог честно, сказал себе: "Признайся, положи руку... ты ведь не постиг всю глубину инженерных расчетов. В чем же дело – постигай, тебе предоставляют такую возможность". Я постиг и пошел на переэкзаменовку, где и стал со зна-

нием дела излагать то, что постиг. Но мой визави вдобавок ко всем своим достоинствам был человеком честным и откровенным и, не желая искушать, остановил меня: "Ваше приснопамятное негативное высказывание в адрес предмета, который вы сейчас пыжиться сдать, не находит во мне возможности поставить вам "уд", и я не вижу, что такая возможность появится. Так что третий раз вам нет смысла приходить". Я мог бы предложить помощь незадачливому преподавателю, например: воспользоваться оптическими приборами, чтобы лучше видеть, или привлечь собаку-ищейку, чтобы тщательнее искать. Но вместо этого я поздравил его с досрочно одержанной убедительной победой и пообещал, что сложу оружие и продолжать поединок не буду.

Таким неожиданным, стремительным исходом я был прямо поставлен перед необходимостью что-то предпринимать. Я отправился в деканат мехмата университета и, узнав, что переводы в сей уважающий себя вуз из технических вузов не позволяет сделать большая разница в учебных планах, решил поступать на первый курс. Меня пытались выручить друзья. Например, ко мне в общежитие пришел Витя Мизгер, студент 5-го курса, спортсмен-планерист и мой однокашник по авиаспортклубу, первый секретарь институтского комитета ВЛКСМ, имевшего статус райкома комсомола, и сказал, что легко решит проблему с "деталью машин" в мою пользу. Но я от помощи отказался, ибо твердо решил поступать на мехмат университета.

Между тем пришло время деканату осуществить одну из своих карательных функций: отчислить студентов, не достойных продолжать учебу в доблестном Казанском авиационном институте. Основных причин две:

- 1) неуспеваемость и
- 2) недостойное поведение – понятие весьма растяжимое.

По остальным причинам (болезнь, как правило, мнимая, внезапная женитьба, рождение ребенка и пр.) оформлялся академический отпуск. Часто академку оформляли в случае неладов с учебой (невыполненный или незащищенный курсач, несданный экзамен и т. д.), важно вовремя добыть *необходимую справку*.

Что касается меня, то ситуация с моим отчислением осложнялась тем, что я был членом учебной комиссии факультета. Нонсенс: член учебной комиссии – двоечник! Как он туда затесался?! Ату его: заклеить и исключить из священных рядов! Священные ряды Членов комиссии сомкнулись со священными рядами работников деканата (не берусь утверждать, что к ним не примкнули священные ряды факультетского бюро комсомола), и начался занимательный спектакль. Один за другим выступали Члены комиссии (и мои сокурсники в их числе) и, вымучивая себя, копались в моем исподнем белье, силясь найти в нем блох, вшей и других опасных вредителей, угрожающих здоровому, кристально чистому коллективу. Сколько интересного узнал я о себе! Не зря говорят, что со стороны виднее. Я смотрел на этот водевиль и удивлялся: ну не соответствую высокому званию Члена, так проголосуйте и очистите свои стерильные ряды от инородного элемента. К чему этот фарс?! Тут неожиданно встает председатель учебной комиссии и с заметным разочарованием говорит: "Понимаете, какая загвоздка: тут на *него* имеется благодарственная грамота из правления колхоза "Татарстан", что якобы помог спасти урожай картошки. Нас в Татарстане не поймут, если мы выбросим из наших рядов члена с Грамотой..."

Скажу честно, что я о существовании этой Грамоты ничего не знал и не мог знать: предназначенная мне Грамота почему-то перепутала адресата и попала в руки председателя учебной комиссии факультета?? Повисла нехорошая пауза... И вдруг вскакивает один Член и радостно сообщает: "Я знаю, почему *он* на колхозном собрании предложил остаться на дополнительный срок и якобы спасти урожай". – "Почему-у??" – дружно выдохнули остальные Члены. "Потому что *он* – жадный: хотел больше заработать!" Все Члены и им сочувствующие вздохнули с облегчением. Я и сам обрадовался, что был найден такой простой, но убедительный аргумент, хотя был уверен, что картошку мы убирали в порядке шефской помощи Города – Селу, и не помню,

чтобы нам за бескорыстную помощь платили зарплату. Вопрос был решен, и непорочные ряды были триумфально от меня, порочного, очищены. А вместе с тем и я был очищен от некоторых розовых иллюзий. После заседания находчивый Член, обнаруживший спасительный аргумент, похлопал меня по плечу и сказал: "Прости, старик, – надо было спасать положение". – "Да не переживай ты, – успокоил я его. – Далеко пойдешь!" А одноклассник мой Иосиф Брейдо добавил: "Вылизывая досуха и начисто, ты отвечаешь, как всегда, за качество". Преград, чтоб меня отчислить, у деканата больше не было, что он с удовольствием и осуществил. "Слава тебе Господи! – подумал я. – Даже из института не могут выгнать без карнавала!"

Перечитал эпопею с моим изгнанием из института, и стало как-то не по себе. Получается, что *они* плохие, а *я* – хороший? Что существует два мира:

- 1) мир власть имущих и мир подвластных;
- 2) мир гонителей и мир гонимых;
- 3) мир униженных и оскорбленных и мир унижающих и оскорбляющих;
- 4) мир праведных и мир неправедных.

К каким же мирам я отношу себя? Если разобраться, – ни к одному из перечисленных. Я и не власть имущий и не подвластный. Я допускал, что, в порядке *служения делу*, могу быть и начальником (если доверят), и подчиненным. Не дай мне Бог унижать, оскорблять и тем более преследовать кого-нибудь; но и униженным и гонимым я себя не чувствовал. И праведником себя не считал. Но откуда же это ощущение, что *я* и *те*, кто меня обсуждал и осуждал, уличал и обличал, находимся в разных мирах, по разные стороны баррикад? И почему они имеют *право* и *желание* осуждать меня, а мне это право совсем не нужно и даже обременительно, и упаси Боже меня от желания кого-то судить? И как это случилось, что они отделили меня от себя и даже освободились от меня, как от ненужного и вредного элемента? Ведь до этого разбирательства я был один из них, я был вместе с ними и не хотел отделяться от них. И почему они были неискренни: ведь я же видел, что они не желали говорить то, что говорили. Как будто над ними довлела какая-то грозная, роковая сила, как будто кто-то заставлял их против их же воли? Раньше, когда я встречал в характеристиках: "морально устойчив и идеологически выдержан", я даже не задумывался над этими словосочетаниями, воспринимал их как фигуру речи, что ли. Но теперь эти слова стали доходить до меня. Я понял, что это не просто *красное слово*, это – идеологическая установка. Первый раз в жизни Идеология простерла надо мной свое черное крыло, первый раз я почувствовал ее холодное дыхание. До сих пор я был активным пионером, активным и сознательным комсомольцем и не сомневался, что стану передовым коммунистом; верил, что мы построим коммунизм и что это будет самое совершенное общество красивых и праведных людей. А теперь я изгой, и коммунизм будут строить без меня. Поистине: "Меж топором и лобным местом альтернативе нету места" (И. Брейдо).

Я понял также, что никаких двух миров нет. Что официально в нашей стране может быть только один мир: *морально устойчивых и идеологически выдержанных*, и что любой другой мир – наши враги, с которыми нужно вести непримиримую борьбу. И еще я понял, что есть *люди* и есть *Идеологическая Система* и что вне этой Системы люди – не Люди, а людишки, которых Система легко может стереть в порошок или закатать в асфальт. "Как узок кругозор штыка, но сущность очень глубока" (И. Брейдо). Что люди, находящиеся внутри Системы, являются заложниками этой Системы и не могут поступать по собственному произволу и не дай бог по своей совести. Что это еще такое – своя совесть?! Такой совести нет и быть не может! Партия – наша коллективная совесть!

И я совсем по-другому взглянул на людей, меня окружающих: на начальников и подчиненных, на работников деканата и студентов, на простых студентов и на студентов – членов общественных организаций и, следовательно, облеченных особенно большой властью. И что власть эта хоть и сладка, но может быть и обременительна. И что людям часто приходится играть две (а то и более) роли: роль простого, частного человека и роль человека обществен-

ного, облеченного властью и обязательствами. Так и студенты (а что студенты – не люди, и из другого теста?): они не хотят быть на задворках Системы, им тоже хочется сладкого пирога. Совесть – штука ненадежная, с нею чаще всего хлопотно, поэтому она не должна быть константой, в лучшем случае, ей дозволено быть относительной величиной, её, если нужно, можно и припрятать, и продать. "Настало время, и в любой момент возможно, ни о чем не беспокоясь, забыть про этот странный рудимент, – его когда-то называли *совесть*" (И. Брейдо). А Система надежна и незыблема, её не спрячешь и от неё не спрячешься. Во благо такой Системы можно и сподличать – Система все спишет.

Я постарался понять всех и войти в положение каждого. Вот идет заседание учебной комиссии, стоит обвиняемый бедолага, его нужно осудить, да не простым поднятием руки, а аргументированным доказательством *его* вины. Над каждым членом, как дамоклов меч, висит вопрос: "Ты зачем здесь сидишь?! Член ты или не Член?!" И волей-неволей приходится надевать доспехи и вставать на смертный бой за правое дело: "Вставай, проклятьем заклейменный!" Вот уж поистине: проклятьем заклейменный! Точнее не скажешь. В этой связи вспоминается яростный плакат В. В. Маяковского с воткнутым в тебя, как нож, пальцем: "Друг ты или враг, свой или чужой?!"

А взять наш деканат. Декан – М-н. Все в один голос пели мне в уши, какой он прекрасный человек, участник войны, орденосец и что все студенты почитают его за отца родного. Да я разве против, я даже очень рад, хотя я его видел только на собраниях и то два или три раза, и он не дал мне ни единого повода испытать к нему сыновнее чувство. Он даже отчислил меня инкогнито. Но я ведь прекрасно понимаю, что таких, как я, двоечников у него – пруд пруди. И он просто не имеет физической возможности лицезреть каждого: *хочет, но не может!* А сколько у него других, более важных обязанностей: на ректорат ходи, на партсобрания ходи, об успеваемости и дисциплине там и там доложи, нотации и внушения там и там получи, тут еще и ЧП, которые тоже нередки. А куда деваться от КГБ, который берет за горло: кровь из носа – обеспечить стукачами. О том, что в каждой группе есть стукач, я узнал, когда эту удавку через два года попытался накинуть мне на шею другой наш декан. А о текущих делах деканата и говорить нечего. А вы говорите: "отец". Сплошная безотцовщина.

И все же я понял, что жить в стране, где властвует Система, можно, оставаясь человеком и не теряя человеческого достоинства. Важно не иметь с Системой никаких дел и держаться подальше от ее структур. Я понимал, что это не просто, но верил, что люди в большинстве своем – нормальные и настроены на добро, об этом говорил и мой небольшой жизненный опыт. Что же касается "структур", то, не делая заявлений и деклараций, внутренне я перестал быть комсомольцем, а в партию решил не вступать ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах. Но и прятаться в кусты и засовывать голову под крыло я не собирался – не приучен. Да и кто может запретить мне жить свободно, полной жизнью. Делай что должно, а там – будь, что будет. "Кабы не скрипки, кабы не всхлип виолончели, мы бы совсем оскотинились, мы б осволочели" (Л. Лосев).

Р. С. Удивительно, что предтечей всех внешних неурядиц было соответствующее психологическое состояние – которое я назвал бы крушением иллюзий, – возникшее в то время, когда ничто не предвещало этих самых неурядиц. Об этом свидетельствует неотправленное письмо домочадцам от 9 декабря 1967 года, которое я обнаружил в архивах уже после написания настоящей книги.

Здравствуйте, мама, папа, Света, Люда и бабушка!

КАЮСЬ.... Странно: в мыслях я постоянно с вами, а писать не могу.

МЫСЛИ... (Ужасная штука. Они преследуют меня везде и всюду: дома, в институте, в трамвае, на улице. Я опутан ими, словно паутиной, с той разницей, что паутина – это сеть, система, выполняющая определенную функцию, а у меня – никакой системы: хаос и

брожение.) и ЧУВСТВА... Сколько их... Все они так или иначе связаны с многострадальным студенчеством.

Студенчество... Многоликая, разношерстная масса. Сколько непонятных ассоциаций связано у несведущего с этим словом, сколько романтического, таинственного сокрыто для него в этом звуке, сколько поэзии, музыки и, конечно, "прометеева" огня.

Я должен разочаровать тебя, не познавший счастье и несчастье студенческой жизни.

Представь картину. Суббота. В общежитии танцы. Любители острых ощущений с нетерпением потирают руки в предчувствии хорошей охоты. И вот первые, режущие слух мажорные звуки джаз-оркестра кричат: "Охота началась!" На площадках между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами пестрого люда – не протолкнешься. А сколько здесь "дичи!" Робко ожидая своей участи, стайкой расположились трепетные лани из пединститута. А вон, у лестницы, гордо красуются белокрылые лебеди из медицинского. То тут, то там мелькают загадочные тени птиц Феникс из финансово-экономического. В поисках жертвы бродят вольноопределяющиеся, не охваченные образовательными структурами хищницы: они не могут ждать милостей от природы. Охота, конечно, не всегда и не сразу удаётся, но настоящего охотника сие обстоятельство не смущает: чем горче корень, тем слаще плод.

Заглянем теперь в одну из комнат. Мы, кажется, попали в КЛВ (клуб любителей выпить). На столе бутылки – пустые и недопитые, – скромная закуска (килька, хлеб, колбаса), окурки. Беспорядочный звон гитары перемежается с изрыгаемыми магнитофоном звуками. Смех, пьяный гвалт, обрывки песен из репертуара "после пятого стакана". Мы, кажется, не туда попали. Идем дальше по коридору. Но что это? Нечто похожее на болото преградило нам путь. Смахиваем скупую слезу: "Ведь он чуть-чуть не дотянул, совсем немного..." Да, "до клозета дойти нелегко..."

Волна возмущения, негодования, должно быть, захлестнула тебя, мой не ведающий настоящей жизни друг: как? почему? кто они? что они? подонки? моральные уроды? Нет. Не то и не другое. Простые обыватели, укрывшие свои истинные лики за карнавальными масками. Они несутся, подхваченные стихийными процессами, стремительным потоком времени ("и не остановиться, и не сменить ноги"), сметая всё на своем пути ("перед нами всё цветет, за нами всё горит"). Рабы обстоятельств, сами того не ведая, они живут по формуле: "Один раз в жизни живешь, что можешь, от жизни берешь" и не задумываются над тем, какая миссия на них возложена, о долге перед родными и близкими, перед обществом, перед собой, наконец. Но трудно устоять перед всякого рода соблазнами, да и к чему: "Ведь девушек пылких и водки бутылку с собой на тот свет не возьмешь". Отсюда – недалекие планы, узость интересов, скромные запросы: получить специальность, квартиру, жениться... Их девиз: "Как-нибудь". Они закончат институт и, несомненно, будут приносить пользу, но не в силу внутренних побуждений, а в силу необходимости.

Конечно, до героев романа, берущих от жизни всё и не дающих ничего, причем делающих это сознательно, им далеко. Мне приходилось уже слышать: "От жизни надо брать всё!" Может показаться, что эта формула похожа на первую, но в неё вложен иной смысл, она содержит хищническое начало. Она исповедуется сытым обывателем, хозяином жизни. Волчара, съев одну овцу, постарается съесть другую; волчишка же, спасающийся от погони, либо пробежит мимо соблазнительного лакомства, либо проглотит его на бегу.

Повторим наше путешествие в один из рядовых дней. Удивительные перемены: пол в коридоре чисто вымыт, болото осушено, в комнатах светло и уютно, постели аккуратно заправлены, на столе чистая белая скатерть. Да и обитатели их – самые обычные люди, каждый занят (или не занят) своим делом.

12 декабря, час ночи. Прочел свою писанину и, признаться, стало жутковато. Но не писать об этом, значит, вообще не писать.

На мой взгляд, страшнее другая категория довольных собой и жизнью студентиков. О ней красноречиво говорит следующий эпизод. В общежитии – отчетно-перевыборное собрание. Уже – 8, а в "Красном уголке" – никого. Хожу по комнатам, умоляю: "Ребята, милости прошу – на собрание. Ведь от нас же зависит, как будет организована жизнь в общежитии". На этот глас вопиющего в пустыне отвечает недовольное шуршание верблюжьей колючки: "Я живу тихо-мирно, качусь себе куда ветер дует, никого не трогаю; и вы меня не трогайте".

Дух недомогания, усталости, граничащей с безразличием, равнодушием царит в общежитии. В такой атмосфере искре не суждено возгореться в пламя – сказывается нехватка кислорода в воздухе. А ведь свежий воздух можно пить взахлеб, стоит только оглянуться вокруг и найти источники его. А лучше поглубже нырнуть в себя и спросить, чего же жаждет истрадавшая душа?

Есть и цельные натуры, способные и неспособные, с фанатизмом, выраженным в разной степени. Первые, способные, чаще всего погружаются в ученическую рутину и с утра до вечера настырно и неутомимо грызут гранит науки, прилежно и старательно (не отсюда ли "старатели?") моют золотиносный песок, предвкушая будущие дивиденды. Другие – из кожи лезут, дабы удержаться, дотянуть до шестого курса.

Пришла пора познакомить тебя, мой взыскательный друг, с родственными мне по духу людьми. Это мятущиеся души, отшельники, беспокойные сердца. При первой возможности они уходят от "суеты городов и потоков машин" в леса. Что может сравниться с красотой зимнего леса! Величественные сосны в зимних шапках, морозная тишина (тебе приходилось слушать морозную тишину?), а вместо пушкинской зимней скучной дороги из-под ног весело убегает озорная, манящая в даль лыжня. Каким ничтожным кажется всё низкое, мелкое рядом с величием этой сокровищницы духовных богатств, русской природы. А разве можно спокойно пройти мимо картины: избушка, затерявшаяся в лесу, в печке весело потрескивают дрова, мелодично поет гитара, тихо звучит туристская песня. Какое счастье сидеть у этой печки в кругу близких тебе по настрою лирических струн ребят и без конца глядеть на задорно прыгающие языки пламени!

Вот я и посвятил тебя, приятель, в тайны студенческой жизни. А таинственный лагерь, оказывается, просто открывался. Правда, схема деления студентов на категории весьма упрощена и грубовата. Нужно учесть, что категории эти диффундируют друг в друга, переплетаются, резко выраженных границ между ними нет...

Итак, я ощутил себя вольной птицей и стал готовиться к дальнему перелету. Перелет этот предложил мой боевой друг и соратник по туристской рати Саша Жевнов. Это был самый мужественный, благородный и равнодушный человек, которого я когда-либо знал. Высокий, жилистый, упругий, слегка заикающийся в минуты душевного напряжения и раскованный, с застенчивой улыбкой в кругу друзей, он был человеком высокой пробы. Великолепный фотограф, практически – профессионал, для турпоходов, согласитесь, редкая находка. Сашу отчислили за то, что он, защищая незнакомую девушку, попал в милицию. Все, включая пострадавшую, разбежались, а Саша бегать от кого бы то ни было считал ниже своего достоинства. В деканате разбираться не стали: визит в милицию не по своей воле однозначно карается отчислением. Я предлагал помощь (Симонов М. П., Витя Мизгер), но Саша наотрез отказался: "Доказывать, что не верблюд, – не хочу и не буду! Точка!" А ведь он был без пяти минут инженер, ему оставалось только защитить диплом в начале февраля. Саша, будучи родом из Сарапула и зная кое-что о лесоразработках и лесосплаве на Каме, предложил двинуть наши молодые силы в места не столь отдаленные, в места романтические.

К нам примкнул тоже боец из нашей туристской группы Володя Шулев, студент моего курса, взявший академический отпуск. По темпераменту Володя был чистейшей воды флегматик, таких суперфлегматиков я больше никогда не встречал. Среднего роста, симпатичный – редкая девушка пройдет мимо, не обратив на него внимания, – абсолютно невозмутимый и

ровный во всех жизненных проявлениях (голос, мимика, походка, жесты), как гладь озера в абсолютный штиль. Лишнего слова не скажет, но, если спросишь, коротко и доброжелательно ответит, при этом в уголках губ появится едва заметная улыбка. Не помню, чтобы он сам о чем-нибудь расспрашивал, как будто сам давно все знал. Глаза теплые, умные, наблюдательные, всегда направлены навстречу собеседнику. Весь его облик как нельзя лучше объясняет и оправдывает слова: "обаяние", – "органика".

До намеченного срока отправления оставалось буквально два-три дня, когда в дверь моей комнаты № 309 тихо постучали. Я открыл дверь и увидел на пороге... – отца. Я был ошарашен и растерян, масса вопросов молнией пронеслась в голове: как? откуда? почему здесь? как узнал? Тем не менее я был искренне рад... Мы обнялись, и я почувствовал тепло родного человека и, как это ни странно, отцовскую опору. А я-то думал, что уже взрослый и ни в какой опоре не нуждаюсь. Я не услышал от отца ни слова упрека и осуждения, даже намека на это. Он ни о чем не расспрашивал (как я был благодарен ему за это!). Сказал, что как только получил извещение из деканата, сразу же сел на поезд и с вокзала – прямо в деканат. Сказал, что декан пообещал восстановить меня на третий курс. Я попытался возразить, что, мол, этот институт мне не подходит, и я решил поступать на механико-математический факультет Казанского университета; а пока мы с друзьями решили поехать на заработки. У отца на глаза навернулись слезы. Я никогда не видел папу плачущим и тут только понял, какое горе причинил самому близкому человеку, с пронзительной остротой почувствовал, как он любит меня, как привык гордиться мной и возлагать на меня надежды. Не раздумывая, дал отцу твердое слово восстановиться. И будто гора свалилась с наших плеч.

На следующий день я с легким сердцем посадил папу на поезд. А еще через день и нам надо было подаваться в дальние края, манящие своей неизвестностью.

Никого не виню,

что порой легче тело содрать, чем пальто.

Всё гниет на корню.

Я не ведаю, что я и кто.

Я, как жгут, растянул окончания рук, я тянулся к звезде.

Мне везде было плохо и больно. Везде.

От себя не уйти.

Что-то колет в груди.

И качаются тени.

На стене. И закат не похож на рассвет.

Я, войдя в этот мир, оказался в чужом сновиденье.

Пробуждения нет. Пробуждения нет.

(Б. Рыжий)

Глава 9. Ссылка

“Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города”.

(О. Мандельштам)

Верховья Камы... Темная вода...

Где каждый сам себе плывет по воле волн.

И если встретишь одинокий челн,
не спрашивай: откуда и куда.

Провожать нас на поезд "Казань – Соликамск" пришла куча народу. Проводы начались еще в общежитии, мы хорошо заправились горячим, будто чувствовали, что ждут нас на севере холода. Смутно помню, как нас закинули в вагон? ...И поезд помчал нас в сиреневую даль.

В Соликамск мы прибыли вечером, в густых зимних сумерках – в ту самую пору, которую французы называют “между волком и собакой”. Этот северный город на Каме, овеянный славой купцов Строгановых и именно им обязанный своим названием, встретил нас обычной в это время года февральской метелью. Мы узнали, что автобусы в Тюлькино (крупный сплавной и лесозаготовительный поселок на Каме) не ходят, так как ледяная дорога на Каме заметена и расчищают ее только тогда, когда кончится полоса выюг и метелей. В привокзальной гостинице мест не оказалось, сказали, что в городе тоже нет, и мы невольно прониклись уважением к Соликамску: зимой в будний день и нет мест! Даже большой мегаполис не может себе этого позволить. Нам стало весело, сидим в зале ожидания и курим.

Вдруг к Володе шаркающей блатной походкой подруливает забавная девица в испачканной краской телогрейке, в кирзовых сапогах с щегольски закатанными голенищами, в шапке-ушанке (я даже не сразу сообразил, что это особа женского пола) и, как у закадычного друга, просит у него закурить. Ее необычный, экзотический вид, непринужденная, без комплексов, манера поведения, приклатненность, развязная поза во время прикуривания у Вовки сигареты и, главное, нецензурная лексика – всё вместе вызвало у меня приступ нервно-гомерического, идиотского смеха, что привлекло ко мне внимание этой особы. Как она на меня накинулась, как стала крыть матом! Это был обычный, незамысловатый мат. Необычным было то, что мат этот извергали уста довольно-таки симпатичного создания, и что лексикон этого создания почти полностью состоял из этого древнего, как мир, языка. Я никогда не слышал, чтобы девушка, да еще и симпатичная так естественно и органично говорила на этом выразительном фольклорном языке, и это обстоятельство сделало мой смех просто истерическим. Я не знаю, что бы эта девица со мной сделала, если бы меня не спас Саша Жевнов. Он спросил у нее, где тут можно перекантоваться. Она сразу переключилась на деловой лад и сказала: "Хрен с ним! Доведу вас, хотя с этой старой проституткой мы – на ножах", – все это говорилось ровным, обыденным голосом, на языке, гармонично разбавленном сочным матом в такой пропорции: одно слово нормативное – три слова матерщины. Шествие наше, наверно, выглядело весьма забавно: впереди Вовка с Сашкой вели мадам в ушанке, что-то живо рассказывающую на своем экзотическом языке и помогающую себе выразительными жестами, а сзади на безопасном расстоянии плелся я, давась от смеха. До меня долетали обрывки фраз про какую-то простыню, про каких-то постояльцев.

Остановились мы перед бревенчатым домом, над дверью которого значилось: "Дом колхозника". – "Придется прикинуться колхозниками", – подумал я. Людмила (так звали нашу провожатую) уверенно, как к себе домой, толкнула дверь, и мы оказались в небольшой прихожей. Из-за печки вышла невысокая плотная бабенка и без всяких предисловий накинулась

на Людмилу с отборной мужицкой бранью, не удостоив нас ни малейшим вниманием. А ведь мы по сравнению с обитателями этой ночлежки были прилично одеты и вообще имели весьма респектабельный вид. Людмила нисколько не оробела, как будто ожидала нападения, и пошла горячая перепалка. Из разных углов приюта выползли "колхозники" посмотреть бесплатный спектакль. Когда, казалось, дело дошло до рукопашной, Людмила бросилась в левую комнату, достала из-за печки скомканную окровавленную простыню и швырнула ее в лицо хозяйки приюта, которая сразу успокоилась и, как ни в чем не бывало, вежливо обратилась к нам, чего, мол, мы изволим желать. Мы сказали, что желали бы остановиться в таком гостеприимном и занимательном Доме. Без всякой бюрократической проволоочки, не спрашивая кто мы и из какого колхоза прибыли и не требуя не только документов, удостоверяющих, что мы – колхозники, но и банальных паспортов (столь высока и безупречна была репутация Людмилы в этом Доме и столь велика цена неожиданно обретенной простыни), хозяйка выдала нам постельное белье, показала наши кровати, и мы таким образом приобрели крышу над головой и домашнее тепло, а это, согласитесь, совсем немало, тем более когда за бортом бушует выюга.

Наша ночлежка представляла собой довольно большое помещение, разделенное печкой на две комнаты: маленькую квадратную правую и большую длинную левую. К правой примыкала небольшая каморка с отдельным входом, в которой жила хозяйка. Мы поселились в правой, более уютной. Кроме нас троих, в этой комнате постоянно проживал весьма странный мужчина средних лет, этакий чеховский персонаж, человек в футляре: "ничего не знаю, моя хата с краю". В другой, длинной комнате народ был более разнообразный и менее постоянный. Более или менее постоянно жили в ней два парня: Степан 18-ти лет и Юра – 25-ти. Остальные – проживут два-три дня, потом исчезнут на столько же, потом снова появятся. А были и такие: завалятся со шмарой, поскрипят ночью железной кроватью и – только их и видали. После первого такого визита мы присвоили Дому колхозника более почетное и привлекательное название "Дом терпимости" (информация к размышлению: терпимость, смирение – христианские добродетели).

Шли дни, а непогода не утихала. Как-то прошел слух, что скоро нашу обитель осчастливит своим визитом *большой человек и большой авторитет*, вор в законе дядя Саша. Гастролеры, которые появлялись на два-три дня, почему-то срочно покинули тонущий корабль. Нам было чрезвычайно любопытно, что это за "дядя Саша" такой, что от него все крысы разбегаются.

И вот в один прекрасный день Володя с Сашей лежат на своих кроватях и что-то читают, человек в футляре спит в своем углу, повернувшись лицом к стене, я сижу и под завыванье выюги бренчу на гитаре. Вдруг в нашу комнату заходит высокий худой старик, берет стул, ставит спинкой вперед напротив меня, садится на него верхом и упирается в меня тяжелым пристальным взглядом. От неожиданности я перестал бречать, но взгляда не отвел. Дядя Саша (я сразу понял, что это был именно он) выдержал паузу и повелительно, тоном, не допускающим возражений, коротко приказал: "Играй!"

Не привыкший к такому грубому обращению и к такому тону (в голове молнией пронеслось, чем же ему ответить?), я, дерзко глядя ему в глаза, запел, чеканя каждое слово и вонзая их в него, как ножи, как пули (откуда я мог знать, что эти слова и были для него ножами в самое сердце): "Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час в пехоте передышка..." Ну скажите, почему я завел именно эту песню Высоцкого?! Я внимательно наблюдал за ним и не верил своим глазам: его большая голова с сухим лицом, изрезанным крупными морщинами, стала клониться вперед, а на глаза наворачивались слезы... И вдруг из нутра его будто граната рванула: "Хва-атит!!!"

Я прекратил петь, но продолжал зло и беспощадно смотреть на него. Если бы он был в состоянии оценить мой кичливый вид, он бы в лучшем случае посмеялся над моей заносчивостью, над моей наивностью, а скорее всего, одарил бы меня презрением: мол, моська, а

лает на слона. Но ему эта моя мелкая месть была до лампочки, ему было не до меня, он был где-то далеко от меня и от всех нас. Он сидел погруженный в свои, неведомые для нас думы, нисколько не стесняясь своих слез. Немая сцена, казалось, длилась целую вечность. Потом он молча встал, достал из кармана бутылку водки, поставил на стол, кликнул из соседней комнаты кого-то из ребят, Юру или Степку, дал денег и велел сгонять в магазин.

Мы познакомились. Он спокойно, но с заметным интересом расспросил, кто мы и откуда. ...Разлив водку по стаканам, дядя Саша попросил меня еще раз спеть "Штрафные батальоны". Я пел теперь совсем по-другому, как будто я сам был штрафником и шел в прорыв, и бил штыком, и бил рукой фашистского бродягу... И опять у него на глазах были слезы, и я видел, что в данный момент он был *там*, и понимал, что эта его боль не случайна, и каким-то шестым органом ощущал, что боль эта связана с каким-то неизбывным горем, происшедшим с ним лично. Я также почувствовал, что переживания его связаны именно с этой песней, что больше никаких песен о войне петь не нужно, и без паузы переключился на наши задушевные лирические костровые песни (Саша с Володей стали мне подпевать).

И я увидел, что дядя Саша постепенно возвращается к нам из той страшной войны, из того жуткого состояния, в котором он находился. Мы всемером сидели за столом (даже человек в футляре к нам присоединился), пили водку, пели песни, и какая-то теплая, доверительная атмосфера установилась между нами, будто добрая фея парила над нашим столом.

Диву даюсь: что случилось? Каким образом совершенно разные, едва знакомые люди могли так быстро и так тесно соединиться? Кто и что соединило их? Степа с Юрой жили в соседней комнате, и мы с ними даже не здоровались. Человека, проживавшего с нами в одной комнате, мы из уважения к возрасту и из элементарной вежливости звали по имени отчеству, но ни в какие разговоры не вступали: он не нуждался в нас, а мы не нуждались в нем. Так кто же виноват в произошедшей с нами метаморфозе? Дядя Саша? Но ведь он был завсегда-таем этой ночлежки, приходил сюда, как к себе домой, и безусловно имел над ней власть: наш сокомнатник боялся его, как черт ладана (видно было, как он затаился, сжался, когда вошел дядя Саша), а пацаны, вероятно, вообще были у него на побегушках. Так в чем же дело? Не нахожу объяснения. Видно, на то она и метаморфоза, что ничего в ней не поймешь...

Поздно вечером, когда все разошлись, сытые, изрядно выпившие и довольные собой и жизнью, дядя Саша тихо позвал меня в большую комнату, где уже спали Степа с Юрой, достал из какого-то потайного кармана небольшой, завернутый в газету и аккуратно перевязанный пакет, развернул его и положил на стол. "Письма от жены", – дрогнувшим голосом сказал он. Потом достал из одного конверта вчетверо сложенный листок, распахнул его передо мной и, виновато глядя на меня, попросил: "Пожалуйста, прочти..." – "Чужое письмо..." – попытался я возразить. "Я никому не показывал... Прошу тебя, прочти". Я почувствовал, что ему тяжело одному нести свою ношу, что ему необходимо поделиться с кем-то, что для него это очень важно, и стал читать.

Это было письмо тонкого, интеллигентного человека и глубоко и нежно любящей женщины, преданной жены, стойко ждущей мужа сначала с войны, а потом из лагерей, и заботливой матери, вырастившей в блокадном Ленинграде сына и дочку, для него, любимого, вырастившей. Ради него она покинула родной Ленинград и поселилась где-то в средней полосе, потому что ему запрещено было жить после освобождения в крупных городах. Она ждала его, и звала его. В письме именно и содержалась мольба вернуться в лоно семьи. И ни слова не то что упрека, но даже намека на жалобу. А ведь нетрудно представить, что пришлось пережить и перестрадать этой женщине, жене преступника и убийцы.

Дядя Саша рассказал мне, что он откликнулся на этот её зов и приехал в небольшой городишко, где она с детьми свила новое гнездо. Как трогательно и нежно они заботились о нем и как прилагали все силы, чтобы он поскорее привык к давно забытой, необычной для него

жизни. Он был сильный человек, лагеря не сломали его, – это даже мы, зеленые, не нюхавшие пороху, сразу почувствовали.

Я думаю, что он и выжил и выстоял только потому, что у него не было выбора, как вести себя в этом совершенно чуждом для него мире. Гордый, прямой, бескомпромиссный человек, кадровый офицер, прошедший огонь и воду и медные трубы, он не мог и не хотел приспособливаться, а тем более прятаться в кусты. Ему, вчерашнему смертнику, терять было нечего. Он никогда не был шкурником и трусом и сразу пошел ва-банк: либо они меня, либо я их. Можно только гадать, какой концентрации и напряжения всех сил, и прежде всего нравственных и интеллектуальных, потребовало это неравное противостояние.

Поэтому к жене вернулся совсем другой человек, нежели тот, которого знала она много лет назад. Он думал и надеялся, что не столько трудно будет войти в русло новой, послевоенной и послетюремной жизни, сколько проложить, наладить русло между двумя сердцами, одно из которых зачерствело, заскорузло, закаменело из-за постоянной необходимости вести жестокий поединок в жестоком мире. Сердце стало жестким, но не ожесточенным, сдержанным, но не трусливым, а значит, не потеряло способности любить, и я это прекрасно видел.

Опасность подстерегала его совсем не там, где он ожидал встретиться с ней. Не так уж глупы и весьма изобретательны были наши органы, когда в их головы пришла гениальная мысль поселить отбывших заключение именно в небольших населенных пунктах, в этих мешанских клоаках, где все у всех на виду, где по привычке (шли шестидесятые годы) многие проявляют бдительность и следят друг за дружкой, – авось пригодится выслужиться. А особо рьяные и сознательные состояли на довольствии у органов, и тут уж хочешь не хочешь, а подавай компромат, хоть из пальца высоси. Для последних такие, как дядя Саша, – просто находка. Высокий, красивый, породистый, независимый, не привыкший гнуть спину ни перед кем, он резко выделялся среди мелких и мелочных обывателей этого захолустного городка и был для них, словно кость в горле. Да к тому же – убийца! Нет, от такого надо избавляться, и чем быстрее, тем лучше. Вот в такую обстановку и попал дядя Саша. Плюс на работу не устроишься (у него, кадрового военного, никакой другой специальности), даже на неквалифицированную. В таких обстоятельствах выбор небогат: либо тебя в таком населенном пункте сживут со свету, либо выбирай такое место, где сплошь одни зеки и стучать вроде не на кого.

Но даже и не это главное. До его появления к жене относились как к обычному, нормальному человеку, а потом отношение резко изменилось: на неё стали коситься, перестали разговаривать – она как бы оказалась вне закона. Вот этого он вынести не мог. Он понял, что навлек на любимого человека несчастья, что не сможет сделать её счастливой, что жить им спокойно не дадут и принял решение вернуться в места, для него привычные. Он настоял, чтобы она либо вернулась в Ленинград, либо уехала в другой город. Он показал мне еще несколько писем от нее и прядь ее волос, которые хранил в конверте. Я понял, что эти письма и эти волосы – все, чем он живет, и все, что у него осталось.

Письма жены и те скудные, отрывочные сведения, что дядя Саша мне приоткрыл (много я дофантазировал), не сняли завесу с его жизни, а напротив, покрыли её еще большей тайной, оставили массу невыясненных вопросов. Пользуясь доверительными отношениями, сложившимися между нами, и понимая, что другого случая не будет, я попросил дядю Сашу рассказать о себе. Вот что он мне поведал.

Он, потомственный ленинградец, вырос в семье крупного партийного работника. Отец, имея неограниченные возможности, не пристроил сына в теплом месте, а в преддверии войны определил для него достойное место защитника Родины и направил в военное училище. В начале войны, когда он в звании капитана командовал ротой, к ним в часть прибыл прямо из академии военный советник в звании майора, человек самоуверенный, заносчивый, невежественный в военном деле, но со связями, ни за что не отвечающий, но наделенный большими полномочиями. Не обладая опытом, не владея обстановкой, склонный к теоретизированию,

сей великий полководец разработал для батальона план наступательной операции (не зря же протирал штаны в академии). Комбат, имея такое же воинское звание, возразил высокопоставленному советнику, но настаивать не посмел, а комроты дядя Саша высказался категорически против "гениального" плана. Ему пригрозили трибуналом. В итоге батальон был окружен и почти целиком уничтожен. Дядя Саша вышел из окружения с горсткой бойцов и в присутствии комсостава пристрелил виновника гибели стольких людей. К счастью (или к несчастью – с какой колокольни посмотреть), новоявленного полководца удалось спасти, и дядя Саша, вместо вышки, был разжалован в рядовые и *получил назначение* в штрафбат.

Известно, что в штрафниках долго не ходят, но дядя Саша был, как заговоренный: ни пуля, ни штык не брали его. Он вопреки правилам, когда за один удачный бой штрафника могли перевести в обычные войска, так и остался в этом исключительном статусе (думаю, не без содействия упомянутого советника) и войну закончил, как и начал, командиром роты, но только штрафной. Поэтому с уголовным миром (основной контингент штрафников) дядя Саша познакомился задолго до своего заключения. Уверен, что это в том числе помогло ему выжить в лагерях, так как паханом он стал именно на войне, командуя штрафной ротой. Попробуй совладай с отпетыми – с волками жить по-волчьи выть. Но также ясно, что одними волевыми качествами и даже человеческими этот народ не возьмешь: на войне, по сравнению с лагерями, стократ больше возможностей выстрелить в спину бегущего впереди командира. Думаю, что руководили этим народом не сентиментальные чувства, часто свойственные им, а сугубо прагматические: понимали, видно, что кроме *этого* командира, никто не сбережет их драгоценные жизни.

После войны дядя Саша случайно встретился с "знаменитым полководцем" в Москве лицом к лицу и не раздумывая разрядил в него свой пистолет. В результате получил вышку, которую не успели привести в исполнение, так как смертная казнь была отменена. Вместо вышки, дядя Саша загремел на 25 лет в лагерь строгого режима. В 53 году по случаю кончины безвременно усопшего великого кормчего и последовавшей вслед за ней великой амнистии, дяде Саше скостили срок. Насколько скостили и когда вышел на волю, он не сказал, а спрашивать было неловко. Можно было сопоставить по датам в письмах жены, но письма были прочитаны раньше рассказа, и посмотреть я не догадался. Думаю, что в начале 60-х. В самом начале рассказа о дяде Саше я назвал его стариком – так я воспринял этого человека. А ведь ему было тогда не больше 50-ти, и он был крепок телом и духом, так что стариком его уж никак нельзя было назвать.

Несколько дней мы жили одной семьей. Дядя Саша утром уходил, а вечером мы собирались за семейным столом, умеренно выпивали и пели песни, и души наши звучали в унисон. Не много было в моей жизни таких близких людей, как дядя Саша. Надеюсь, что и он оттаял душой в нашей честной компании. Я заметил, что он мало пил, а ел еще меньше, и что вообще он был аскет. Я не видел у него ни одной татуировки, не слышал ни одного слова мата, он не говорил на фене – он спокойно обходился без этих языков уголовного мира, хотя наверняка знал их в совершенстве.

...Он исчез также внезапно, как и появился. И возник ниоткуда, и исчез в никуда. Просто однажды ушел, и больше мы его не видели. Для меня это была большая потеря, будто отца потерял. Помню, была такая безысходная тоска, такая пустота образовалась внутри и снаружи. Почему он ушел? Почему он не хотел (а может, не мог?) жить такой жизнью? Ведь видно же было, что ему хорошо с нами. Думаю, потому же, почему не смог жить в лоне семьи. Я не знаю, чем он занимался, чем он жил. Догадываюсь, что он не работал, в обычном смысле этого слова. Но также не могу представить, чтобы он воровал и тем более грабил и убивал.

Он жил в преступном мире, хорошо знал и понимал его жесткие законы. Он не отделил себя от этого мира, не презирал его и не смотрел на него свысока. Этот незаконный мир больше подходил для него, нежели законный официальный. И не потому, что он к нему привык

и был в нем *своим*, не потому, что имел власть над ним, не потому, что в этом мире принято было существовать – и существовать шикарно – за счет мира-антипода и неограниченно пользоваться продуктами его и благами. К материальным вещам он был равнодушен, не его это ценности и приоритеты. А потому, главным образом, что он был в этом мире более свободен, потому что не нужно было жить двойной жизнью, фальшивить, лебезить, заискивать, чтобы построить карьеру и добиться званий и наград, зачастую карабкаясь по трупам сослуживцев. Потому, наконец, что в этом мире можно было жить, оставаясь человеком, не теряя человеческого достоинства. Нет, он не идеализировал этот простой, незамысловатый, но все же беспощадный, бескомпромиссный преступный мир. И уж, конечно, понимал, что хоть этот мир стар и древен, как сама Вселенная, он не созидателен и суть – злокачественная опухоль на теле Цивилизации.

Он знал, не мог не знать, что другой мир, где остались родные и близкие ему люди, более сложен, разнообразен и неоднозначен. Что хоть он и может быть беспощаднее, циничнее и безжалостнее, чем уголовный мир, не всё в нем – фальшь и лицемерие, не всё – подлость и низость, не всё – трусость и пресмыкательство, не всё – ничтожество и уродство, не всё – беспросветная тьма. Что есть в нем: честь и достоинство, благородство и великодушие, смелость и отвага, свет и красота, сострадание и жертвенность, что есть в нем созидательные силы, есть живительные источники и, главное, есть надежда и уверенность, что именно благодаря этим силам, этим неиссякаемым источникам, мир постоянно преобразается и движется вперед, становится красивее и светлее, богаче и духовнее. Всё это дядя Саша прекрасно знал, ибо сам вырос в такой созидательной среде и сам был носителем нетленных ценностей. Знал также, что его место именно *там*, в это мире, что *там* нужны такие люди, как он, не умеющие отсиживаться в кустах. Но, очевидно, бывают обстоятельства, сильнее даже самых сильных представителей вида *homo sapiens*, и не он определил выбор между двумя мирами: созидательным и разрушительным. Потому, наверное, и ушел дядя Саша от нас, что вновь прикоснулся к простому, нормальному миру, такому же, как мир его родителей, в котором вырос, возмужал и приобрел чувство Родины и чувство долга перед ней, как мир своей семьи, где узнал, что такое любовь и верность. Потому, что ощутил давно забытое теплое дыхание этих миров, а вместе с ним и острую боль от безысходности, предопределенности, невозможности вновь обрести то, что потерял не по своей воле.

Мы все как бы осиротели, чего-то нам всем не хватало. Юра со Степой опять стали принимать наркотики и чифирить (чифир – крепко заваренный, полпачки на кружку, чай). И если Степка был начинающим, спокойным наркоманом, то Юра был агрессивным и даже буйным: уколется, схватит нож и кричит, нагоняя ужас прежде всего на себя: "Зарре-ежу!!!" Все на всякий случай уходили из поля его зрения, а я как-то встал перед ним и спрашиваю: "Юра! И меня зарежешь?!" Он поднял невменяемую голову, уставил на меня свои чумные глаза, и сказал решительно: "Нет! Тебя не зарежу! А остальных всех зарежу!"

Тем не менее, наш колпит (коллективное питание) работал, как при дяде Саше, мы по-прежнему ужинали вместе, правда, не так душевно и не так сытно. Я время от времени возвращался к откровениям дяди Саши, прокручивал наш разговор тет-а-тет, вспоминал дни и часы, проведенные вместе с этим необычным, но родным человеком, постоянно вынашивал мысль все это описать, такое неизгладимое впечатление оказали на меня события, связанные с ним, такой глубокий след они во мне оставили, так они меня тронули! В течение жизни я часто возвращался к этой мысли и вот по прошествии более полувека, я наконец пишу эти строки. Конечно, утрачены свежесть, острота, какие-то детали, но главное, вплоть до слов и интонаций, помню отчетливо и волнение испытываю то же самое, что и тогда, в те далекие годы. Может потому, что часто рассказывал об этих событиях сначала друзьям, а потом жене и детям.

У нас троих кончились деньги, а пурга все не утихала. Последние дни мы вообще питались из магазина "Уцененные продукты". Приходилось ли вам встречать нечто, подобное таким

вывескам? Мы покупали буквально за гроши замученную мороженую рыбу и ржавую селедку. Из мороженой рыбы варили суп, а селедку ели с макаронами, которые приносил Степка с пищекомбината, где он работал грузчиком. Степка и нам предлагал устроиться грузчиками. Говорил, что тамошней продукцией можно питаться, сколько влезет, но домой брать не дают, на проходной шмонают и, если попадешься, попрут с работы. Соблазн был большой, но мы все надеялись выехать на лесозаготовки за длинным рублем. Юра, когда был в состоянии, куда-то исчезал, но весь его промысел был направлен на то, чтобы добыть наркотики. Как и чем он промышлял, он не говорил, а мы не спрашивали. Так что подкармливал нас только Степка, самый зеленый из нас, совсем еще пацан. Стыдно об этом говорить, а что делать.

Наконец мы сдались и пошли наниматься в грузчики на Соликамский пищекомбинат. Приняли нас если и не с распростертыми объятиями, то вполне радушно и без особых формальностей. Директор комбината, довольно молодая и слишком симпатичная (чтобы не сказать, красивая и обаятельная) для должности директора особа, посмотрела наши паспорта, выдала спецодежду и, одарив нас иронической и вместе с тем чарующей улыбкой, пожелала всяческих успехов на новом поприще. И началась наша сладкая, в самом прямом и буквальном, а также не в прямом, а переносном смысле жизнь. Чуть позже вы все поймете.

А пока – непосредственно о древнейшей и почетнейшей из всех существующих профессий, требующей отменного здоровья, великолепной физической подготовки, недюжинного нравственного и интеллектуального потенциала, – профессии грузчика. Нам предстояло: а) обеспечивать пустой тарой (деревянными ящиками) различные цеха; б) переносить (перевозить) готовую продукцию на склад или под загрузку на грузовые автомобили к специальному окну; в) грузить означенную продукцию на упомянутые автомобили для отправки в магазины, в пункты общественного питания, в детские сады и прочим потребителям; г) сгружать сырье с грузовых автомобилей и спускать его по деревянному желобу через специальное окно внутрь пищекомбината; д) доставлять сырье в различные цеха; е) осуществлять прочие переносно-погрузочно-разгрузочные работы, не предусмотренные изложенным выше перечнем.

Теперь поясню, почему сладкая жизнь. В буквальном смысле потому, что сладкая продукция: печенье, пряники, конфеты и лимонады. Другая, не столь сладкая, но не менее полезная пищевая продукция: макароны и вермишели. В переносном смысле потому, что работники комбината – сплошь молоденькие симпатичные девчонки. Север вообще славится красивыми девушками.

Особого внимания заслуживает сырье, по разнообразию и пригодности для непосредственного употребления в пищу превосходящее собственно продукцию комбината. Вот его ассортимент: мед, сгущенка, сахар, мука, яичный порошок, орехи (арахис и фундук), кофе, какао, подсолнечное масло, сливочное масло, маргарин, спирт, концентрированные эссенции для производства лимонадов (лимонная, апельсиновая и пр.), как и спирт, 96%. Ну что вам еще нужно для полноценной сытной жизни? Вопрос с питанием нас больше не волновал. Питались мы только на комбинате. Из яичного порошка готовили великолепную яичницу. Девчата принесли из дома картошку и лук, и мы варили вкуснейший картофельно-макаронный суп, заправленный поджаренным на сливочном масле луком. О сладкой составляющей наших трапез я вообще молчу, ибо нет слов, чтобы описать этот медово-сгущенковый, прянико-печенный, орехово-конфетный рай, и что он значил именно для меня, сладкоежки, для человека, который всю жизнь и по сию пору ложками ест сахар, а конфеты, пряники и печенье уничтожает килограммами. Дома по вечерам мы пили чай с комбинатскими сладостями, которые понемногу открыто проносили через проходную. Так что Степа слишком близко к сердцу принял обещанные ему санкции. Кое-что прихватывали и для Юры (макароны, яичный порошок, маргарин), но не в коня корм (вот если бы наркотики!): он почти ничего не ел, видно, боялся потерять свою юркую, худосочную форму. Выданный нам аванс мы тратили только на сигареты и чай. Но на чифир Юре не давали.

Однако вернемся на пищекомбинат. Кто же были наши коллеги по профессии? А что тут говорить! Кроме нас четверых, этой позарез необходимой обществу профессией обладал Вовка Ряпосов (остальных, случайных алкашей Надя, так звали директора, отшила) – молоденький парнишка 17-ти лет, но уже познавший некоторые стороны жизни взрослого человека. Он был сирота, родители его умерли и оставили им с сестрой большой бревенчатый дом-пятистенки. На севере вообще дома строят большие, основательные и хорошо отапливаемые. Сестра жила в городке Боровске, километрах в семи от Соликамска, и работала там учительницей в школе. А Вовка был полноправным хозяином в доме и жил регулярной половой жизнью с нерегулярными девушками (язык не поворачивается сказать – партнершами). Старшая сестра не только знала, но и приветствовала и поддерживала брата в этом. Она сама привела к нему, необстрелянному юнцу, девушку, кажется, свою подружку. Наверно, считала, что Володя так быстрее повзрослеет и станет самостоятельным. Но связывать себя с кем-то прочными узами перед армией она ему не позволяла и, наверно, была права – настоящий педагог. А вообще Вовка был славный малый. Небольшого роста, очень живой, подвижный, смывленный, отзывчивый, с легким сердцем, но не легкомысленный, непосредственный, но не наивный, не жмот, но не по годам практичный, он легко завоевывал симпатии, и не только представительниц лучшей половины. Вскоре мы покинули Дом колхозника, который так сильно залег в наши сердца, и, по настоятельным уговорам Володи Ряпосова, вместе со Степкой перебрались в его большой и теплый дом.

Вовку регулярно навещала заботливая сестра: боялась, видно, упустить его из виду и потому постоянно держала руку на Володином пульсе. Неожиданно застав в доме незваных гостей, да еще и постояльцев, да так много, она не растерялась, познакомилась с нами, и через некоторое время мы уже были *своими*, и, следовательно, на нас распространилось ее покровительство.

Она пригласила нас к себе на квартиру, где жила со своей подругой, молодой учительницей, на что мы с Володей Шулевым с удовольствием откликнулись. Саша отказался, так как его флюгер настойчиво смотрел в сторону комбинатского начальства. Уютная трехкомнатная квартира-общежитие встретила нас весьма приветливо и радушно, по-домашнему. Было приятно и непринужденно: пили вино, пели песни. После вечеринки, заметив, что мы с её подругой симпатизируем друг другу, Вовкина сестра отправила нас в одну комнату, а сама ушла с моим другом в другую. Вот те раз, подумал я. И поскольку не был готов к *высоким* отношениям, всю ночь занимал свою зазнобу *высокими* материями. Володя навещал девушек еще несколько раз, а мне почему-то стыдно было показаться им на глаза.

Теперь о Степане. Мы хоть и терлись с ним бок о бок в течение продолжительного времени, но по существу ничего не знали о нем. Он был на год старше Вовки Ряпосова и гораздо выше ростом, но по сравнению с ним теленок, которого только что оторвали от соска матери. Какой-то несобранный и, я бы сказал, растерянный и не уверенный в себе. В остальном он был удивительно похож на Володю Ряпосова, даже внешне. Я решил расспросить его, кто он, откуда и почему оказался здесь: что-то подсказывало мне, что тут что-то не так. Вот его рассказ. Родом он из украинского села то ли Харьковской, то ли Донецкой области. Только что получив права, он отправился чуть ли не в свой первый рейс на грузовике с прицепом. На перекрестке в чистом поле между его машиной и прицепом влетел мотоциклист и – насмерть. Степка перепугался, бросил машину, мотоциклиста и бегом домой. Родители в панике, что нагрянет милиция, отвезли сыночка на станцию, посадили на поезд и отправили куда подальше. Так он оказался в Соликамске и поселился в известном уже читателю Доме колхозника.

Вскоре от родителей пришло письмо, что он получил срок "условно", что мотоциклист был пьян... и чтобы Степан поскорее возвращался домой. Но сначала у него не было денег, а потом он все сильнее и глубже погружался в психологическую яму, откуда не так-то просто выбраться. Небольшие деньги, которые он зарабатывал, уходили на наркотики, но мы пони-

мали, что дело не только и не столько в деньгах... Кажется, его еще не успели прибрать к рукам урки, которых в этих местах пруд пруди. Родителям он писал, что пока приехать не может, так как здесь хорошие заработки, но обещал, что как только заработает более или менее прилично, сразу приедет домой. Закончил свой рассказ Степа со слезами на глазах, ибо, будучи человеком слабохарактерным, потерял всякую надежду вернуться к нормальной человеческой жизни.

Видно, он сильно любил и уважал родителей, так как сокрушался: ну как я покажусь им на глаза в таком виде! Мы сразу сказали, что поможем ему, но что все зависит от него самого. Придется (на нем давно уже были обноски) и собрать деньги на дорогу не проблема, главное, избавиться от зависимости. Насчет наркотиков мы взяли над ним шефство еще при дяде Саше. Его ломало, и он несколько раз принимал дозу, но в доме Ряпосова (особенно после того, как мы узнали его историю) держался: мы постоянно напоминали, что его ждут родители. Видать, он не успел еще сильно втянуться в это дело, так как вскоре смог обходиться без этой заразы без видимых мучений.

Забегая вперед, скажу, что в мае месяце, когда пришла пора подаваться нам на сплав, мы провожали его домой уже другим человеком, уверенным в себе, прилично одетым, веселым и счастливым. На прощанье я подарил ему свои часы, чему он был чрезвычайно рад, так как хотел иметь какую-либо вещь, связывающую нас. Позже, в Казани, я получил от него письмо, где он горячо благодарил нас от себя и от родителей за то, что помогли ему выбраться из той ситуации, в которой он оказался. Помню, я был очень тронут и очень счастлив: далеко не всегда жизнь подсовывает возможность оказать действенную помощь.

Что-то мы давно не были на комбинате. А там все более жизнь приобретала бурный характер. Мы как-то сразу оказались в центре внимания. Шатались по всем цехам и по долгу службы и просто так, и каждый раз нас с головы до ног окатывало свежей, чистой волной девичьих улыбок, теплом девичьих сердец. Мы не оставались в долгу и платили девчатам той же монетой, перекидывались шутками-прибаутками. У нас вообще было такое ощущение, что мы попали в цветник, в оазис. Вот пишу и боюсь, чтобы не усмотрели в моих словах даже намек на пошлость. Но в силу бедности лексикона, не могу подобрать других слов. Нет, действительно, Соликамский пищекомбинат представлял собой оазис среди пустыни. И уж, конечно, не потому, что мы там появились. Он был оазисом и до нас и являл собой дружный рабочий коллектив, где мы ни разу не слышали не то что ругани, но даже грубого слова. Уверен, что такую сердечную обстановку в этом молодом, преимущественно девичьем коллективе (кроме нас, грузчиков, были, конечно, и другие мужчины: механики, слесари и др.) создала за два-три года Надя – директор этого предприятия, выпускница Пермского сельскохозяйственного института. Я видел (довелось присутствовать), как она спокойно и уверенно проводит планерки, как доброжелательно беседует с людьми, видел и чувствовал, как уважают ее руководящий состав и рядовые работники. А мы только внесли в этот коллектив некоторое оживление, некую живую струю. Организовали, например, художественную самодеятельность и стали готовить концерт к 1 Мая. Устраивали вечеринки либо в доме Володи Ряпосова, либо на дому у кого-нибудь из девчат. И дурачились, конечно, от избытка чувств.

Помню, на одном из таких сабантуев я ни с того ни с сего объявил в перерыве между танцами, что испытываю острую жажду и желаю выпить из горла бутылку водки. Так в чем же дело: хочешь пить – пей, зачем же делать громкие заявления? Так нет – надо выпендриться. Со мной такое бывает: стукнет в голову продукт деятельности некоего органа и... как говорят, – со всеми вытекающими... Умные и сердобольные люди отговаривали, как могли, но образумить голову, когда там вместо мозгов сами знаете, что – не представилось возможным. Посыпались советы: перед смертельным номером съесть полкило сливочного масла. Позвольте, но куда же после этого вливать драгоценную жидкость? да и какой эффект? – только продукт переводить... Водка, конечно, была выпита, и поскольку я, к удивлению болельщиков, не упал

замертво и даже после шутовского номера еще и танцевал, притворяясь тверёзым, то друзья мои потихоньку успокоились.

А Володя Шулев, сытно покушавши, сладко спал в это время в соседней комнате Ряпосовского дома. Но увидев во сне, что пропал не за понюх табаку дефицитный напиток, вылез из-под теплого одеяла и, как был, в костюме Адама до грехопадения, правда, с фиговым листом на причинном месте, проследовал в банкетный зал и как ни в чем не бывало пригласил на танец самую красивую девушку Соликамска и его окрестностей. И они, грациозные и целомудренные, совершили вихревой тур. После чего Володя, не выходя из сомнамбулического состояния, невозмутимо удалился досматривать прерванные сны... Как видите, скучать было некогда. Какой там лесоповал! Какое там Тюлькино! До лесосплава никуда мы отсюда уезжать не собирались, из головы даже выкинули всяческие лесоповалы.

В один прекрасный день Надя пригласила нас к себе домой в двухкомнатную квартиру, только мы вдвоем и она. Я уже и раньше заметил, что между Надей и нашим Сашей что-то неладно: какие-то невидимые, но вполне осязаемые существа мечутся между ними. А на этом вечере мои наблюдения подтвердились, да они и не хотели скрывать своих взаимных симпатий. Я порадовался за друга: он был *надежным и настоящим*, и Надя это сразу поняла.

От Нади мы узнали, что в Соликамске есть турклуб и что там неплохие ребята, кое-кого из актива Надя даже знала лично. В один прекрасный день мы наведались туда. Сказали, кто мы и откуда и предложили в порядке обмена сделать общий концерт туристской песни, на что ребята охотно откликнулись; рекламу они взяли на себя. В указанные в объявлениях день и час (мы и у себя на комбинате повесили живописно, не без юмора оформленное объявление) мы всей нашей честной Ряпосовской компанией завалились в клуб. Ничего себе клуб, подумал я, не клуб, а настоящий дворец. Неплохо, однако, живут соликамские туристы.

Ребята из оргкомитета и их артисты были уже на месте в артистической комнате, ждали только нас, "заморских гостей". Мурашки забегали по спине, как только я увидел дворец, в котором нам предстоит выступать, а теперь, глянув из-за кулис в зрительный зал, я вообще потерял дар речи, и у меня подкосились ноги: зал был заполнен до отказа. Я последними словами клял себя, что добровольно затеял эту авантюру, а вместе с тем и оргкомитет, не пожалевший слов и красок для живописания нашей популярности и исключительности. Но скажите на милость, куда деваться бедному крестьянину?! Хочешь или не хочешь, а придется петь арию варяжского гостя, а может, индийского, в зависимости от температуры в зале и своей собственной. Как я ни пыжился, соликамцы заметили мой мандраж, и Гена Птицын, председатель турклуба и, по совместительству, Главный архитектор г. Соликамска, поспешил успокоить меня, что, мол, публика у них доброжелательная и что начинать все равно будут они. Я только попросил, чтобы нас представили как можно скромнее и проще (не как в объявлении). Например: туристы из Казани случайно, повторяю, не специально, а совершенно случайно забрели на огонек прямо из марийских лесов, ну прямо от костра – от них еще дымом несет за версту... – что-нибудь в эдаком роде... Гена с понимающей улыбкой заверил меня, что у него есть небольшой опыт предъявлять гостей публике и что все будет окей. Почему-то я ему поверил, и мне сразу полегчало. И действительно, он представил нас так тепло и с таким неподдельным юмором, на что у меня не хватило бы ни запалу, ни фантазии.

Но это было потом, а пока на сцену вышли соликамцы, человек пять-шесть. Гена сказал короткое приветственное слово, и они запели. Они пели *свои* туристские песни, песни вчерашних студентов прославленного Уральского политехнического института (сокращенно – УПИ), и как пели! В песнях этих не было ничего надуманного, в них не было излишнего пафоса и лирического нажима, в них не было спекулятивной игры на душевных струнах и заигрывания со зрителем, в них не было педалирования чувств, – в них все было испытано и пережито теми, кто их исполнял. Все остальное, присущее жанру туристской песни, в них было – и было с избытком. В них были *свой* стиль, *свой* почерк, *свои* образы и метафоры, характерные именно

для УПийцев. Чего только стоят такие строки: "По тропиночке узкой на северо-запад низко вытянул стланик мохнаты лапы..." – в двух этих строчках столько информации! и все достоверно, и ничего лишнего. Сразу понятно, что это Дальний Восток, раз стланик (низко стелющиеся и густо переплетенные между собой ветви хвойного кустарника), и это не просто созерцательное, красивое описание редкого элемента природы, здесь прямо сказано, что стланик своими мохнатыми лапами вылез на узкую тропу и сделал ее непроходимой, а значит, надо сквозь него прорубаться. Я хоть и был на Дальнем Востоке, но не в походе и стланика не видел. Зато в походе на Камчатке побывал мой сын Андрей и говорил, как им вдвоем с тезкой из Владивостока приходилось прорубаться сквозь такой стланик, и, поверьте, мероприятие это не для слабых. А следующая строка вызывает у меня сердцебиение от радости, связанной с предчувствием долгого пути: "и дорога под сердцем моим застучала..." А здесь тревожное состояние путника передается природе: "в тишине камыши осторожно вздохнут". А в этих строках по настроению зверя мы не только понимаем, что ему не повезло с рыбалкой, но и догадываемся об адекватном состоянии наблюдателя: "недовольный медведь над водою склонится, капли с морды дремучей в ручей упадут..." А вот слова из шуточной песни, хорошо передающие не только состояние усталости, но, самое важное, глубокую благодарность организму, что вывез, не подкачал: "ой, ноги, милые вы ноги, позвольте руку вам пожать..." Как это знакомо, и как это точно! Песни эти погружают не в выдуманный, приправленный сладкой эйфорией мир, а в реальный мир суровой, но бесконечно прекрасной природы, в мир настоящей дружбы и настоящих чувств, без которых нельзя, да и не хочется жить. Какой бесценный урок я получил от этих ребят и от этих песен и какой урок и опыт мне еще предстояло получить в походах с этими ребятами. Потом я узнал, что некоторые из этих песен сочинил Гена Птицын. Ценно было и то, что многие из зала подпевали ребятам на сцене.

Я настолько увлекся и настолько был захвачен этими песнями, что, когда нас объявил и представил Гена, мы вышли как ни в чем не бывало и продолжили на той же волне. Сначала мы пели втроем старые, наиболее известные и популярные песни Вихорева, Городницкого, Кукина, Визбора, Высоцкого, и нам подпевал зал. Потом Володя с Сашей ушли, и я стал петь песни, более свежие, которые большинство в зале не знало и не слышало (всё же Соликамск далече от Москвы, Ленинграда и Казани, где эти песни преимущественно и рождались): Визбора, Окуджавы, Вахнюка, Егорова, Клячкина, Кима, Галича и больше всего Бокова, о котором, разумеется, здесь не слышали и песни которого сразу полюбили. Я обещал ребятам устроить Валерин концерт в Соликамске и обещание свое выполнил, тем более что это не стоило мне ни малейшего труда. Оргкомитет сделал Бокову официальный вызов с компенсацией всех издержек, он приехал, с триумфом выступил и навсегда покорила сердца жителей этого замечательного города. Валера, в память об этом концерте, написал на деке своей гитары: "Соликамск – 1968".

Но это было потом. А пока меня не отпускали со сцены. Правда, я и сам не хотел уходить. Обычная история: сначала на сцену не затащишь, ибо коленки дрожат, а потом не выгонишь, ибо дрожь прошла, но на смену ей пришло нахальство. Но я не вру: меня действительно не отпускали. И дело, разумеется, не в моем исполнительском искусстве и тем более в аккомпанементе, который был весьма примитивным, а в водопаде злободневных песен, который я на них обрушил. Я смотрел на Птицына, сидевшего в первом ряду, но он, хорошо понимая мое недержание и желание облегчиться от бремени, кивал мне, что, мол, пой, Вася, пой! Ну тогда... щас спою... И пел до потери сознательности, да вот непонятно, чьей. ...Концерт шел шесть! часов и закончился за полночь.

С этого вечера началась наша дружба. По выходным мы с ребятами ходили в походы. Даже эти непродолжительные походы воскресного дня отличались от наших и по духу, и по организации, и по некоторым техническим деталям. Наши были организованы по стилизованной военизированной форме и имели соответствующую иерархическую структуру (раньше я

упоминал об этом): начальник – пол-литрук – завхоз. И хоть стиль этот и структура были в достаточной степени нарочитыми, все же это было наивно (если не сказать, смешно) и как-то по-ребячьи. Ребяческими, карнавальными были и надуманные нами, притянутые за уши из популярной литературы ритуалы и перевоплощения: то мы подражали индейцам и мушкетерам, то косили под пиратов и троплодитов. Да и песни пели по-ребячьи. Мы, не испытывавшие того, что содержалось в серьезных туристских песнях, то надувались, как индюки, тужась влезть в шкуру персонажей, то погружались в вязкую, приторную, сентиментальную атмосферу песен, которой там не было, то экзальтированно и страстно уносились в виртуальный мир, о котором и понятия не имели. И юмор у нас был какой-то тяжеловатый, искусственный.

Ничего подобного не было у соликамских туристов. Невооруженным глазом было видно, что они прошли серьезную туристскую школу, и им не нужно было проживать в походах и в песнях вымышленную жизнь, не нужно было генерировать в себе суррогатные чувства. И в организации не было ничего надуманного. В коротких походах выходного дня не видно было, чтобы кто-то кем-то управлял, кто-то кому-то давал указания. Всё шло своим неспешным чередом, без всякой суеты, легко, непринужденно и весело, каждый отлично знал, что ему делать. Да и в серьезном, достаточно тяжелом четырехдневном походе на 9 Мая, где приходилось то весь день идти по болоту по щиколотку в снежно-ледяной воде, проваливаясь иногда по колено, то тащиться по скользкой горной тропе, в котором нам с ними посчастливилось побывать, не чувствовалось никакого руководства. Вместе с тем мы знали, что есть руководитель, который за все отвечает и слово которого – закон для всех, есть врач, медикаменты, и, значит, есть уверенность, что все будет в порядке.

Если хотите почувствовать организацию, ответственность и дух серьезных туристских походов, я отправлю вас в группу известного всем Дятлова, гибель которой на перевале до сих пор остается загадкой. Кстати, Юру Юдина, который был членом этой группы и которого по болезни отстранили от похода, я прекрасно знал, так как он был в составе нашей дружной соликамской компании, и мы с ним съели если не пуд соли, то полпуда уж точно. Мы научились у ребят также простым, чисто техническим вещам. Они часто брали с собой в зимние походы печку-буржуйку, а керогаз или спиртовку – обязательно. На ночлег устраивались в одной большой шатровой палатке, ложились в спальниках головами к центру палатки, а ногами к периферии, образуя что-то вроде солнца. Использовали ряд нехитрых, но очень удобных приспособлений, делающих туристский быт более комфортным.

Кроме Гены Птицына и Юры Юдина, в памяти остались семья Воротниковых (Слава, Люся и их самый активный и преданный туристской стихии трехлетний сынок Вовка) и три девчонки: Лариса, Тамара и Аннушка. С этими тремя девочками у нас завязалась нешуточная дружба. Жили они в трехкомнатной квартире-общежитии. Как вы, надеюсь, уже заметили такая квартирная модель общежитий вообще практиковалась в тех местах. Лариса с Томой были, как и многие из туристской братии, из Свердловска, только Лариса из УПИ, а Тома, если не ошибаюсь, из финансово-экономического института. Аннушка же окончила инженерно-строительный институт (может быть, Пермский?) и работала на стройке прорабом. Девчата были очень дружные – не разлей вода, веселые и бойкие. С каким тонким юмором они пикировались между собой и как точно и метко поддевали нас при случае! Как-то мы с Володи Шулевым засиделись у них допоздна, остались ночевать, а потом и вовсе переселились в их живое, уютное гнездышко, благо, места было предостаточно: мы с Вовкой в одной комнате, девчата в другой, зал и кухня общие. Сколько мы песен перепели, сколько разговоров переговорили, какими простыми, естественными, целомудренными и родными были наши отношения!

Летом девчата вместе с Птицыным, Воротниковым и Юдиным (руководителем, кажется, был Слава Воротников) должны были уйти в поход на Камчатку в знаменитую Долину Гейзеров. Ребята предложили нам составить им компанию, но мы отказались: нас ждал лесосплав.

Прямо с маршрута ребята прислали открытку с видом курящегося вулкана и краткий репортаж. Тогда только до меня дошло, от чего я отказался. Такое бывает раз в жизни! Зато там побывал мой сын Андрей и даже спускался в кратер этого вулкана, что категорически запрещено. И медведя видел, правда, в отдалении. А девчата, Лариса с Аннушкой, как-то зимой приехали к нам в гости в Казань, и мы вместе сходили в марийские леса.

Прежде чем отправиться на сплав, хочу предложить читателю еще один эпизод, свидетельствующий о том, насколько всё контрастно в тех местах, где нам довелось побывать. Как-то я был в гостях у кого-то из соликамских туристов и возвращался через большой темный парк. Вдруг услышал за спиной угрожающий топот бегущих ног. Я занимался легкой атлетикой и спокойно мог убежать от преследователей. Но в моей утробе сидел некто, не позволяющий это сделать. Вряд ли я успел сообразить, как мне поступить, скорее всего, это произошло интуитивно. Я был собран и сосредоточен и готов ко всему. Почувствовав дыхание на своем затылке и услышав храп над ухом, я резко обернулся, так что преследующий, чуть не налетев на меня, встал передо мной, как лист перед травой в сказке про Сивку Бурку. От неожиданности он ничего лучше не мог придумать, как выпалить: "Дай закурить!" Я внешне спокойно, но не без внутреннего напряжения достал сигареты и протянул одному и другому, держа обоих в поле зрения. После чего повернулся и пошел своей дорогой. Вот такая резкая перемена декораций: только что сидел в кругу друзей в расслабленном состоянии, и на тебе – такой стресс!

Во второй половине мая, когда Кама полностью очистилась ото льда, мы наконец достигли основной цели нашего паломничества: прибыли в Тюлькино – центральный участок лесоразработок и лесосплава в верховьях Камы. Лесоразработки там не прекращаются ни зимой, ни летом, а лесосплавные работы только начали разворачиваться. В конторе КЛС (Камский лесосплав) нам сказали, что сейчас основная задача – транспортировка леса по Каме до камского устья и сдача его волгарям (Волжскому лесосплаву) в конечном населенном пункте Соколки. Емкие, фундаментальные слова "Камский лесосплав" содержат в себе и могущественную организацию, и мощный процесс, требующий концентрации сил и ресурсов.

Мы на всякий случай (для очистки совести, что ли, ибо сами же решили, застряв на пищекомбинате, лесоповал проигнорировать) поинтересовались насчет лесоразработок. Авторитетное начальство КЛС успокоило нас, что, мол, новичков сразу на валку леса никто не поставит, а определяют в бригаду сучкорубов, выдадут большой топор с длинной ручкой и – вперед на сучки! Намашешься за смену до потери пульса, свалишься, как труп, а наутро всё по новой. И за всё про всё – 100 рублей в месяц.

А у нас работа интеллигентная, не пыльная, вам даже пальцем не придется пошевелить. И только таким передовым людям, как вы, титанам мысли и инженерам человеческих душ мы можем доверить такую ответственную работу. Да мы только аванс выдадим вам 100 рублей! Перед таким авансом, весьма трудно было устоять (у нас стипендия 35), и мы согласились отдать лучшие интеллектуальные и прочие наши силы Камскому лесосплаву. При этом мы почему-то забыли, что именно от такого рода деятельности мы и убежали и что главный вектор нашего интеллекта и наших душевных сил был направлен именно на то, чтобы забыть про всякий интеллект и про всяческие душевные силы, чтобы сосредоточиться на самых грубых проявлениях и потребностях организма: повалить дурака, поиграть мускулами и пожить по принципу: сила есть – ума не надо. Вот так человек, считавший себя прогрессивным и целеустремленным, продает мечту за эфемерный блеск сверкнувшей монеты. Совершенно напрасно предупреждали нас, что люди *гибнут* за металл.

Нам выдали обещанный аванс, поселили в общежитии, и мы лихо гульнули во славу и процветание Камского лесосплава. Официально должность наша называлась – "плутагент", но в народе нас прозвали "плутагентами", что, на мой взгляд, больше отвечало характеру работы и характеру работников. Не зря говорят, что народ всегда прав.

Чтобы понять всю специфику нашей агентурной работы, нужно сначала познакомить вас со всем КЛСовским хозяйством и пояснить, какие существуют способы сплава леса и что представляет собой плот при буксирном лесосплаве. Признаюсь, что я представлял себе лесосплав буквально, как сплав на бревенчатом плоту по бурным рекам с порогами, а себя – управляющим этим плотом с помощью длинного шеста. Как в водном туризме, только задачи разные. Насколько я знаю, в то далекое время лес таким романтическим способом не транспортировали. Тогда было два основных способа сплава: молевой и буксирный. При молевом используется естественное течение реки, то есть бревна сбрасываются в реку, и они плывут до пункта назначения, где их вылавливают баграми или более сложными приспособлениями и механизмами. Таким непосредственным способом сплавляют лес, как правило, на камских притоках, где большому буксиру и даже катерам маневрировать либо затруднительно, либо невозможно, т. е. на участках с быстрым течением и с изобилием крутых и частых изгибов реки (криулей).

А чтобы объяснить буксирный способ, нужно рассказать, как из бревен формируется плот для буксировки. Бревна, прибывшие в сплавной пункт молевым сплавом, сортируют по виду древесины и по длине (на Каме было тогда два типоразмера: 4,5 и 6 м) и загоняют в так называемую *Сетку*, специально огороженные бревнами ячейки на воде. Когда в ячейке накапливается достаточное количество бревен, они с помощью механизмов, установленных на катере, увязываются в *пучки* диаметром 1,5 – 2 м специальными борткомплектами (комбинация из троса, цепи и замка). Затем эти пучки буксируются катерами на *Участок сплотки*, где они группируются в большую конструкцию, называемую "шлюзуемая" и имеющую размеры стандартной шлюзкамеры на ГЭС: 30 x 240 м. И, наконец, четыре таких секции увязываются в конструкцию основного плота размером 60 x 480 м. Вот эту конструкцию и транспортирует буксир. По Каме буксировались только четырехсекционные плоты, а на Волге число секций в плоту доходило до двенадцати. В то незабвенное время буксиры были двух типов: колесный пароход, питающийся углем, и теплоход, предпочитающий солярку (по-нынешнему – дизельное топливо).

В чем же состояла миссия плотажента? Коротко: мы принимали плот в верховьях Камы, сопровождали его до конечного пункта Соколки и сдавали представителям Волжского лесосплава. За что мы отвечали? Зоной особой ответственности являлась система обвязки плота: борткомплекты, тросы, цепи и замки (все-таки металл). При приемке плота мы все эти железки обсчитывали, а также считали количество пучков, которые почему-то назывались грузоединицами, и заносили всё это в Акт приемки. Вот в этом документе (всего один лист) и содержалась вся наша ответственность. При отправлении нам вручалась, кроме того, огромная, увязанная шпагатом кипа бумаг, которая, насколько я помню, называлась "фактурой", в которой содержались сведения о древесине и которую мы просто передавали на конечном пункте приёмщику из рук в руки.

При сдаче плота процедура пересчета "железок" и пучков повторялась и составлялся аналогичный Акт сдачи. Должен сказать, что искусство плотажента в том и состоит, чтобы увидеть все увязочные металлические детали и предъявить приемщику. Уверяю вас, это не всегда просто: иногда приходилось лезть в воду и даже подныривать под бревна, чтобы показать вредному приемщику хвост цепи или троса. Он на этом собаку съел и не одну и хорошо знает, что деталь там, под водой, *есть*, но ему надо "предъявить в натуральном виде". А иначе: "Я ничего не знаю!" или еще короче: "Не вижу". А пучки считать нетрудно, даже если некоторые из них притоплены и находятся под водой. Если цифры в двух Актах совпадают, такое бывает весьма редко, или расхождение незначительно, то к законной зарплате прибавлялась солидная (или не очень) премия, причем еще раз повторяю, что железки ценились значительно выше древесины. Премию могли выдать даже при недостатке одного-двух пучков, а это сотни бревен.

На буксире плотажент был вторым человеком после капитана, ему выделялась отдельная комфортабельная каюта. Обратно можно было возвращаться на том же буксире, но не знаю

случая, чтобы кто-нибудь пользовался этим избыточным комфортом и возможностью расслабиться, как в доме отдыха. А на прямой дороге, при буксировании плота, мы что, уголь кидали в ненасытную пасть парохода? Чем мы занимались, как не отдыхом в чистейшем виде, но об этом еще будет время рассказать. Все обычно спешили обратно за следующим плотом, а чаще – двумя, тремя, а то и четырьмя, прыгая с одного быстроходного судна ("Ракета", "Метеор") на другое и, как правило, бесплатно или, в крайнем случае, по детскому билету до ближайшей остановки. В то легкомысленное, летучее время таких быстроходных СПК – судов на подводных крыльях – по рекам Советского Союза сновало видимо-невидимо: туда-сюда, туда-сюда.

В этой связи памятен один курьезный случай, о котором еще долго гуляла молва по всей Каме. Шли мы как-то вверх с ребятами из Йошкар-Олинского политеха. Трое из нас, как обычно, договорились с капитаном "Метеора" (некоторых знали в лицо): "Кеп, возьмешь бедных плутагентов на борт?" – "Нет базара – садись!" – был короткий ответ. А Валера – гордый человек огромного роста, с черной, как смоль, бородой – взял детский билет до ближайшей остановки в глубоком заливе, куда нужно делать большой крюк и куда судно заходит, только когда есть пассажиры в этот пункт. Мы предупреждали его, чтобы взял билет до следующей за заливом станции, что дело пахнет керосином. Но Валера, человек крайне принципиальный, сказал: "Еще чего, буду я платить лишних 10 копеек". Обогнули длиннющий мыс, причалили... – никто не выходит. Капитан по громкой связи пассажирам: "Посмотрите, тут должен сойти ребенок, может, уснул..." Никакой реакции, не хочет ребенок выходить и всё тут. Капитан еще раз, грозно: "Третий раз спрашиваю, кто ребенок, который должен здесь сойти?!" Встает Валера во весь свой огромный рост и густым боцманским басом на весь теплоход спокойно оповещает: "Я ребенок, а в чем, собственно, дело?" Капитан сказал ребенку на прощанье: "Высаживаю принципиально. Что, не мог подойти по-человечески? Будешь сидеть здесь двое или трое суток, вряд ли в эту дыру раньше кто-нибудь заглянет". Но не такой был Валера человек, чтоб сидеть, как Робинзон, на необитаемом острове. Его подбросили на моторке до более популярной станции, и он вскоре нагнал нас. Правда, обошлось это ему много больше 10-ти копеек. Зато родил легенду и не уронил достоинство гордого и независимого плутагента.

На сплавной рейд мы прибыли рановато (плоты еще не были готовы), зато первые: не надо было становиться в очередь за плотами. Чтобы быстрее войти в курс дела, нам посоветовали познакомиться с технологией сборки плота на Сетке и Участке сплотки, что мы и сделали. Остальное время были предоставлены сами себе. Днем бродили по поселку, вымощенному довольно высокими деревянными тротуарами, и я вспоминал песню Городницкого: "А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы..." или Симонова: "В домотканом, деревянном городке, где гармоникой по улицам мостки..." Весной в половодье по поселку плавают на лодках, и мы еще застали это венецианское водостояние домотканого городка.

По вечерам в общежитии выпивали с новыми знакомыми, пели блатные песни; кое-что узнавали про них. Например, что сами они вчерашние зеки, перебиваются случайными заработками и кое-чем промышляют. Погуляют на воле некоторое время, залетят и снова сядут. И так многие здесь. Судьбы были в чем-то разные, в чем-то похожие. Похожие тем, что никто не хотел садиться, что жизнь в лагере для большинства – ежедневное хождение по краю пропасти, по острию ножа: далеко не все – воры в законе, паханы и авторитеты. Как правило, все были сентиментальны, любили тягучие жалостливые песни и слушали их со слезами на глазах. Все жалели о прежней жизни на "большой земле", на "материке".

Запомнился один парень и его печальная история. Среднего роста, худой, с не по возрасту мальчишеским (ему было около тридцати лет), симпатичным и совсем не зековским лицом. Он, будучи ленинградским студентом, пырнул из ревности ножом своего соперника и на семь лет отправился охлаждать разгулявшиеся страсти в лагерь строгого режима. Он рассказывал свою трагическую историю, рыдая не столько оттого, что пришлось с избытком хлебнуть лагерной баланды, сколько от безысходности, что ничего нельзя поправить, ничего нельзя вернуть...

Были и отъявленные негодяи, которым зарезать человека, что, как свидетельствует народная мудрость, два пальца ... Как правило, они были трусы и борзели (сказал бы покрепче и точнее, но формат не велит) только под покровительством сильных и наглых дружков. Вот характерный случай, который произошел гораздо позже, следующим летом, когда мы разнесли по всей Казани весть о романтической профессии плотажента и когда за нами потянулся целый шлейф искателей приключений. Среди них был и студент нашего факультета – некто по прозвищу "Чика". Небольшого роста, плотный, какой-то нервный и резкий в движениях, с неприятно бегающими зенками, он производил жалкое, отталкивающее впечатление. Татарин по национальности, но весь черный и волосатый, он был похож на кавказца, и они принимали его за своего. В Тюлькино в общаге он перед всеми заискивал и, мне показалось, даже подчеркивал свое ничтожество.

В это же время на рейде появились кавказцы. Не знаю, какой они были национальности – мы их называли просто "черные", – но это была дружная и беспощадная банда. Среди бела дня я куда-то шел с гитарой. Эти веселые ребята, большие любители пошутить, попросили у меня гитару "поиграть" и как ни в чем не бывало пошли с моей гитарой своей дорогой. Я – за ними вдогонку: "Хорош шутить! Отдайте гитару!" Они, в искреннем недоумении, – буквально следующее (как сейчас помню): "Слуший, друг. Гитару мы тэбэ дать нэ можем, что-нибудь другое мы тэбэ сделать можем!" И пошли, совершенно уверенные в своей правоте. Больше я своей гитары не видел.

Они сразу взяли Чика под свое вороное крыло. Чика поднял хвост, стал ходить гоголем и всех задирать. Один зек попытался урезонить его, Чика выхватил нож (в коридоре было темно) и уложил видавшего виды урку наповал. Этого мерзавца посадили на ночь в КПЗ здесь же в Тюлькино. Так "черные" ночью сорвали с КПЗухи все замки (дежурный милиционер бежал) и "освободили" своего говенного дружка. С тех пор Чика никто не видел. В институте он не появлялся, думаю, что в Казани у родителей – тоже.

Вернемся в настоящее время и продолжим этнографическую летопись. Аборигены, что живут в поселке в своих домах, тоже вчерашние или позавчерашние зеки, но осевшие, остепенившиеся. Однако жесткие: палец в рот не клади. Очень скоро (через пару дней) нам представился случай испытать их суровый нрав на своей собственной шкуре, а несколько позже (через месяц приблизительно) мы чуть было не оказались свидетелями настоящей баталии между местными и пришлыми с применением огнестрельного оружия (хорошо, что не пушек и пулеметов), опоздали всего на день. Мы узнали, что такое здесь периодически случается. В выигрыше оказываются местные, ибо крепко держатся друг за друга. Жить им в цивилизованных городах нельзя, да они и сами не хотят, здесь им привычнее.

От собутыльников же в общаге узнал, что на *лесоповале* можно прилично заработать, но очень трудные условия: нужно вкалывать на полную катушку, мошка поедом ест и пить нельзя – сухой закон; что есть одна блатная летучая бригада, которую бросают на самые выгодные участки (в основном рубят просеки под ЛЭП), щедро снабжают техникой и жратвой и которая зашибает крупную монету. Легка на помине, эта бригада через пару дней и нагрянула в общагу на передых, а заодно и водочки попить. За выпивкой мы коротко познакомились. Им, видать, понравились мои песни, и бригадир предложил мне заменить их ушедшего товарища; сказал, что я им подхожу. Я высказал свои сомнения, смогу ли, "Дружбу" (бензопила) в руках никогда не держал. Кроме того, сказал, что нас трое, не могли бы они взять моих друзей. Бугор усмехнулся: работать научим, а друзей взять не могу: место только одно (их было пять или шесть человек). Пришлось отказаться, а соблазн был большой: хотелось испытать себя.

Как-то днем иду по поселку, а навстречу развязной блатной походкой – стая девиц, человека четыре. Окружили меня и давай изгаляться: "Тю-тю-тю... А кто это к нам приехал? Да откуда ты такой молоденький взялся?" – и ощупывают меня похотливыми зенками, будто шарят под одеждой шаловливыми ручонками, и всё это приправлено отборным матом и цинич-

ными смеху...ми. Я уже прошел школу матерщины из женских уст, к тому же мне было не до смеха. Я порядком струхнул, так как слышал, что с голодными девками в этих местах шутки плохи. Но как-то взял себя в руки и даже смог переключиться на их фальшивый, игриво-развязный тон. Короче, я удовлетворил их любопытство, сказал, что нас трое, что мы свободные художники и, по совместительству, бродячие артисты, и тут же был приглашен в их общежитие на ужин вместе с друзьями.

Саша Жевнов не очень был расположен идти к девицам. Он заметно нервничал последнее время, и я догадывался, почему: сидение и шатание без дела порядком надоело, в то время как все его мысли были *там*, с Надей. Какое-то время, перед тем как уехать на сплав, мы жили, как я уже говорил, с девушками, Ларисой, Тамарой и Аннушкой, и Саша как-то не очень четко прорисовывался в поле нашего зрения. На пищекомбинате он почти все время пропадал в кабинете директора или ездил по поручению Нади экспедитором: либо за сырьем, либо сопровождая продукцию до места назначения. Мы понимали, что ситуация у него пожарная, и легко обходились без его помощи, тем более что работа не бей лежачего. Мы так же были уверены, что последнее время он жил у Нади. Тем не менее он пошел с нами.

К моему большому удивлению, девушки встретили нас радушно, как и положено рачительным и хлебосольным хозяйкам: накрыли довольно-таки приличный стол даже для этих захламленных мест. Я всё не переставал удивляться произошедшей с ними перемене: куда девался тот напускной флер, та томная вуаль, тот блатной налет, которыми они так ошарашили меня при встрече. И без мата они, оказывается, спокойно могли обходиться. Не помню, чтобы я когда-нибудь еще видел такое разительное перевоплощение. Это были общительные, не без юмора девчонки, которым был понятен, интересен и даже близок тот мир, в котором жили мы, мир наших песен, наших увлечений, образ мыслей. Были заметны и ностальгия, и грусть по желанному, но потерянному раю, по знакомому, но утраченному миру – миру, где остались друзья, родные и близкие люди. Я догадался, что та напускная бравада, с которой они встретили меня, была не столько стремлением соответствовать статусу, который им присвоили, сколько криком отчаяния. Они прибыли сюда из Москвы и Ленинграда не по своей воле, с квалификацией "девицы легкого поведения", которую не так уж и трудно было получить и которую блюстители нравственности и чистоты охотно присваивали всем, кто порочит высокое звание советского человека.

Я тогда впервые встретился с феноменом, когда непричесанных под общую гребенку граждан произвольно перемещали по просторам Великой страны. Позже, когда я узнал, что Иосифа Бродского сослали в д. Норенская Архангельской области в 1964 году с клеймом "тунеядец", я понял, что эта практика избавляться от инакомыслящих и инакоживущих была обычной в моей стране. Девчат было жалко, хотя жалости они не вызывали, старались быть веселыми и беззаботными. А там поди разбери, что творилось в их осиротевших душах, в их исстрадавшихся сердцах. Это был приятный и теплый вечер и вместе с тем один из тех редких вечеров, когда серьезно задумываешься о людях и судьбах и, конечно, о себе: что *есть ты* в этом сложном переплетении дорог, судеб, обстоятельств и перипетий. ...Вечер тот оставил в памяти моей и организме глубокий след.

Возвращались мы в свою общагу поздним вечером. Саша, казалось, стал еще раздражительней и, проходя мимо какого-то дома, в сердцах пнул ногой калитку. "Что, мешает она тебе?!" – послышался грозный глас из темноты. "Да пошел ты!" – огрызнулся Александр. А далее, как в сказке, свистнул молодец богатырским посвистом, и, откуда ни возьмись, как из-под земли, появились молодцы и давай нас бутузить. Можно было запросто слинять, но Сашка встал, как лось, у забора, напряг все свои жилы и пошел отмахиваться. А меня сбили с ног, заехали сапогом в горло и... – не могу вдохнуть, не идет воздух через горло. Вот и всё, вот и конец, как-то спокойно подумал я. Так вот он какой – конец, так просто... И совсем не страшно... и не больно... А легкие, независимо от моей воли, совершали спазматические кон-

вульсии. Воздуха хотят, подумал я... Кажется, прошла вечность... И вдруг – слабый, натуженный, скрежещущий свист: надо же, воздух пошел, удивился я. Потом так же с большим трудом, но больше, больше, потом – жадно, но всё еще со свистом; но это был уже другой свист, и до меня стало доходить, что этот свист возвращает меня к жизни... но я также понял, что воздуха недостаточно, что надо втягивать его экономно, спокойно, и, главное, – не паниковать...

Потом я увидел Володю и Сашу, склонившихся надо мной и что-то говоривших. Я как-то дал им понять, что всё нормально, что не надо меня тормозить, поднимать, что мне надо восстановить дыхание... В то же самое время я обрадовался, и не столько тому, что стал дышать и уже не помру, а больше тому, что в критические минуты был спокоен и не поддавался панике и даже спокойно наблюдал и контролировал все, что со мной происходило. Потом, по жизни, это свойство, не знаю кем в меня заложенное, не раз помогало мне в ситуациях, крайне критических. Я полностью отдавал себе отчет, что стоило мне хоть на мгновение поддаться панике или даже сделать резкое движение, когда уже пошел воздух, – всё было бы кончено. Вместе с тем я точно знал, что кто-то помог мне, что чья-то спасительная длань была распростерта надо мной: не мог я так рационально и выверенно распорядиться крохами, отпущенными мне для возвращения. Когда свист почти прекратился, и я почувствовал, что могу двигаться без всякого ущерба организму, я осторожно поднялся и потихоньку пошел. Ребята пытались меня поддерживать, но помощь была не нужна.

На следующий день терпение Саши Жевнова лопнуло, тоска по Надежде зашкалила, и он отправился в Соликамск на первом же трамвайчике. Я тогда и представить не мог, что больше его никогда не увижу. В институте он не появился, восстанавливаться не стал. Окольными путями дошла до меня весть, что они с Надей поженились и вроде бы уехали в его родной Сарапул. Я все ждал, что в один прекрасный день он появится на пороге нашей комнаты 309, родной так же и для него, или хотя бы напишет письмо, но не произошло ни того, ни другого. И Володя Шулев тоже не имел о Саше никаких вестей. До сих пор не могу поверить, что навсегда потерял верного друга. Нет, он для меня не исчез, не канул в небытие. Сколько живу, он всегда со мной.

Но пока мы с Володей ничего фатального не ждали, и жизнь наша протекала в том же русле, в русле Камского лесосплава. Наша плутагентская рать стала пополняться: прибыли сначала москвичи из МИМО (Московский институт международных отношений) – Саша Качанов и Миша (фамилия русская, простая и потому забытая), потом упоминавшиеся уже в этих записках Йошкар-Олинцы. Москвичи на сплаве не первый раз, речные волки, работали основательно. Брели плот в одном месте (на одном участке больше одного не давали) и, договорившись с капитаном буксира и передав вместе с ним документы, отправляли его (плот вместе с капитаном). Затем так же в другом и третьем; иногда доводилось им собирать коллекцию из четырех плотов, но это – редко. Отправив все плоты, долетали до Соколов на подводных крыльях за несколько часов. Расчет строился таким образом, чтобы успеть к первому плоту, который шел до конечного пункта 20 – 25 дней. На день можно было опоздать, но если больше, поднимался кипиш, плотагента начинали разыскивать, слать телеграммы.

Делали и так: один набирал плоты, прочесывая все участки рейда и отправлял их вниз по течению, а другой в Соколках принимал. А было и такое: шли вместе с плотом, ночевали, как и положено плотагенту, на буксире, а днем, подобно купцам, открывали бойкую торговлю древесиной прямо на плоту, продавали целыми пучками. От государства не убудет, КЛС не обеднеет, а бедному студенту на водку хватит, а может, и на закуску. А если без шуток, последний, криминальный способ, давал самую большую прибыль, да и был более удобным и комфортабельным: сидишь на плоту в удобном кресле, греешься на солнышке, обзереваешь проплывающие мимо тебя красоты и, облюбовав пальцы, шуршишь длинными купюрами. И не надо с высунутым языком носиться по сплавному рейду от Вишеры до Чусовой и подбирать оставшиеся плоты. Один минус – можно сесть, со всеми вытекающими: прощай, престижный

институт, дипломатическая служба, командировки – и часто весьма длительные – за границу; прощайте, друзья, родные и близкие и... здравствуй, Колыма. Когда я напоминал москвичам об этой заманчивой перспективе, Миша, не мудрствуя, ронял замыленную фразу: "Кто не рискует, тот не пьет..." при этом озарял всех и всё вокруг своей светлой, обаятельной дипломатической улыбкой.

Но и легальным способом можно было заработать за сезон от 2-х (две ходки по три плота) до 3-х и выше тысяч рублей (три ходки). А некоторые умудрялись делать по четыре ходки, если прихватывали сентябрь; к тому же конкуренции в этом месяце – практически никакой.

Пару слов о ребятах, которые остались в памяти, и отправимся в наш первый рейс на плоту по Каме-реке, по которой погуляли многие вольные люди и в особенности Ермак Тимофеевич. Чаще всего мы пересекались с йошкар-олинцами и москвичами, то есть вместе жили в общежитиях на сплавных участках в верховьях Камы, когда брали плоты, и в конечном пункте в Соколках, когда сдавали плоты ВЛС (Волжский лесосплав); реже на ГЭС, Пермской и Чайковской, где ждали, пока отшлюзуются наши плоты. Все ребята были классные, дружные, боевые, и о всех остались теплые воспоминания. Саша Качанов заезжал к нам в Казань в конце сентября того же приснопамятного года, возвращаясь со сплава в Москву, и мы даже сводили его в поход в Марийку. Наша дружба с ними продолжалась и после института, изредка мы перекидывались короткими весточками, а Саша Качанов однажды прислал мне открытку из Лондона с видом на Темзу.

Других ребят, к сожалению, не помню даже визуально. Могу только сказать, что в тот год на рейде были студенты из Харьковского авиационного – наши коллеги, из Перми, из Ленинграда и даже из Казахстана, то ли из Петропавловска, то ли из Актюбинска. Вот такая широкая география была представлена на Камском лесосплаве.

Однако пора отправляться в наше первое путешествие по Каме. Мы с Володией Шулевым решили на первых порах не гоняться за длинным рублем, а дать пищу и простор для души: пройти по красивейшей русской реке, где всё дышит историей и преданиями, прочувствовать дух этой легендарной реки, оваянной славой нашего знаменитого землепроходца Ермака Тимофеевича. Володя принял свой плот, благословил его в путь, отдав капитану все документы, и стал дожидаться меня.

На следующий день и мы отчалили. На буксире нашем, теплоходе нового поколения, с его острым носом и стремительными формами, все блистало новизной и чистотой. Чистотой на судах никого не удивишь, будь то морские суда или речные. Эту давнюю традицию мы знаем по фильмам. Чем занимаются матросы на корабле? Правильно: драят палубу. Но не только палуба содержится в идеальной чистоте. В капитанской рубке, в кубриках, в каютах и даже в гальюнах вы пылинки не найдете. А что уж говорить о камбузе, этом святыня святынь любого корабля и любого флота: можете обшарить все углы его (камбуза, конечно) и закоулки с идеальной белизны носовым платком – он таким же идеально белым и останется.

Я говорил уже, что плотажент – второе лицо на корабле; в конечном счете, вся Кама со всеми её судами, водоплавающим и сухопутным людом в весенне-летнюю навигацию работают на империю под названием Камский лесосплав. Капитан принял нас радушно, познакомил с личным составом (помощник капитана, боцман, механик, повар, врач и человек пять-семь матросов) и напомнил, что слово плотажента – закон для всех, а в случаях, касающихся сохранности плота, даже для капитана; показал на карте маршрут следования и пункты шлюзования, коротко ознакомил с правами и обязанностями плотажента и добавил, что о правилах внутреннего распорядка нам поведает боцман.

Боцман – огромный детина: рост – каланча, сажень – плеча, голос – иерихонская труба, выдал нам обоим постельное белье и собирался развести по разным каютам, но мы сказали, что нам достаточно одной, против чего он сильно возражать не стал, но отметил для порядка, что должностным лицам, наделенным такими высокими полномочиями, на которых даже внутрен-

ний распорядок не распространяется, полагается две каюты, а не одна. В отместку он выделил нам такую каюту, которая стоила трех. Эта каюта представляла собой равнополочную букву "Г", в двух полках которой стояли койки, разделенные перегородкой, так что мы с Володей были лишены простого человеческого счастья лицезреть друг друга, а в углу – большой стол.

На судне, кроме камбуза, располагались следующие общественно-полезные помещения: столовая, библиотека, красный уголок и бильярдная; в последней, кроме бильярдного стола, стоял теннисный стол. Совсем даже неплохо, в один голос подумали мы с Вовкой – жить можно. Обстановка на корабле семейная (разумеется, как в хорошей, дружной семье), домашняя. Экипаж небольшой, слаженный, спетый (чуть не сказал "спитый", но вовремя опомнился: на корабле – сухой закон), и мы моментально влились в него, как в свою семью, тем более что знали кучу морских песен.

А камбуз – пуп корабля и центр притяжения всех членов экипажа – это вообще отдельная песня. Наш корабельный повар будто специально поставил задачу не повторять блюд и явить нам свое редкое кулинарное искусство, которую с каждым днем решал всё сытнее, разнообразнее и обильнее. Одно плохо: наши маленькие желудки студентов-плотагентов никак не хотели вмещать огромные порции четырех-пяти блюд, а применить известный способ очищения желудка, учрежденный и используемый римскими патрициями, не решались, боясь обидеть хлебосольного повара. Вот такая дилемма: и съесть не можешь, и оставлять нельзя. Пришлось тренировать желудки, ведь за питание мы не платили ни копейки. Всё щедрый КЛС брал на себя.

В обязанности мои как плотажента (плот всё же был мой, а Володя довольствовался званием "Почетного гостя") входило всего-навсего вечером зажечь на плоту габаритные фонари, а утром – погасить. Для этого мне выделялась большая шлюпка с мотором, которую опускала и поднимала специальная лебедка на электроприводе: нажал на кнопку – и шлюпка вознеслась, нажал на другую – пала на воду. Но поскольку я не мог обращаться с мотором, боцман отнял у меня и этот последний хлеб, не дав себе труд пройти со мной ликбез: "Зачем тебе это нужно? Отдыхай, пока я живой". Так этот верзила лишил меня уникальной возможности раз и навсегда разобраться с лодочными моторами. "А каков результат?" – спросите вы. А таков, что я, около полувека прожив на Волге и имея две лодки, до сих пор не решаюсь повесить на них моторы, ибо не могу запускать их, а если с перепугу и запущу, то не сумею остановить.

Конечно, я если и расстроился, то не очень и, уж во всяком случае, рыдать не стал: на корабле было чем заняться. Мы либо загорали на палубе, устроившись в удобном шезлонге и для солидности держа в руках книгу (иногда вверх ногами), либо играли в бильярд, в котором я кое-что понимал, или в настольный теннис, в котором понимал значительно меньше.

За этими нехитрыми занятиями прошло несколько дней, и мы неожиданно увидели впереди по течению огни большого города. Этим городом оказался старинный русский город Пермь с Кремлем и со старым городом-крепостью, обнесенной кремлевской стеной. Здесь предстояло нам пройти шлюзование, то есть опуститься с высокого уровня Камы на низкий. Для этого плот расчленился на четыре секции-шлюзуемые, и каждая проходила через шлюз-камеру. За плотиной эти секции снова соединялись, и плот шел дальше до Чайковской ГЭС. Процедура шлюзования не очень сложная и занимала несколько часов, но перед плотиной скапливались десятки плотов и приходилось ждать очереди в обширных разливах Камы два, три, а то и четыре дня. А мы в это время купались и загорали на великолепных, изобилующих элементами комфорта и развлечений пляжах, били баклуши в общаге для плотажентов. Надо сказать, что в таких общежитиях на ГЭС скучно не бывает, ибо здесь собирается веселая братия плутагентов всех студенческих стран и континентов и без конца и края льются песни и разговоры.

Разумеется, мы не упустили возможности познакомиться с древним городом, с его богатой историей, с знаменитыми промыслами и с знаменитыми промышленниками, умножив-

шими славу и величие нашей Родины. Я обратил внимание, что по планировке старого города, по его архитектуре, по устройству Кремля и крепостной стены между Пермью и Казанью много общего.

Не укрылось от нашего взыскательного взора и то волнующее обстоятельство, что в Перми больше красивых девушек, чем в Казани. Правда, это взгляд изголодавшихся по женскому обществу морских волков (на корабле нашем даже врач – мужчина) и поэтому вряд ли может претендовать на объективность. Зато мы приобрели опыт личного общения с представителями красивейшей половины человечества, а именно: провели незабываемый вечер в обществе несравненных и несравнимых студенток Пермского госуниверситета.

Очень жалко было расставаться с гостеприимным и красивым городом, но служба есть служба. И мы с Володиёв вно́вь погрузились в домашнюю атмосферу нашего корабля и его дружного экипажа.

...А мимо неспешно плыли небольшие старинные города и поселки, плыли резные деревянные дома, плыли окутанные белым дымом цветущие сады, плыли белые, темные, зеленые, голубые, золотые купола церквей, плыла, казалось, сама история русской православной патриархальной жизни. И чувствовалось, что в этих городах и поселках, многие из которых основал и которым дал имя сам Ермак Тимофеевич, так же неспешно течет привычная жизнь, как она протекала и сто, и двести, и триста лет назад. Иногда бесконечные камские просторы оглашал звон колоколов, навевающий почему-то тревогу и беспокойство; и долго еще разносил эфир по всей земле густые резонирующие звуки; и в них тоже чувствовалось дыхание прежней жизни; и сокрыты были в этих звуках многие тайны русской истории, многие судьбы русских людей; и несли, и разглашали колокола эти тайны по всей Руси... – да вот разгадать их никто не мог. А иногда с берега доносилось стройное пение, и в нем тоже звучали отголоски русской патриархальной жизни. И так остро захотелось мне прикоснуться к этой жизни, такая щемящая тоска навалилась на меня, что проходящий мимо боцман спросил: "Что не весел?" – "Да вот, – кивнул я на берег, – жизнь проходит и всё мимо". Боцман ничего не ответил, но было видно, что он сочувствует мне.

"И плыли б навстречу мне по берегам
Достаточно просто
Деревни, деревни, луга и стога,
Кресты на погостах.
И плыли бы звуки, родные до слез
Над гладью стекольной:
И стрёкот стрекоз, и дыхание гроз,
И звон колокольный".

Эти две строфы песни ленинградского автора Александра Тимофеева как нельзя лучше передают патриархальную картину камских берегов.

На следующий день после завтрака боцман сказал коротко: "Десантируемся на берег. На сборы десять минут". И сердце запрыгало в грудной клетке, как у птенчика, вынутаго из гнезда. Всё вокруг казалось приподнятым, преображенным, торжественным. Торжественно спустили шлюпку на воду, торжественно спустились с борта на борт, торжественно запел мотор в умелых, уверенных руках боцмана, как скрипка в руках скрипача. Маэстро лихо, с полуразворотом причалил к плоту, я так же лихо выскочил на плот и погасил фонари, и мы помчались к берегу, держа нос лодки, как стрелку компаса, прямо на стоящую у самого берега церквушку. Церковь была деревянная и очень красивая: с резными маковками куполов, с резным крыльцом у паперти.

Мы зашли в небольшое деревянное строение рядом с церковью, над входом в которое красовалась вывеска "Чайная" и из которой лилось красивое, слаженное пение. В крохотном

помещении, разделенном надвое прилавком, мы увидели довольно странную компанию, стоящую за столиком, и которая и являлась источником чудного многоголосья. Пели, собственно, трое: крупная полная женщина, таких же габаритов мужчина, только в мужском исполнении с коэффициентом приблизительно 1,3 и маленький щупленький мужичок с кучей, узенькой, но довольно длинной бородкой и в черном монашеском одеянии (мне захотелось назвать его дьячком). Остальные трое или четверо иногда подпевали, а чаще просто слушали.

Наш боцман поздоровался с продавщицей за прилавком как со старой знакомой, перекинулся с ней по-свойски парой фраз и заказал три больших граненых стакана "чаю", то бишь вина на разлив. Мы взяли стаканы с вином, которое, кстати, оказалось необычайно вкусным, подошли к соседнему столику и стали слушать. Крупный мужчина пел раскатистым низким голосом (стаканы с "чаем" на столе подпрыгивали), которому, наверное, мог бы позавидовать сам Шаляпин. Дьячок, напротив, – очень высоким, близким к контртенору. А женщина – низким женским, наверное, альтом. Мне показалось, что я никогда не слышал такого красивого, захватывающего, задевающего самые тонкие душевные струны пения, – так профессионально слаженно, как оркестр, звучал их ансамбль. Но удивительным был не столько их профессионализм (теперь-то я прекрасно понимаю, что так могли петь только певчие церковного хора, коими они, без сомнения, и являлись), сколько то обстоятельство, что пели они в свое удовольствие и получали от пения огромное наслаждение. Это было видно по их спокойным вдохновенным лицам. Исполняли они распевные фольклорные и духовные произведения и русские народные песни, по большей части мне незнакомые. Если песня была мне знакома, я осторожно вплетался в их трезвучие своим робким вторым голосом, которого как раз им не хватало. В остальных произведениях подключался, если были повторы. Они поддерживали меня приветливыми, одобряющими взглядами, и я улетаю на седьмое небо... и выше. И вряд ли нашлась бы такая сила, которая смогла бы меня оттуда достать. Но я же говорил вам, что боцман был ростом с пожарную вышку, он шепнул мне на ухо, что у нас на сегодня большая программа, и мы, распрощавшись с профессиональными певцами и с любителями чая, побежали к своей шлюпке.

Мы высадились на берег в следующем поселке и без предупреждения нагрянули к какому-то боцмановскому корешу. Вопреки моим ожиданиям, кореш не растерялся, а напротив, сильно обрадовался, и через пятнадцать минут стол был накрыт, как скатерть-самобранка. Помню, что было непринужденно и весело. Не скажу, сколько мы культурно отдыхали у хлебосольного кореша, но к шлюпке мы уже не бежали, а шли покачивающейся, как и положено морякам, походкой. Жизнь была прекрасна и удивительна. Мы резво шли за склоняющимся к горизонту солнышком, рассекая разгоряченными лицами воздух, как наша шлюпка речную волну, и, как нам с Володей казалось, вдогонку нашему плоту. Но мы жестоко просчитались. Мы не знали и не могли знать, что кореша у нашего боцмана были равномерно распределены по всем камским населенным пунктам, из расчета: как минимум один в каждом. Так и оказалось: на подходе к следующему поселению боцман резко взял вправо к берегу, и мы не успели опомниться, как опять обнаружили себя восседающими за очередным хлебосольным столом.

К шлюпке мы приползли уже в густых сумерках, а ведь это были чуть ли не самые длинные дни лета. Смутно помню, как Володя невозмутимо, как ни в чем не бывало сидел на носу шлюпки, а боцман бесконечно дергал на корме пускач несговорчивого мотора. Но новенький безотказный мотор, видно, не переносил паров винно-водочного перегара и никак не хотел заводиться. "Не дыши на него, отвернись!" – как мог, старался я помочь мотористу. "Я пробова! – бесполезно! Дыши, не дыши, а придется сесть на весла!" – констатировал боцман. Огромная корабельная шлюпка – это не легкая рыбацкая лодка, ее веслами не сильно разгонишь, даже если у нее на вооружении две пары весел. А куда деваться, плыть-то надо, пора зажигать габаритные фонари: налетит на плот "Ракета" или "Метеор" – беды не оберешься. На

весла сели боцман и Володя, мне не доверили, на что я сильно обиделся и перестал с ними разговаривать. Тем более – не очень-то и мог.

На задворках памяти осталось, что уже в полной темноте нас взял на abordаж какой-то катер, меня, как мешок, перетащили куда-то в утробу катера, уложили на нары, и я моментально вырубился. Из мертвецкого сна меня удалось вытащить только нашатырём и то не с первого раза. Но окончательно в чувство меня привел жуткий озноб и барабанная дробь челюстей – буквально зуб на зуб не попадал – и сопровождалась она каким-то диким, нечеловеческим гудом, исходящим из моего нутра. Не помню, как переключался с катера в шлюпку, но, когда шлюпка, как мне показалось, подошла к плоту, я, стоя на её носу, прыгнул и уже в полете с ужасом обнаружил под собой темную бездну речной воды, а впереди, в нескольких метрах, недостижимый край плота. Не успев толком всё это осознать, я провалился в холодную воду и увидел, как от моих вибрирующих челюстей распространяются волновые колебания. Как ни странно, дрожь моментально прошла, я вынырнул и поплыл к плоту. Пока я, прыгая по бревнам, бегал от фонаря к фонарю (напомню, длина плота 480 м, ширина 60), одежда высохнуть не успела, но согрелся я так, что было жарко.

Рано утром боцман принес мне банку огуречного рассола, к которой я приложился, как к роднику в пустыне. Заботливый боцман спросил: "Ну как?" Я показал большой палец и выдохнул: "Классически! Эту экскурсию я никогда не забуду!" И, как свидетельствует описание наших походов, слово свое сдержал.

Как-то утром боцман зашел ко мне в каюту (я еще спал) и говорит: "Шеф, туристы просыпаются на плот". Он объяснил мне, что это обычное дело, что противопожарную безопасность они гарантируют, и добавил, что нужна моя санкция. Я в чрезвычайно возбужденном состоянии: "Ну как я могу быть против! Я только за! Это же мои братья!" Мы с Вовкой взяли на камбузе сухой паек (чтобы не быть иждивенцами), гитару в охапку и отправились на плот. Туристами оказались студенты из Перми. Несколько дней они шли по Каме на двух байдарках, а потом решили расслабиться на плоту. Быстро затащили байды на плот, поставили палатку, сколотили ящик, насыпали припасенный на берегу песок и разожгли костер. Мы с Володей, понятно, в стороне не отсиживались, принимали активное участие в обустройстве лагеря. Два дня пролетели, как одно мгновение: пели песни в две гитары, загорали, любовались камскими видами.

Чайковский – город, в котором родился великий русский композитор. Здесь нам предстояло взять второй серьезный барьер – Воткинскую ГЭС. Надо сказать, что на этой ГЭС интересная, замысловатая акватория и очень красивая, живописная, изрезанная береговая линия, с множеством бухт и бухточек, с холмами и холмиками, покрытыми редкими разлапистыми соснами, с небольшими, чистыми, бело-песочными пляжиками. В одной из таких бухточек под соснами и укрылось общежитие плотагентов, где мы нашли приют на несколько дней пока будет шлюзоваться плот.

Ну что сказать о Чайковском? Небольшой, довольно-таки чистый город, много воды и зелени. Не могу похвастаться, что мы с этим городом хотя бы бегло ознакомились, даже в музее Петра Ильича не удосужились побывать (была знойная погода, и мы, можно сказать, из воды не вылазили), но впечатление осталось хорошее, несмотря на то что я чуть не оказался добычей стайки девиц, которые рыщут здесь в поисках приключений. И отошел-то от общаги недалеко, побродить промеж сосен. Поясню: в Чайковском (как, например, в Иванове – городе невест) нет предприятий тяжелой промышленности, только легкая, со всеми, как говорят, вытекающими последствиями. Меня предупреждали ребята: не ходи, Ваня, в лес, не пей из лужицы – козленочком станешь, да я не послушался. Самое любопытное то, что я второй раз попадаю в подобную, скажем прямо, сказочную историю. Но видать, не в коня корм.

После Чайковского недалече было уже и до Соколов, где мне предстояло сдать свой маленький плот представителям Волжского лесосплава. Что я и сделал без особых хлопот.

Володя тоже сдал свою посудину, которая терпеливо дожидалась его на стоянке. Здесь сгрудилось таких же посудин видимо-невидимо, он не сразу и нашел свою. Потом мы с ним – бегом наверх, в Тюлькино, прыгая с одного быстроходного судна на другое. Эти суда обычно ходили на небольшие расстояния, сквозных по всей Каме либо не было, либо их нужно было долго ждать, – сейчас уж и не припомню.

Отчитавшись в Тюлькинской конторе и получив зарплату и премию, мы заняли очередь (тут, как всегда в страду, было полно нашего брата; опять выпивоны, байки и истории, которых на сплаве всегда предостаточно, песни и пр. – не хочу повторяться) и помчались на другие участки добывать плоты, т. е. началась обычная беготня в погоне за плотами. Я потом не раз вспоминал наш первый рейс, нашу безмятежную, беспечную жизнь на буксире, наши приключения и связанные с ними впечатления. И не сказать, что мне так уж нужны были большие деньги: и за один первый плот я получил немало. Но такой суетливый был стиль работы у всех, и отставать не хотелось. Где мы только не брали плоты. Мы прочесали все ближние сплавные участки (из них помню только Барановский выше Тюлькино), а один плот я брал даже на реке Чусовой в населенном пункте Верхние Чусовские Городки недалеко от Перми. В заключение рассказа о сплавной одиссее хочу сказать, что я сделал еще две ходки сверху вниз и каждый раз умудрялся брать по три плоты. Был уже конец августа, и мне нужно было возвращаться в Казань, чтобы восстановиться на третий курс (я ведь дал слово отцу). В сентябре меня никто бы восстанавливать не стал.

Подводя итог моим скитаниям, моим хождениям по странам и по судьбам людей, хочу сказать, что это самый богатый событиями, самый насыщенный знакомствами с людьми разных судеб и характеров, самый яркий период моей жизни. И я бесконечно благодарен своим отцам и наставникам, а также моим однокашникам, что подошли не формально, а творчески и смогли найти убедительные основания для моего отчисления. Благодаря им мне приоткрылся неведомый ранее мир – мир одновременно простой и сложный, теплый и холодный, красивый и уродливый, наивный и циничный, но более яркий и контрастный, не столь завуалированный и фальшивый, без двойной морали и потому более понятный, со своими законами и даже со своими понятиями чести. "Есть мир иной, там нету масок, – ужасны лица и без них, есть мир иной, там нету сказок шутов бесполох и шутих. ... Покуда в *этом* вы юлили, едва прищуривая глаз, в *том, настоящем*, вас убили и руки вытерли о вас" (Борис Рыжий).

Но это не отдельный какой-то мир, это тот же мир, та же планета, на которой мы с вами живем, просто это другая сторона её (как две стороны Луны, как две стороны монеты), которой я не знал (и многие не знают, а некоторые и не хотят знать), и я не берусь определить, красивая она или некрасивая, черная или белая, светлая или темная. Я могу только сказать, что я увидел мир, в котором живу, более богатым и многогранным, чем я его знал. Он заиграл более яркими и разнообразными красками, засверкал разными своими гранями. Но важно то, что мир, в который нас как щенков, не умеющих плавать, бросили обстоятельства, заставил о многом задуматься, взглянуть на всё вокруг и прежде всего на себя не сквозь розовые очки, а широко открытыми глазами. Этот мир как фильтр, как лекарство от иллюзий, как вибростенд, помог стряхнуть ненужную шелуху и посмотреть *на себя* трезвым, непредвзятым взглядом. Помог увидеть, что мы плоть от плоти планеты, на которой живем, что это *в нас* темные пятна, а на ней только отражения наших темных мыслей и темных деяний; что, по меньшей мере, глупо, а по существу, непродуктивно делить мир на темный и светлый, а людей на плохих и хороших; что в любом человеке заложено доброе семя и животрепещет Божья искра и что это семя и нужно взращивать, а искре, если уж не умеешь разжечь, то хотя бы не дать погаснуть. А не топтать эти живительные ростки грязными сапогами, как это часто бывает на наших критиканских собраниях, когда из *лучших побуждений* блюстители чистоты и нравственности *публично* копаются в человеческих душах, как жуки в навозных кучах, да еще яростно прикрываются классиками: "Читайте Ленина!" Этими ассенизаторскими процедурами можно только

озлобить, изуродовать человека, а не сделать его лучше. "И ощущаешь Богу равным себя, когда движеньем плавным торжественно, без суеты в чужие вкладываешь раны свои немытые персты" (И. Брейдо). И, наконец, самое главное: всё стало для меня четче и определеннее, я стал смотреть вперед с обоснованным, а не интуитивным оптимизмом: хочешь, чтобы мир вокруг тебя стал лучше, начинай с себя и становись лучше сам.

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.
В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.
Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Так я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.
А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.
Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.
(О. Мандельштам)

Глава 10. На круги своя

"Зачем же мы рвемся сюда, как паломники в Мекку?
Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку?
Мы с прошлым простились, и незачем дважды прощаться.
Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться".
(Ю. Левитанский)
Всего лишь однажды я дважды вошёл в эту реку –
иначе не мог: дал обет одному человеку.

Заложив вираж над Казанью и сделав круг почёта над Казанским авиационным институтом, я пошел на посадку и благополучно приземлился на хорошо знакомом аэродроме 3-го курса 1-го факультета – факультета летательных аппаратов.

Пока меня не было, в нашу 309-ю поселили Лешу Пономаренко и Олега Черемухина. Я устроился на своем обычном месте за перегородкой, и даже прикрепленная к спинке кровати винтовым зажимом лампа моя осталась незыблемой. А это значит, что я был не только восстановлен в студенческих правах, но и снабжен легальным местом в родной общаге. Но почему же тогда в нашей комнате опять оказался перебор "легальных" мест в два человека. Попробуем разобраться. У нас троих (у новеньких и у меня) – железное алиби. В остальных вроде тоже нет оснований сомневаться. Витя Ермаков с Колей Егоровым точно вне подозрений: Витя аристократ, а Коля такой хитрован, что под него даже бульдозером не подкопаешься. Миша Левтеров тоже благовоспитанный, то есть малопьющий (всё пьет и всё мало), к тому же такой авторитет! Главный художник "Самолета". Женька Назаров – член факультетского бюро комсомола и вообще свой в доску и мой лучший друг. Валера Краснов, хоть и не общественный деятель, но ударник учебы плюс человек из глубинки, а значит, морально устойчив и идеологически выдержан и в связях с иностранной разведкой не замечен... Стоп! Вспомнил: Валера по собственной инициативе переселился в комнату к Юрке Крюкову из нашей группы – они к этому времени крепко закорешились. Но все равно: один – лишний. Шут с ним: эта задача, видно, не имеет решений. К тому же скоро у нас в комнате по утрам ногу некуда будет поставить от изобилия раскладушек. Лучше я, пока не поздно, скажу пару слов о новых ребятах.

Леша Пономаренко вернулся из академки (академический отпуск), как и полагается, на курс ниже и попал в нашу группу, то есть в мою прежнюю группу на четвертый курс. Южанин, родом из Краснодарского края, высокий, стройный, непозволительно красивый, непьющий, некурящий, комсомолец, спортсмен, как немец, аккуратный. Позвольте, тут произошла какая-то перепутаница: это мне, немцу, полагается быть аккуратным и обладать всеми Лешиными достоинствами, как у Высоцкого: «Он кричал: «Ошибка тут! Это я – еврей!» А ему: «Не шибко тут! Выйди из дверей!» Одним словом, красавец-мужчина и истинный ариец. И при всех этих компрометирующих Леху качествах он умудрялся быть классным парнем.

Олег Черемухин – будущий Выдающийся Авиаконструктор (см. в интернете "Авиаконструктор О. А. Черёмухин"). 1944 г. р., на три года старше нас, он был женат и уже имел дочку. Жена его Оля с дочуркой Катюшей жили у его родителей в Горьком, и Олежка при первой возможности (иногда даже на выходные) уезжал к родным. Это был простой в общении и открытый человек, много рассказывал о жене, родителях и особенно о Катюше, показывал фотографии. Видно было, как он любит их и как тянется к ним всей душой. Позже, когда после института я так же, как и Олег, и не без его влияния, распределился в Горький в ЦКБ по СПК (Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях), мы с женой и дочкой часто бывали у них, как у себя дома.

Олег резко отличался от нас своим серьезным, ответственным отношением ко всему, что он делал. Постоянно работал и не позволял себе расслабляться. Редкий случай: он пришел в институт после армии, имея уже определенную цель научиться строить самолеты, и все свои ресурсы подчинял этой цели. Все курсовые проекты он делал не формально, не поверхностно, лишь бы сдать, а скрупулезно и въедливо, с прицелом на задуманные уже им летательные аппараты. И всегда, как ребенок игрушке, радовался после выполнения очередного проекта: "Вот теперь я знаю, как выбрать схему летательного аппарата и посчитать его аэродинамику!" или "Теперь я смогу проверить свой аппарат на прочность!" и т. д. Второстепенным предметам большого внимания не уделял, не распылялся (но все равно сдавал не меньше, чем на "хор"), все силы концентрировал на профильных дисциплинах и сдавал их блестяще, только на "отлично". После института, работая, как я уже упоминал, в ЦКБ, всё свободное время отдавал проектированию, конструированию, строительству и испытанию своих летательных аппаратов в глухих Муромских лесах, где родился и вырос. В свое время мы к этому еще вернемся.

Группа, в которую меня определили отцы из деканата, была спокойной, ровной, работающей и комфортной для меня. Всё было мне здесь любо, все было по душе. Я как сейчас помню многие имена и лица ребят из этой группы. Пообещав отцу восстановиться, а значит, серьезно взяться за учебу, я прилежно ходил на лекции, писал конспекты, все схватывал и понимал, о чем речь. Все курсовые работы, проекты и многие экзамены сдавал досрочно и только на "отлично" (до самого окончания института постоянно получал повышенную стипендию). Все, кроме одного. Угадайте, какого? Совершенно верно, кроме деталей машин. Курсовой проект я сдал на "отл", а экзамен принципиально пошел сдавать тому же преподавателю. Выслушав меня не перебивая, он, как всегда, тихо, со светлой улыбкой на плоском, благообразном лице, с тщательно прилизанными волосами (ну просто ангел во плоти) молвил: "Ну вот, теперь совсем другое дело". И поставил в зачетке после четырех "отл" – "хорошо". Мощный же я заложил в него негативный заряд! – хватит на всю оставшуюся жизнь. Но и из этой нелепой ситуации я извлек урок: когда двенадцать лет спустя стал преподавателем, в том числе и деталей машин, я никогда не то что не мстил студентам, но даже когда был с кем-нибудь в конфликте, что было очень редко, на бал завывшал оценку.

Прослушав курс "Расчет самолета на прочность" у профессора Одиноква Юрия Георгиевича и получив на экзамене пять баллов, я занялся научной работой, выступил на конференции с темой "Расчет панелей переменного сечения" и занял первое место. Потом продолжал заниматься этой темой вплоть до окончания института. Но хоть я и был в первой десятке на курсе по распределению, в аспирантуре у профессора Одиноква места для меня не оказалось. Два места по праву заняли выпускники с красными дипломами. Мне предложили должность инженера на кафедре, а над темой продолжить работу в качестве соискателя. Об этом можно было только мечтать. Но я был максималистом (только здесь и сейчас) и считал, что и так потерял год. К тому же Олег Черемухин звал в ЦКБ по судам на подводных крыльях, где, кроме речных скоростных судов, впервые в мире и только у нас проектировались, создавались и проходили испытание уникальные аппараты под названием экранопланы.

Но всё это было еще впереди, а пока – я учился на третьем курсе. Вообще теперь, когда я перестал ждать манны небесной, перестал метаться по полю боя в поисках цели и стал бить в одну мишень, я сделался спокойным и умиротворенным. Но не только потому, что решил на первых порах закончить именно этот институт, а там видно будет, но и потому, что после ссылки стал смотреть на всё другими глазами. Стал больше понимать и лучше ориентироваться в жизненных ситуациях, старался войти в положение того или иного человека, стал молчаливее и мягче, не вступал в споры, не суетился так, как раньше, и никого никуда не агитировал, не участвовал в общественной жизни. К ребятам в новой группе относился очень тепло, и они платили мне тем же. Но я был как-то несколько в стороне от них. Я тогда справил себе светло-

серый костюм, и ребята в шутку называли меня: "темная личность в светлом костюме". А ещё – "сударь".

В этой группе я был серьезно влюблен в замечательную девушку Тоню из Душанбе. Это про неё сказал Н. Заболоцкий в стихотворении "Портрет":

Её глаза – как два тумана,
полуулыбка, полуплач,
её глаза – как два обмана,
покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук...

Летом, когда она уехала домой на каникулы, мы переписывались, и я собирался уже отправиться в Душанбе для знакомства с её родителями. Но что-то помешало мне, а потом как-то всё расстроилось, распалось, я даже не знаю (или не помню), почему.

Где-то в это время, осенью 68-го, я познакомился с Мишей Доброхотовым, аспирантом 3-го факультета приборостроения. Он жил вместе с аспирантом нашего факультета Толиком Б. в двухместной комнате, которая располагалась наискосок от 309-й. Я иногда заходил к Толику побеседовать о высоких материях, и, конечно, не мог не заметить столь колоритную, даже по внешнему виду, личность. Среднего роста, с темно-коричневыми волосами и такого же цвета густой окладистой бородой, с классически правильными чертами лица, он мог бы согдиться в разведчики, если бы не острые, очень подвижные, открыто улыбающиеся черные глаза. Миша был гуманитарно эрудирован и как-то оригинально (если не сказать, парадоксально) мыслил и выражался. Его изысканная, без всяких претензий на исключительность, русская речь, органично приправленная добрым юмором и иронией, изобиловала небанальными метафорами и афоризмами, и даже легкое заикание совсем не портило её. А как он играл на гитаре! В отличие от большинства тогдашних исполнителей самодеятельной песни, он, во-первых, играл на шестиструнке, во-вторых, использовал в аккомпанементе множество красивых, точных, богато звучащих аккордов и даже элементы аранжировки и, в-третьих, репертуар его, по крайней мере на концертах, состоял преимущественно из юмористических и сатирических песен Галича, Кима, Клячкина либо песен на хорошие стихи с хорошей драматургией: Галича, Анчарова, Окуджавы. На сцене во время исполнения сатирических песен он был настоящим лицедеем, в нем всё ходило ходуном: голова, мимика, глаза, которые блестели лукаво и ликующе, как у демона. Ко всем его достоинствам нужно прибавить увлечение альпинизмом. Он был в этом деле далеко не новичок. Почти сразу после нашего знакомства Миша переселился в нашу комнату и органично влился в нашу дружную семью.

К Мише часто приходил его друг по альплагерю Валера Зорин. Он, после Куйбышевского радиотехнического института, работал на каком-то предприятии радиотехнической ориентации и то ли снимал квартиру, то ли жил в общежитии. Чтобы не ездить через весь город к другу, Валера, недолго думая, тоже переселился к нам в комнату. Он собирался поступать в аспирантуру (кажется, в наш институт) и готовился к кандидатскому минимуму. Мне показалось, что, штудирова философию, Валера обнаружил в себе такой сильный гуманитарный наклон, что вообще забыл о каких бы то ни было кандидатских экзаменах и заскользил по этой наклонной плоскости. Он будто открыл для себя философию, в любое время его можно было увидеть с каким-нибудь первоисточником, даже за трапезой или питием крепких напитков. Когда, например, я подавал ему стакан с вином, он говорил: "Нет, ты послушай, старик, какая сногшибательная мысль у Канта!" И зачитывал мне абзац на полчаса. В аспирантуру он так и не поступил (оставил техническую стезю в покое), зато, насколько мне известно, посвятил себя гуманитарному поприщу, ибо по прошествии нескольких лет, будучи уже москвичом,

привлекался (здесь не нужно вздрагивать!) издательствами в качестве эксперта! при издании серьезных книжек, например, "Круг чтения" Л. Н. Толстого. Думаю, что ничего не соврал, а если и соврал, то в несущественных деталях. По крайней мере, у меня есть книжка с именем Валеры Зорина в редакционной коллегии. Кроме всего прочего, сей неутомимый муж занялся живописью, и, как всегда, основательно: мне довелось видеть в его московской квартире качественно исполненные копии известных мастеров.

Чтобы закончить страницу знакомств, расскажу еще об одном, тем более что оно органично вплетается в первые два и вообще в наше туристское содружество. Подходит как-то ко мне на почте симпатичная девчонка с веселыми глазами и спрашивает: "Вы Олег Кох?" Вот те раз, думаю, попал, как кур в ощи́п. "Предположим, – говорю. – А в чем, собственно, дело?" – "Хочу ходить с вами в походы", – без обиняков сказала таинственная незнакомка. Ай да дивчина, подумал я, режет напрямик. А ты расфуфырил хвост: "Предположим, в чем, собственно, дело". Так Людмила Пилипенко с биофака Казанского университета стала нашей боевой подругой и не только в турпоходах, но и в мирное время. Им с Валерой Зориным суждено было стать мужем и женой. Каким причудливым образом переплетаются иногда жизненные нити. И никуда не денешься: сводником-то оказался я, со всеми вытекающими... И далеко не последний раз, но об этом речь впереди.

И еще об одном пополнении. В нашем туристском отряде, не помню, когда и как, появилась еще одна Людмила (запомнил её фамилию, поэтому пусть будет условно Ч.). Она, кажется, училась на втором курсе нашего факультета. Коренастая, плотная, физически сильная, с короткой стрижкой, с порывистыми движениями, неуправляемая, не признающая никаких правил и малейшего насилия над собой, она была похожа на задиристого, озорного мальчишку. В ней было что-то дикое, первобытное. Любимым её занятием было метать топор или нож в дерево, и делала она это весьма искусно. Она могла внезапно налететь на кого-нибудь из парней и сбить его с ног, невзирая ни на возраст, ни на авторитет (среди нас все-таки были кое-что повидавшие инженер и аспирант), ни на другие обстоятельства и не признавая никакой субординации (у нас была какая-никакая иерархия), и, доложу я вам как человек неоднократно подвергавшийся подобным экзекуциям, эти испытания не для слабонервных. Неожиданно сбитый с ног и с толку, не понарошку, а всерьёз поверженный ниц, не в состоянии принять шутовское выражение физиономии, ты лежишь, как дурак, и не знаешь, что делать: и сдачи дать нельзя (все-таки молоденькая девчонка) и обматерить нельзя, а перед тобой ликующая физиономия победителя. Я сравнивал её то с вождем краснокожих из новеллы О. Генри, то с Чингачгуком Фенимора Купера. Между тем Людмила была очень симпатичной девчонкой, и если бы нарядить её в бальное платье, то это была бы просто красавица. Но ей на это было наплевать. Я не раз представлял себе подобную метаморфозу: Людмила в белом платье и в туфлях на высоком каблуке (я даже как-то сказал ей про это, но она тут же полезла драться), но представить себе, что нашлись бы в природе такие силы или такие обстоятельства, которые могли бы совершить над ней это противоестественное её укладу действо и заставить её сменить телогрейку на платье и боевой топор на веер, не мог, как ни старался.

Может быть, заслуживает внимания один эпизод из жизни комнаты 309, поскольку он демонстрирует до какого драматического накала страстей может привести безответственная инициатива, в данной истории – сводничество. Как-то раз я дежурил на вахте у входа в общежитие. Казанские девчонки в поисках жениха частенько звонят на вахту дежурному, договариваются о встрече с ним (или с его другом), а там как бог распорядится. Позвонила и мне одна кандидатка в жены. Несколько оброненных фраз позволили мне сложить впечатление, что голос, хоть и несколько томный, принадлежит человеку вполне интеллигентному и не лишенному интеллекта. Я полагал, что такой метод знакомств по телефону предполагает высокие требования к потенциальному жениху, и свою кандидатуру отвел решительно и бесповоротно, а на себя взял роль посредника. Я деловито поинтересовался, какие кандидатуры её интересуют.

Достопочтенная особа на другом конце провода так же по-деловому набросала мне приблизительный портрет своего предполагаемого избранника (рост, цвет волос и их наличие, конечно, и пр.). Врать не хотелось, и я сразу предупредил, что я вряд ли подойду по тактико-техническим характеристикам, а вот у друга моего данные безупречные: и внешние, и внутренние. С этими словами я передал притязательной особе параметры Леша Пономаренко и сразу, чтобы не терять попусту время, назначил им свидание.

После дежурства я "честно" и "объективно" расписал Леше все прелести его будущей невесты. Он принял сие сообщение с большим воодушевлением и энтузиазмом. Никто из обитателей 309-й не мог остаться равнодушным к выдающемуся событию. Лешу готовили всем миром тщательно и придирчиво, а потом ждали молодую пару с огромным нетерпением и любопытством. А дальше, как в песне: "...и вот она пришла: широкая и плоская, как рыба камбала". Ну нет, конечно, не камбала, и хоть и не красавица, но весьма симпатичная. Но куда подевались обещанные мною интеллигентность и интеллект? Наверно, впопыхах маску перепутала: интеллигентную на вульгарную, и смахнула нечаянно последние следы интеллекта со смазливового личика. Я по инерции еще надеялся на чудесное превращение Золушки в Прекрасную Принцессу. Но Фея не прилетела, а до Нового года было еще далеко, и меня прошиб холодный пот: жизнь друга загубил не за понюх табаку. С первыми же фразами несостоявшейся принцессы рухнули последние надежды на чудо. Хоть бы одно полезное качество взяла у камбалы. И ровно туда же бьет эпитафия И. Брейдо: "Господи, какая красота: вы не просто женщина – мечта. Сохраните образ навсегда... Никогда не раскрывайте рта".

Но Леша держался стойко и лица не потерял. Он проводил свою телефонную любовь до дома, как он надеялся, в первый и последний раз. Но он жестоко просчитался: "девушка по заказу" явилась на следующий же день. Алексей, будучи человеком воспитанным, вежливо сослался на занятость, полагая, что назойливая особа оставит его в покое. Но он опять потерпел фиаско: дама сердца никуда не собиралась уходить. Она по-хозяйски уселась на стул (а чего ей бояться, имея на руках мандат "невесты") и успокоила жениха: "Ничего, милый, я подожду – мне торопиться некуда". Ситуация патовая, но Алексею и здесь не изменили выдержка и галантность. Он отложил неотложные дела и во второй раз пошел провожать свою всё еще невесту, но уже не столь самонадеянно, что, мол, в последний раз. Вернувшись в общагу, он предупредил на вахте, чтобы упрямую деву больше к нему не пропускали.

Но разве можно остановить тайфун? Ну, если нельзя, то надо попробовать спрятаться от него. И мы стали Лешу прятать: сначала в рабочей комнате – находила, потом на кухне – тем более. Тогда Алексей при первых признаках надвигающегося урагана уходил в какую-нибудь другую комнату. Эта немилосердная игра в прятки довела ни в чем не повинную дивчину (разве может быть виновата любовь?) до истерики: обшарив все углы, заглянув под все кровати, перевернув все шкафы, она начинала истошно вопить: "Отдайте мне Лешу, гады! Куда вы его спрятали?!" Мне до слез было жаль девчонку, и я, как мог, успокаивал её и просил у неё прощения, что это я во всем виноват и что разве ей было бы легче, если бы Алексей поступил с ней нечестно, обнадежил её... – и так далее в том же роде. Я говорил с отчаянием и искренно, и она верила мне, но просила еще раз поговорить с Лешей. И я приводил Лешу, и он говорил с ней, как с больной, и опять провожал её до дома. И так до тех пор, пока она наконец не успокоилась, а мы не приобрели уверенность, что она не наложит на себя руки.

Расскажу еще одну историю, не столь драматичную, зато криминальную. Вспомнив про эту историю, я вместе с тем вспомнил, что в нашей 309-й жил одно время еще один замечательный парень Витя Лосев. Он был курсом старше нас (меня – двумя), а как попал в нашу комнату, ей богу не помню. Он был высокий, светлый, с ясными живыми глазами, с выразительными чертами лица, резкий в движениях и очень подвижный, как на шарнирах, и поэтому казался нескладным. Может, потому, что занимался самбо. Как-то вечером мы втроем (третий – сокурсник Виктора Юра Р.) возвращались с почты на улице Ленина. Мы не прошли от почты

и тридцати шагов, как на нас, откуда ни возьмись, налетели шустрые ребята и давай бомбардировать, как на боксерском ринге. Как потом выяснилось, это действительно были боксеры, они уже не раз выходили на охоту на мирных обывателей. Самое интересное то, что и я воспринял это побоище как некую игру, как аттракцион, как представление, так как происходило оно на центральной, хорошо освещенной людной улице. Несмотря на несколько пропущенных довольно сильных ударов, мне было весело и забавно наблюдать, как ловко, как в цирке, перелетают боксеры, как через гуттаперчевый снаряд, через Витю Лосева. Молниеносное движение Виктора – и у боксера отрастают крылья, и он превращается в птицу – веселое и очень эффектное зрелище. Потом Витя крикнул: "Бежим!" и мы помчались в общагу.

Не успели мы вспорхнуть на лестницу, общага гудела, как улей: "Наших бьют!!" Огромная толпа разъяренных мужиков, поставив нас, потерпевших, впереди для опознания злодеев, и чтобы мы своими благоприобретенными фонарями освещали дорогу, двинула на улицу Ленина. Не приведи Господь наказать невиновных (ибо виновные давно сидят по своим квартирам и потирают ушибленные места)! – молил я Бога. Неугомонная толпа требовала справедливого возмездия, а мы, как партизаны, все отрицали: "Нет! Не они!" В конце концов прочесав пол-Казани, наши защитники отколотили каких-то хулиганов: стравили накопившееся давление в мозгах и зуд в членах. Тем и успокоились.

Эта история весьма характерна для каистов, которые всю Казань держали в страхе. Об этом даже как-то писала местная газета: «Каисты построились "свиньей" и двинулись на мединститут...» Это была страшная история: каисты ворвались в общежитие мединститута, били и крушили все подряд, выцарапывали медиков из шкафов, из-под кроватей и жестоко избивали. Кажется, не обошлось без жертв, по крайней мере, в больницы увозили десятками, если не больше. Стихия толпы – страшная сила, жуткое дело.

Одно обстоятельство меня сильно расстроило. Пока я скитался, в аэроклубе открылся набор в спортивное самолетное звено. Некоторые ребята с нашего курса воспользовались этой счастливой возможностью, отлетали на самолетах ЯК-18 программу первого года обучения (порядка сорока часов) и стали летчиками-спортсменами. Как я им завидовал! Разумеется, я срочно записался в это спортивное звено. Теоретические занятия вел студент-заочник нашего факультета. В прошлом военный летчик 1-го класса, попавший под грандиозное хрущевское сокращение вооруженных сил. В настоящем пилот-инструктор Казанского аэроклуба и по совместительству летчик-спортсмен 1-го разряда.

А если короче и проще, – наш человек, хоть и чудаковатый. Небольшого роста, коренастый, круглолицый, стриженный под ноль, он всегда имел серьезный вид (имидж). И никогда нельзя было предсказать, что он выкинет в очередной раз: то он расскажет анекдот, то поведает забавную историю, одним из персонажей которой непременно был он сам, то накрошит в тарелку черного хлеба, нальет туда водки и с аппетитом, причмокивая, ест эту похлебку. Он принял наше туристское вероисповедание, с удовольствием ходил в походы и исполнял все положенные обряды и ритуалы, щедро разбавляя их своими чудачествами.

Когда наступила весна и настало время ездить на аэродром в Куркачи и проходить наземную подготовку перед полетами, нас, как гром среди ясного неба, накрыла весть, что все спортивные самолеты ЯК-18 передаются Йошкар-Олинскому аэроклубу, так как на одном аэродроме винтовые и реактивные Л-29, на которых летали курсанты, базироваться не могут. Так рухнула (как мне казалось) моя последняя надежда стать летчиком.

В нашем каевском авиаспортклубе начальство поменялось (Симонова М. П. забрали в Жуковский – колыбель и центр русской авиации, а Боря Керопян исчез в неизвестном для меня направлении): начлетом стал Женя Г., и атмосфера стала совершенно иной. Он старательно косил под интеллигента и в напутствие мне крайне интеллигентно сказал: "Уходишь на самолет – обратно не возьму". Так что и на планер путь мне был заказан. Прыгать с парашютом на этом

фоне, когда тебе основательно подрезали крылья, не хотелось, хотя я любил этот вид спорта. Я плюнул на все и пошел сплавлять плоты.

Походная жизнь наша протекала, как обычно, по давно установленному расписанию. Походы на Ноябрьские праздники и День Конституции не помню, а вот поход на Новый год оказался памятным. Конец семестра, горячее время. А выходить в поход нужно как можно раньше, чтобы занять место в охотничьей избушке. У меня на 30-е был назначен досрочный экзамен, поэтому я основную группу проводил 29-го и предупредил, чтобы у каждого непременно были лыжи и валенки. Тем не менее лыжи оказались только у Вити Ермакова, а остальные, Валера Филатов, Дамир Сафиуллин, Володя Шулев (остальных не помню) либо не успели взять лыжи в прокате, либо понадеялись, что до избушки, как на День Конституции, будет санная дорога. 30-го мы втроем, я, Людмила Ч. и Валя, невеста Дамира, вышли на станции Шелангер и были крайне удивлены, когда увидели Витю Ермакова и Дамира, на котором лица не было. Витя отвел меня в сторону и в двух словах поведал об их хождениях по мукам.

А если подробнее, то произошло вот что. Выйдя на станции и пройдя поселок, ребята обнаружили, что дорога, по которой 5 декабря можно было идти без лыж, занесена снегом. Дорогу пробивать пришлось Дамиру, так как он был в высоких летных (мехом внутрь) унтах с застегивающимися голенищами. Остальные вообще были в ботинках. Витя Ермаков взял у Дамира рюкзак, поскольку был на лыжах, и с двумя рюкзаками пошел впереди, за ним Дамир, а за Дамиром след в след остальные. Ползли они медленно и очень долго, часто отдыхали. Уже начинал брезжить поздний зимний рассвет, а избушки все нет и нет. Устали и физически, и морально. И тут они совершили роковую ошибку, а именно: выпили водки, которая подействовала на каждого по-разному: кто-то дико смеялся, кто-то впал в уныние. Но общим было одно: водка расслабила всех и парализовала волю. Не было желания никуда идти, и страшно хотелось спать. А мороз был градусов 10 – 15 – вполне достаточно, чтобы не проснуться. Особенно трудно было Дамиру, ведь он пробивал дорогу.

В таких критических ситуациях важно, чтобы хотя бы один человек сохранял трезвую голову и четко отдавал себе отчет, чем чревата подобная ситуация. Этим человеком оказался Виктор. Можно себе представить, чего стоило ему постоянно тормозить и принуждать к движению расслабленных людей. И все же Вите пришлось сбегать в избу, где, слава Богу, находилась группа заводских ребят во главе с замечательным парнем Сережей Лебедевым. Серега, недолго думая, мобилизовал ребят, они схватили лыжи и побежали на выручку залегшим в снегах бедолагам.

Когда я услышал эту душещипательную историю, то сильно расстроился, что не был с ребятами и не испытал острых ощущений. Дамиру нездоровилось, и они с невестой Валею решили вернуться в Казань. У Людмилы Ч. не было лыж, и Витя хотел отправить её обратно – не представляю, как бы он мог это сделать. Поэтому я отдал свои лыжи Людмиле, переложил в Витин рюкзак свои вещи, оставил себе буханку хлеба, спички, пачку сигарет и топор и, признаюсь, не без волнения и тревоги встал на пробитую Дамиром тропу.

Сначала я шел довольно бодро, вытаскивая из глубокой лунки и поднимая чуть ли не до подбородка ногу, загоняя её в следующую лунку и стараясь держать равновесие, будто выполнял физическое упражнение. Но ведь идти нужно было не 200 м и даже не 2 км, а больше 20 километров. Вот что пишет по этому поводу в рассказе "По снегу" Варлам Шаламов: "Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходима узкая тропка, стежка, а не дорога – ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине". Может быть, действительно, по целине было бы легче идти, нежели след в след, но мы этого тогда не знали.

Довольно скоро, появилась ломота в ногах, доходящая до острой боли. Но постепенно боль прошла, наверно, появилось второе дыхание, то есть как бы привыкание. Стал смотреть по сторонам и, напрягая слух, вслушиваться в ночь. Ночь была темная: едва просматривались силуэты деревьев вдоль просеки. Иногда приходилось проходить под ветвями сосен. В голову

полезли всякие непотребные мысли и наваждения: то, казалось, с ветки бросится на шею рысь, то нападут волки, а ты, привязанный к цепочке следов, даже защититься толком не сможешь. И всё это в совокупности так сильно давило на психику, что было какое-то состояние тоски и безысходности, бестолковой бесконечности, угнетала монотонность. Потом стала наваливаться своеобразная усталость, не столько физическая, сколько моральная: ноги не болели, а стали какими-то ватными, плохо управляемыми, и нужны были постоянные волевые усилия, чтобы совершать привычные движения.

Давали о себе знать и постоянные недосыпания в конце семестра (я сдал три экзамена досрочно): каким-то тяжелым прессом наваливался сон, и, пожалуй, это было самое главное психическое воздействие на организм. К тому же до одури хотелось курить. Я мог бы покурить на ходу, но понимал, что курево на голодный желудок в такой ситуации отнимет остатки воли. Держа всё это в голове, я долго не решался сделать привал, боялся, что не смогу встать. Тем не менее я также понимал, что нужно подкрепить силы краюхой хлеба и хоть немного отдохнуть. Наконец я решил сделать привал, бубня как заклинание: *поесть, покурить, встать и идти, поесть, покурить, встать и идти*.

Я, как мог, взбодрил себя, сошел с Дамировой тропы и, сняв рюкзак и прислонившись спиной к толстой сосне, с невиданным дотоле наслаждением сполз по ней в рыхлый снег. Достав из рюкзака буханку хлеба и отломив краюху, я стал медленно и сосредоточенно жевать, выразительно и артикулированно двигая челюстями. От усталости есть совершенно не хотелось, зато сильно хотелось спать. Чтобы не заснуть, я еще шире открывал рот, вертел головой, двигал руками, вроде бы даже кусал кисти рук. Не знаю, сколько я жевал, кажется, заставил себя съесть полбуханки, при этом старался постоянно контролировать себя. Когда хлеб уже совсем отказывался проникать в мою утробу, я достал сигарету и закурил. И стало так хорошо, тепло и комфортно, что сидел бы здесь под сосной целую вечность. И никуда не хотелось идти, и не было сил подняться. Положение усугублялось тем, что погода стала значительно мягче, чем в предыдущую ночь: мороз 3 – 5°; крепкий морозец хотя бы взбодрил.

И вот где-то на грани сна началась балансировка сознания: то накатит сон очередной волной, то встряхнешь головой и твердишь себе: *встать и идти*, то снова провалишься в яму, то вдруг опять вынырнешь из небытия. Не могу сказать, сколько раз качнулся маятник туда-сюда, но остатками сознания я с радостью обнаружил себя ковыляющим по Дамировым стопам. Нет, сказал я себе, в таком полусонном состоянии далеко не уйдешь и громко запел песню Александра Городницкого: “Укрыта льдом зеленая вода, летят на юг перекликаясь птицы...” Сон постепенно прошел. Радовало также то, что ноги слушались лучше, чем до привала. Судя по времени, шел я довольно долго, и ноги снова стали ватными, я совсем перестал их ощущать. Силуэты деревьев стали резче, и я догадался, что начало светать. Это меня как-то взбодрило, и я решил еще раз подкрепиться и немного отдохнуть.

Я опять сел в снег, кажется, прямо на тропе, и стал жевать хлеб, едва двигая челюстями. Я чувствовал, что избушка уже недалеко, и как только подумал об избушке, перед глазами поплыли благодные картины: я сижу в избушке за столом, в печке весело горят дрова, кругом родные лица ребят... Клянусь, я это всё видел совершенно явственно и отчетливо. И вдруг сквозь эту грезу в довольно еще густых сумерках я увидел как бы мираж, что кто-то очень размытый стоит впереди... нет, вроде перемещается... идет ко мне. Я не успел еще ничего осмыслить, когда понял, что это Витька. Явление Ермакова Коху было настолько нереально, что я с глупой улыбкой протянул ему остаток буханки и спросил: “Хочешь хлеба?” И что вы думаете: вместо благодарности, сей почтенный муж ни за понюх табаку обругал меня последними словами. Говорил потом, что приводил меня в чувство.

На самом деле было всё не так уж и просто. Сначала я долго не мог встать, потом еще дольше не мог надеть лыжи, которые Витька принес с собой, затем долго не мог приноровиться к ним, как будто никогда на них не стоял: ноги по привычке, без моего ведома, совершали

возвратно-поступательные движения до подбородка и обратно, я постоянно падал, как пьяный. Короче, пришлось заново учиться ходить. Но теперь я твердо знал, что несмотря ни на что, когда-нибудь мы всё равно добредем до избушки, и радость уже не покидала меня. Так оно и вышло: вожаденная избушка появилась довольно скоро и совершенно неожиданно.

Описать нахлынувшее на меня счастье, когда я оказался за столом в кругу друзей, а в печке весело горел огонь, я не в состоянии, нет таких слов в русском языке, а в других и подавно. Но ведь именно эту картину я видел, когда сидел на тропе и жевал хлеб, – скажите, разве так бывает? Я познакомился с Сережей Лебедевым и с его ребятами и девчатами, и с этого знакомства началась наша дружба и наши совместные походы и мирные посиделки в комнате № 309. Мне налили полную кружку водки, я не торопясь, с чувством выпил её и вырубился мертвым сном.

Когда я вечером проснулся, новогодний стол был накрыт, рядом стояла наряженная елка, в печи потрескивали дрова, кругом сияли лица ребят, а это сулило большой и веселый праздник.

Через пару дней я отправил ребят на поезд, а сам остался – как бы это точнее сказать – вкусить состояние отшельника, затерянного среди дикой природы, и изложить все накопившиеся чувства и эмоции в Бортовом журнале этой избушки. Такова была туристская традиция. Ушел я на час позже ребят, а на станцию пришел раньше, так как пошел по более короткой дороге; к тому же на лыжах я любил ходить быстро. Ребята были весьма удивлены: как это мне удалось пройти мимо них незамеченным. Но интригу я раскрывать не стал.

У нас еще не закончилась сессия, как стали съезжаться заочники. К нам, в 309-ю, подсе-лили старшего лейтенанта военно-морской авиации Сашу Артемова. Действующий офицер, он служил техником по обслуживанию самолетов дальней авиации где-то на Черном море. Светловолосый, кудрявый, с живыми подвижными глазами, общительный и оптимистично настроенный, бодрый и подтянутый, он и других заражал военной выправкой и боевым настроем: работать так работать, гулять так гулять. Нам очень нравилась его военно-морская черного цвета летная форма, и мы все перефотографировались в ней. Мы крепко подружились, и в дальнейшем Саша останавливался только в нашей комнате. Каждый раз он привозил канистру спирта (я спирт полюбил на севере, где он продавался в любом продуктовом магазине по цене шесть рублей две копейки бутылка), и мы устраивали веселые праздники.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.